

ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 4/2014



4'2014

- *Геннадий Русаков*
...в отечестве грозном моём
Стихи
- *Тамта Мелашвили*
Считалка
Повесть. С грузинского
- *Вячеслав Шаповалов*
В сиротстве космической ночи
Стихи
- *Борис Евсеев*
Письма слепым
Рассказ
- *Андрей Столяров*
Новая земля и новое небо

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.ru, www.oaompk.pф
тел.: (495)745-84-28; (49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 21.02.2014.
Подписано в печать 22.03.2014.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 5196. Цена свободная.

Дружба народов

4'2014

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь

Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Юбилейное	3
-----------------	---

Проза и поэзия

Геннадий РУСАКОВ. ...в отечестве грозном моём. Стихи	5
Тамта МЕЛАШВИЛИ. Считалка. Повесть. С грузинского. Перевод А. Эбаноидзе	10
Олег ХЛЕБНИКОВ. Заминка. Стихи	36
Роман СЕНЧИН. Перед судами. Из книги «Зона затопления»	38
Борис ЕВСЕЕВ. Письма слепым. Рассказ	54
Вячеслав ШАПОВАЛОВ. В сиротстве космической ночи. Стихи	65
Георгий ГРАТТ. Свинцовый дирижабль. Повесть	68
Санджар ЯНЫШЕВ. Творог и Масло. Рассказ	102
Ольга ПОСТНИКОВА. Крепкий прошив хребта. Стихи	107
Алишер ФАЙЗ. Дипломат. Рассказ	110
Дмитрий ИЩЕНКО. Три рассказа	128
Вика ЧЕМБАРЦЕВА. Катинка. Рассказ	145
Ирина ЦЫГАЛЬСКАЯ. Автопортрет. Рассказ	155

Золотые страницы «ДН»

Евгений ЕВТУШЕНКО. Стихи и переводы	163
Шота НИШНИАНИДЗЕ. Песня об украинском перце и Тарасе Бульбе. С грузинского. Перевод Евгения Евтушенко	165
Данила ДАВЫДОВ. От мифа к любви (Нодар Думбадзе. Белые флаги)	168

Нация и мир

Манана ДУМБАДЗЕ. Папа, который остался по ту сторону решетки. С грузинского. Перевод Владимира Маловичко	171
Александр ДЖУМАЕВ. Из культурной и научной жизни Центральной Азии. Разрозненные мысли и наблюдения	176

Публицистика

Андрей СТОЛЯРОВ. Новая земля и новое небо	188
---	-----

Критика

Чингиз ГУСЕЙНОВ. К вопросу о «русскости нерусских»	204
--	-----

Подробное чтение

Андрей РУДАЛЁВ. Современный разночинец	225
--	-----

Галерея Матяни Назаренко

Николай Багратович Никогосян	231
К нашей вклейке: Николай Никогосян — скульптура, живопись	

Эхо

Полутени полураспада. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	233
---	-----

	ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ, ФОНДА «РУССКИЙ МИР», МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)
---	---

ЮБИЛЕЙНОЕ

Юбилеи бывают разные: яркие, торжественные, скромные. Но в их сердцевине всегда привкус грусти: ведь при всех фанфарах, юпитерах и регалиях юбилей — это предварительное прощание.

Буду откровенен: в нашем случае это чувство стало доминирующим, 75-я годовщина «Дружбы народов» — грустный юбилей.

Мы отнюдь не пессимисты, скорее энтузиасты, преданные делу, но у минорного настроения есть причина. На наших глазах невидимая и неуправляемая рука рынка изменила нравственно-интеллектуальный климат в стране. В борьбе со своим главным врагом — культурой — она обескровила и расштатала все ее институты — школу, высшее образование, науку и, едва ли не в первую очередь, разделалась с авангардом интеллектуальной жизни в России — литературными журналами: совокупный тираж всех литературных изданий, выходящих сегодня в стране, не составляет и малой доли тиража «Дружбы народов» двадцатилетней давности.

Не думаю, что рынок действовал сознательно и целенаправленно — просто такова его природа. А последствия неуправляемой стихии нам хорошо знакомы по многим примерам.

Надо сказать, что уже пять лет назад, в предыдущую годовщину журнала, мы чувствовали дыхание кризиса, однако, смотрели в будущее с надеждой. Не только потому, что нас с признательностью приветствовали президенты государств СНГ, но и оттого, что толково и четко работал созданный по их инициативе главный союзник «ДН» — Межгосударственный Фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. При поддержке Фонда мы достойно отпраздновали 70-летие, продуктивно проработали весь юбилейный год и даже издали в приложении к журналу шесть книг лучшей прозы. Для сотрудников журнала и его авторов те времена остались приятным воспоминанием.

И все-таки в канун нынешнего юбилея мы решили собраться с силами и напомнить о своем предназначении и целеполагании.

Вот уже 75 лет «Дружба народов» служит связующим звеном между литературами разных народов, посредством русского языка содействуя их общению и выходу к мировой читательской аудитории. Мы решили еще раз на деле продемонстрировать перспективность диалога культур, прежде всего на пространстве Содружества Независимых Государств и Балтии, попытавшись при этом выявить как потенциал сотрудничества, так и осложняющие его факторы.

Наше время в равной степени характеризуется тягой культур друг к другу и отстаиванием собственного своеобразия. Именно в точке пересечения этих тенденций наше «золотое сечение», место приложения наших усилий.

Сегодня «ДН» последний бастион на пути распада огромного культурно-информационного пространства, сложившегося за века на Евразийском континенте. В год своего юбилея мы решили заштопать и обновить повыцветшие стяги — напомнить об истинном предназначении журнала.

Стремление народов к независимости и обретению собственной исторической судьбы закономерно. Но нельзя допустить, чтобы этот порыв оборвал все нити, связывавшие нас, и вместо взаимной приязни, дружеского участия и живого интереса сеялись недоверие и отчужденность. Нам есть, чем поделиться, что обсудить и обдумать. В частности, это более чем двадцатилетний опыт преобразований в наших странах, в котором политическая независимость оказалась чревата национальными конфликтами, а духовная свобода переплелась с проблемами морали и социальной справедливости. Обществу полезно узнать мнение писателей о происходящем —

талант подмечает то, к чему слепы рациональный ум и прагматичный взгляд политиков и экономистов. К тому же таланту от природы присуща чуткость к человеческой судьбе, такая редкая в периоды крутых перемен.

Вот движущие мотивы, которыми мы руководствовались при отборе материалов для юбилейного номера. Его формирование подтвердило то, с чем мы сталкиваемся в каждодневной работе: сопредельное литературное пространство напоминает заброшенный прииск: самородок, найденный на нем — повесть Тамты Мелашвили «Считалка» — показывает, что прииск далеко не исчерпан, и упорных старателей ждут замечательные находки.

Литературная география, представленная на страницах юбилейного номера, достаточно обширна: Москва и Тбилиси, Ереван и Ташкент, Кишинев и Киев, Баку и Бишкек... Но бросается в глаза огорчительная подробность — единственное произведение, представленное в переводе на русский, все та же повесть Т. Мелашвили.

В советскую эпоху на почве интернационализма и ответственной национальной политики была выстроена великолепная школа художественного перевода с языков сопредельных стран. «Дружба народов» имела прямое отношение к этому строительству, была если не архитектором, то энергичным, толковым прорабом. И вот это прекрасное строение, плод усилия поколений рушится у нас на глазах. Еще два-три года бездействия и мы окажемся без инструмента общения и станем узнавать друг о друге по скандальным репортажам и судебным протоколам.

Много лет мы тщетно искали понимания и поддержки в соответствующих инстанциях, и когда надежда истаяла, минувшей осенью, на Российском литературном собрании прозвучали слова Президента В. Путина о том, что русский язык «всегда играл для многонационального народа России могучую объединяющую роль, формировал общекультурный и гуманитарный контекст страны... Именно благодаря русскому языку весь мир узнал Чингиза Айтматова и Юрия Рытхэу, Алеся Адамовича и Расула Гамзатова».

Слова Президента напомнили о таком глубинном свойстве русской культуры, как всемирность и всеотзывчивость, деятельно реализованном на страницах «Дружбы народов». В сущности, для этой цели журнал и создавался 75 лет тому назад.

На том же собрании Президент поставил задачу выработки долгосрочной системы мер поддержки отечественной литературы, в том числе переводческого дела, и обозначил следующий, 2015 год, как Год литературы в РФ.

Не берусь предугадать, каково будет в Год литературы место ее неизменного и заслуженного авангарда — литературных журналов. Как сказал поэт, у которого я позаимствовал заголовок вступительной заметки: «Вред — мечта, и бесполезно грезить».

...Думая о нашем предназначении, вспоминаю одну давнюю публикацию, многозначную и красноречивую как притча: где-то в садах на благодатном юге собрали урожай персиков и, бережно разложив по ящикам, стали ждать транспорт. Но машины не шли — день, другой, третий... И прекрасные плоды стали гнить. Между ящиками и деревьями сада метался измочаленный бригадир садоводов и в отчаянье повторял: «Уведите детей! Нельзя, чтобы дети видели это!»

Есть ли необходимость толковать притчу?

Слава Богу, даже в засушливые годы реформ Сад культуры жив и плодоносит. От нас с вами зависит, насколько рачительно мы обойдемся с его дарами.

Дорогие читатели «Дружбы народов», несмотря на все трудности и препоны, мы продолжаем работу. Ту работу, для которой были созданы 75 лет назад — ради взаимопонимания народов, взаимообогащения культур, ради духовного сотрудничества.

Спасибо вам за верность!

До будущих встреч!

Геннадий Русаков

...В отечестве грозном моём

1

Когда струится время в волосах,
как утлый ветер с памятью утраты,
и звякнул холод в птичьих голосах,
и в праздных глинах обнажились страты,
я знаю: снова завершился круг,
опять кукушки сроки просчитали,
и на Оке с утра течёт испуг
по руслу из легированной стали.
Прекрасно это время полноты
перед началом самоистощенья,
пока душа с тобой ещё на «ты»
и хочет слова, нежности, прощенья!
Потом придёт срамная нагота
на наши обездоленные станы —
последняя
неназванная, та,
в прикиде непроставшейся путаны.

2

...А утром проснёшься: — Любима!
Откроешь глаза: — Хороша!
И, как под крылом херувима,
чиста и покойна душа.
Носи своё лёгкое тело,
растрёпой по дому снуя.
Вот в зеркало словно влетела:
— Неужто и впрямь это я? —
На цыпочки встать, закружиться,
вспугнув абажур над столом...
И так в этом утре прижиться,
касаясь судьбы подолом.

3

Заниматься бы тихим и стоящим делом:
сапоги ли точать или резать алмазом стекло,
чтобы тени качались на синем и белом,
чтобы время негромко в тугую воронку текло.
Чтоб глаза уставали от тяжести взгляда,
чтобы слух отучался от глупости выпренных слов.
Заниматься бы делом, которое попросту надо,
делать ровно и споро, вести без прорех и узлов.
Вот призванье души, соблазняемой Зовом
и снедаемой жаждой разглядывать мир в мелочах.
Он, похоже, исходно так сообразован,
чтоб высокий мыслитель в сапожнике вдруг не зачах.
Только малая польза дарует нам веру
и внушает смирение спешащим ускорить века.
Ведь не зря же врала Катерина Вольтеру
про вальяжную куру в пустом чугушке мужика!

4

В такой большой литературе
не обойтись без воровства.
Прильнёшь к прельстившей строчке-дуре...
Мы все грешны: кто раз, кто два.
Восторг чужого вдохновенья
нам соблазнителен порой —
хотя бы только дуновенье,
хотя бы лишь его настрой!

Строка с её лебяжьей статью
так хороша, легка, проста...
Жена, пришила её на платье —
ну, чем не брошка-красота?
...Конечно, грех, пусть не де-юре.
Конечно, публика права.
Увы, в большой литературе
не обойтись без воровства.

5

Я знал его секрет: под мухой — ровно в меру —
войти в привычный ритм, паря во облацах.
Начать с любой строки пока ещё химеру
и вдруг застрекотать — ну, «Зингер», швейный цех!
Набрать пригоршню слов и рассовать, не глядя:
авось найдут свой чин, неверностью верны.
Кто сват, кто хват, а кто, глядишь, и вправду дядя...
Зато не подведут — земли, братаны.
А он уже хмелён и оттого восторжен.
Уже поверх судьбы — до выроста осин.
Он понят, он прощён и никому не должен —
как в Книге, где домой вернулся блудный сын.
Чего там — пей и пой, и кто тебя осудит,
когда идут стихи, как белая вода!
...А день уже кипит в расплавленной полуде.
И мечутся под ветром провода.

6

Не находит меня слава,
не скребётся мне в окно.
Смотрит влево, смотрит вправо...
Ей, шалаве, всё равно.

Я бы с нею, конопатой,
в парке под руку ходил.
Я бы грёб деньгу лопатой
и наследников плодил.

Я развёл бы в банке гуппи
и купил жене манто.

На вопрос на каждый глупый
отвечал бы всем: — А то!

Мне бы хвори не мешали,
тлелся б жизни фитилёк.
...Трубы смутно зашуршали.
Дом вздохнул и снова лёг.

Ладно. Глупости всё это.
Спит усталая жена.
Без манто, а всё ж одета.
Перебьёмся. Жизнь полна.

7

Снова красные стены Вероны,
этот жжёный, кровавый кирпич.
Кипарисов гонимые кроны
и Скальери неистовый клич.
Эй, любимцы судьбы, кондотьеры!
Сучье племя, краплёная масть!
Нет вам больше ни славы, ни веры —
кроме тех, что успели украсть.
Вон в разлом горбоносого лета,
обвалился огромный закат.

И горячая сталь арбалета
прожигает пластинчатость лат.
Гибнет Падуа — так ей и надо.
Век взбесился и ржет жеребцом.
Кто там вышел из райского сада
с опалённым геенной лицом?
Кто, обкормленный злобой разлуки,
гневный нищий, насупленный сыч,
слышит отчей Флоренции звуки?
И Скальери неистовый клич.

8

Писать бы травоядные стихи
о бабочках, цветках и насекомых...
И по причине этой чепухи
ботаником прослыть среди знакомых.
А то податься в лирику навзрыд
и женский род достойно обозначить.
В мои-то годы всякий путь открыт...
Я нынче всё могу переиначить.
Могу вот этак, а могу — и так...
Да запросто! Да не бином Ньютона!
В мои года любой мужик мастак
запеть по пьянке выше на три тона.
Уж не такое это мастерство,
и ни к чему сгущать, ей-богу, краски.
...Вся фишка в том, зачем и для кого
на людях рвать голосовые связки.

9

Что так горишься, ива-ракита,
распустила по ветру власа?
Или старая боль не забыта?
Или новой пришла полоса?
Или просто в печаль загляделась —
в тихий омут, как в душу мою?
И чего ты так в холод зарделась?
Я к тебе своих чувств не таю.
Мы давно друг у друга в полоне...
Только поздно нам в игры играть.
Мы с тобой во втором эшелоне,
мы не самая нужная рать.
И всегда в стороне от дороги,
где-то сбоку, в отдельном строю...
Видишь, вон я один среди многих —
на отшибе, на самом краю?

10

...И властный зуд, как в детстве по весне:
желанье лёта или просто взбрыка —
ни для чего, а сдуру, прямиком,
задравши хвост, восторженным телком...
Июльских гроз, их царственного рыка.
Тяжелым телом движется Ока
по самой нижней кромке лозняка,
качая пузыри водоворотов.
И, серая от нудного дождя,
наставилась к Озерам, уходя
к нездешним людям и чужим широтам.
Эх, разойдусь, раскинусь, полечу —
гуляй, шпана, сегодня по плечу
любая блажь, ответ на все вопросы!
Какие наши, собственно, года,
когда идёт высокая вода
и заливают выжившие плёсы?

11

Когда б я был весёлый пианист,
я б пробежал по клавишам ручьями.
Мне был бы Моцарт, и Шопен, и Лист,
и те, кто с ними в оркестровой яме.
Но я — не он, и, видно, потому
я жизнь беру по бережной шепотке.
...Вон глохнет день и рушится во тьму,
и засыпает с голошеньем в глотке.

В моих годах уже открылось дно,
блестят его обструганные плашки.
Что мне взамен весёлости дано?
Лишь времени обтянутые ляжки.
Лишь музыки вторичная судьба
да крошечное лето в три притопа.
И эти молодые ястреба
над сором одичавшего окопа.

12

У меня изменилась манера письма:
стала суше, печальней и проще.
Это воздух и возраста злая тесьма,
и уже отгремевшие рощи.
Ночью капает, мир по утрам в тесноте —
сократились размеры и сроки.
Даже сутки, сегодня, похоже, не те.
И трещать перестали сороки.
Убежать бы куда-то. Зарыться в песок
на горячем и солнечном месте,
чтоб в душе на пригреве запел голосок...
А потом бы запели мы вместе.
Мы бы пели про свой сократившийся срок,
про уже отзвучавшие рощи,
про страну без дорог и оглохших сорок,
где мы стали печальней и проще.
Мы бы пели — мы, трезвые, плохо поём:
не нажили вокальных традиций.
Но в отечестве грозном моём
и без песен годится родиться.

13

Мне бессмертья не надо, мне только бы краешком глаза...
Я третичная муха, упавшая вечности в мёд.
Жизнь порой непривычна, особенно с первого раза,
хоть, наверное, кто-то её и такую поймёт.
Кизяки дотлевают в неясном небесном проёме.
Закипела гармошка у клуба на дальнем конце.
Я третичная муха в большом недостроенном доме,
где липучка над лампой, щербатый сервиз в поставце.
Как дарёное яблоко, век нами только надкушен.
Нас ещё не качала его молодая вода.
Нас покуда прельщают его разбитные кликуши.
И ночами под ветром поют на столбах провода.
Мне бессмертья не надо и зря мы об этом базарим.
Семиклинное лето вертит во дворе подолом.
Мне бы этих, со вторника медленно вспыхнувших зарев
и распоротых гроз над затихших под ними селом.

Тамта Мелашвили

Считалка

Повесть

С грузинского. Перевод Александра Эбаноидзе

С р е д а

Мама сказала: Молока совсем нету, вот он и плачет.

У мамы нету молока, потому и плачет, сказала я Нинцо. Что будешь делать? — сказала Нинцо. Опять Гвелесиани, другого выхода нету. Она мучила скобу калитки. Калитка скрипела. Вчера зашелся до судорог, сказала я. Пришлось опять мочать палец в вино и совать ему в рот. Уснул кое-как. Говорю, выход только один — аптека Гвелесиани. Надо это сделать. Мама убьет меня, сказала я. Меня подтащивало. Помрет у вас ребеночек, и пусть потом твоя мама твердит: Бог прибрал ангелочка, сказала Нинцо тоненьким голоском. Не выламывайся, сказала я. И отчего вы с матерью такие debilки? Я стиснула Нинцину руку на скобе калитки. Перестань скрипеть, достала. Ладно, Нинцо убрала руку. Ты же ее знаешь, сказала я. Целый час кляла меня за чай и макароны, украденные в магазине Мананы. Угу, сказала Нинцо и опять взялась за скобу. Как узнала-то? Ты же за гумпомощь выдала, от теток-гуманитарок. Да, сказала я. А ценники содрать забыла. Я же говорю — debilка! Оставь калитку в покое. Убери руку! И ты убери. Сперва ты. Ну вот. Помолчали, глядя друг на друга. Зайди во двор, и выйдем вместе, сказала Нинцо, глядя мимо меня. Во дворе сидел дед Заур. Уставился куда-то и не шевелился. В замызганном костюме, собравшем весь мусор, с медалями на груди. Глянь на него. Нормальный, да! — сказала Нинцо. Так в медалях и сидит весь день. А выступает-то как! Выступает! — сказал дед Заур. Стерва из нее растет. Оторва. И из тебя стерва. В доме ее бабушка помирает, а она выступает... Дедушка, сказала Нинцо, иди в дом, ты же видишь, они опять разлетались, опасно. Да ну их! — сказал дед Заур и отвернулся. Нинцо взрыхлила землю для цветов, я машинально приминала ее кроссовками. Сейчас переоденусь и выйду. Бабка помирает совсем, повторил дед Заур. Я промолчала. Что это за война, сказал дед Заур. Это не война. Эти с этой

Тамта Мелашвили — родилась в 1979 г. в городке Амбролаури (Зап. Грузия). После недолгого обучения в Тбилисском университете эмигрировала в Германию, где начала писать. В 2008 г. окончила Центрально-Европейский университет в Будапеште. Сейчас живет и работает в Грузии.

Повесть «Считалка» вышла в 2010 г. в тбилисском издательстве «Диогене». В 2011 г. повесть была отмечена авторитетной премией «Саба» — «За лучший дебют». В 2012 г. удостоена престижной премии «За лучшее произведение для юношества» («Deutscher Jugendliteraturpreis») на Всемирной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне.

стороны, те с той, а посередине что? Коридор откроют, сказала я. Что? Какой еще коридор? Так сказали, сказала я. Отец моего одноклассника сказал. Пустое, сказал Заур. Ничего не откроют, вот увидишь, перебыют нас здесь. Откроют, сказала я. Отец моего одноклассника сказал, что на днях откроют. Отец одноклассника, отец одноклассника, передразнил дед Заур и скривился. Пере-стань топтаться! Что они так летают? Глянул на небо. Как так? — спросила я. Да как-то не так. Перебыют нас. Еще чего, сказала я. До сих пор бы перебили. Ответь-ка мне, дочка, кому больше веры: мне или безногому отцу твоего одноклассника? Отцу моего одноклассника. Эх, вздохнул дед Заур. Ну пошли, Нинцо прикрыла дверь за спиной. На ней было синее платье. Курево у меня таскает, сказал дед Заур. Стерва она, крикнул вслед. Оторва. Нинцо сделала вид, что не слышала, разглядывала платье. Смотри какое! Шик, правда, Кнопка? Я только карманы отпорол. Приподняла подол, крутанулась. Я узнала платье. Воровка, сказала я. Воровка! Будет тебе, сказала Нинцо. Сколько раз говорила, не трогай чужое! Ну не начинай опять, сказала Нинцо. Украсть у мертвого не воровство, запомни раз и навсегда. Откуда ты знаешь, что она мертвая? Откуда? Не знаю, сказала Нинцо. Я знаю только ее брошенный дом. Так изучила, что с завязанными глазами войду и выйду, и перестань уже, хватит, тошнит. Ладно, сказала я. Ладно. Вот и хорошо, сказала Нинцо и, погода: больше ничего не возьму. А это уж очень понравилось. Синее. Маму в таком помню. Ладно, сказала я, ладно... К тому же у меня сюрприз для тебя... Мы вышли на главную улицу, на пустую улицу. Сюрприз? — машинально повторила я. Шагай быстрее, не утерпела Нинцо. Дело делом, а сюрприз сюрпризом. Хорошо, сказала я, только с одним условием. Идет, но условие после. Почему мы пошли отсюда? — сказала я. Нас могут увидеть. Но обходить долго. Нас увидят, Нинцо, сказала я. Ну ладно, ладно! Нинцо взглянула на меня расширенными глазами. Так и быть. Мы зашли с другой стороны. Посмотри повнимательней, сказала я. Никого нет, сказала Нинцо. Первой в пролом пролезла я. Я проскользнула легко, ей пришлось потруднее. Осторожно отодвинули сломанный засов и забрались в дом. Глаза быстро привыкли к полумраку, шторы и не думали сдвигать. Давай сюда, сказала Нинцо. Что покажу, обалдеешь! Когда успела побывать? — спросила я. Не помню, может дня два, сказала Нинцо. Квернадзе сбил замок. Силен! — сказала я. Прямо медвежатник. Громила. Кнопка! — засмеялась Нинцо. Грубых слов не говори, Бог накажет. Да иди ты! — я ткнула ее плечом. Вошли в спальню. Нинцо распахнула шифоньер. Вот то, о чем я тебе говорила. И что это? — спросила я без души. Как что, дурочка! Это же плеер! А к нему диски. Сечешь? Скорее всего, они не заметили, потому и не взяли. Работает, как новенький. Вот! — сказала Нинцо, она была возбуждена. Разве не здорово? А дисков сколько! Сделай потише, сказала я. Наверно, все это Датуну, и плеер и диски. А ты помнишь Датуну? Глаза у Нинцо заблестели. Ох и крутой был парень. Как говорится, смерть девкам! Я-то думала, что ты его не помнишь. Ты же еще дите! Нинцо фыркнула. На мужчин не смотрела. А тут место серьезное. Его гнездо. Чуешь? — она потянула носом воздух. Да, — сказала я. Только сделай потише. Нинцо поднялась. Кнопка-малышка, давай потанцуем. Не хочу, — сказала я. Да ладно, чего ты, Нинцо не стала дожидаться, задвигалась в танце. Ну, сила! — она закинула голову и покачивалась размеренно. А где сюрприз? — спросила я. Сюрприз? — переспросила. Сей момент. Вот тебе и сюрприз! Достала из лифчика пачку сигарет. Откуда? — спросила я. Это что,

подруга, допрос? Нинцо остановилась, выключила плеер. Кнопа-малышка, что с тобой? Я тебя не узнаю. Что с тобой происходит? Все из-за братишки? Скажи, откуда у тебя сигареты? Меня мутило. Тот голубоглазый дал, сказала Нинцо и отвела взгляд. Нинцо! — сказала я. Нинцо! Ты с ума сошла! Ты ходила к ним?! Почему — ходила? Насобираала подорожник для бабушки, шла мимо. Чего на стену лезешь, ей-богу! Возле поста он стоит. Один. Подозвал, я и подошла. Нинцо! — сказала я. Что? Я спросила: сигаретки не найдется? Думала, стрельну парочку, а он всю пачку дал. Подарил. Нинцо! — сказала я. Ты же знаешь, как с ними опасно! А если б кто-нибудь из наших увидел? Меня подташнивало. Мне, подруга, уже по барабану, сказала Нинцо. А он ничего, скажу тебе, крепкий тип. Глаза голубые, и накачан, прям культурист. Я ему нравлюсь, клянусь мамой! Знаешь, какими глазами на меня смотрел? А еще скажу — обалдеешь. Часто, говорит, вижу тебя с маленькой девочкой. Это он о тебе. Да, сказала я, это моя младшая сестра. Она вскрыла пачку. Дура, сказала я. Идиотка! Зачем было врать? Вот уж кто дура, так это ты. Что я должна была сказать? Что мы подруги? Одноклассницы? Думаешь, он бы поверил? Нинцо посмотрела на свою грудь. Какая ты противная, сказала я. А что потом? Что — потом? Дал мне сигареты, я улыбнулась и ушла. Нинцо закурила. Он тоже улыбнулся. Пустила дым мне в лицо. Противная, сказала я. Меня от тебя тошнит. Раз ты сумела так с ним объясниться, надо будет училку Валентину поблагодарить, может, она и отметку за четверть повысит. Нинцо глянула на меня. Так глянула, что я замолчала. Тоже взяла сигарету и закурила. Послушай, сказала Нинцо и раздавила окурочку в спичечном коробке. У Квернадзе к нам какое-то дело. У Квернадзе? — переспросила я. Да, а что? Ты так удивляешься, будто первый раз о нем слышишь. Дело, как я поняла, серьезное. Нинцо тоже посерьезнела. Ну, если уж Квернадзе! — сказала я. Нинцо легонько шлепнула меня по темени. Так-то лучше, сказала она. А то последнее время не узнаю тебя. Пугаешь, клянусь памятью матери. Вообще-то табак какой-то, на наш непохожий. Мягкий что ли? Да, хороший, сказала я. От него не кашляю. Никаких проблем, Кнопа, я еще у него возьму, засмеялась Нинцо. Нинцо! — крикнула я. Ладно, ладно, шучу. А теперь чего будем делать? Нинцо оглядела комнату. Давай посмотрим, что за узлы навалены на этом шкафу, помоги-ка их спустить. Нет, сказала я. Мы же договорились. О чем мы договорились? — сказала Нинцо. А? Ты прекрасно знаешь, о чем. Погоди, сказала Нинцо. Сперва посмотрим, что в тех узлах, а потом будем решать. Нинцо! — сказала я. Она приставила стул к шкафу, влезла на него и стала поодиночке сбрасывать узлы. Посмотрим, что в них. Я же ничего не беру, я только смотрю. Нинцо! — сказала я. Нинцо, Нинцо, Нинцо! — крикнула Нинцо. Достала ты меня! Она прыгнула со стула. Достала! Или ты мне поможешь, или вообще! Вот где у меня твоя порядочность! Провела рукой по горлу. Эти отсюда дали деру. Пойми раз и навсегда: ушли, смотались. И знаешь почему? Потому что они не такие жалкие и ничтожные, как мы с тобой. У них деньги были. Заплатили и ушли. А я? А ты? Мы тут подохнем, потому что у нас нет толстой задницы, как у них! Они будут жить, а я, перед тем как подохнуть, даже их лохмотья не посмею надеть, так, что ли? Так, я тебя спрашиваю?! На висках у Нинцы вздулись жилки. А теперь смотри на меня! Я возьму все. Весь дом вынесу! Все вынесу отсюда! Нинцо ногой пнула стул и закричала: Вынесу к чертовой матери! Хватит, сказала я. Тише! Ладно, делай как знаешь. Я придвинула стул к шкафу. Лезь и подавай. Нинцо глянула на меня. Так-то,

сказала. Неужели надо было наорать, чтобы мне помочь. Встала на стул, подала сверху узел. Одежда, сказала я, старая. И какие-то то ли шторы, то ли занавески. Отлично! — сказала она сверху. Занавески изорву на пеленки для бабушки, а шмотки надену! Тут много мужских вещей, сказала я. Ничего, тоже пойдут на подстилки для Ламары. Глянь! — показала мне руки. Видишь, на что похожи от стирки ее подстилок. А эти буду менять и выбрасывать! Перебрали все, получилось два узла, остальное свалили грудой. Ночью заберу, а то еще увидит кто-нибудь, прицепится, сказала Нинцо. Нинцо! — сказала я, погода. А как же то, что ты поклялась? Ты о чем? — вроде удивилась Нинцо. Поклялась, что ничего больше не вынесешь. Мной поклялась. Уф, вздохнула легко. Будет тебе, Кнопка. У меня тогда было чур-чура. Чур-чура? Вот именно, сказала Нинцо. Когда тобой клянусь, у меня всегда чур-чура. Тут и женские вещи есть, сказала я. Хочешь? Ну-ка, сказала Нинцо. Вот, показала я. Хочу, еще бы! Хи-хи-хи-хи, захихикала Нинцо. Ты на это глянь. Обалдеть! Интересно, с какого это века? И эти тоже хотим? Я поштучно подавала ей странные наряды. А как же! Устроим показ моделей Ламаре и Зауру! Нинцо рассмеялась. Ты тоже приходи, оттянемся. Ладно, мне тоже сделалось смешно. Нинцо набрала кучу женской одежды, слезла со стула. А теперь пошли, потом все это унесу. Пойдем, надо еще подорожник собрать бабке от пролежней. Хорошо, сказала я. Только на минутку домой загляну. Раз так, ты иди, а я еще останусь, немного музыку послушаю. Нинцо включила плеер. Через час встречаемся у меня! Лады, сказала я и прикрыла за собой дверь. Не сделала и трех шагов, как услышала голос Нинцы. Она пела.

Ч е т в е р т

Чего вы все тут ходите, девчонки? И не страшно вам? Шли бы домой, а то догуляетесь до беды. Вон уже сколько зейнабовых дочек найти не могут! Мы, тетя Мзия, подорожник собираем, сказала Нинцо. Про подорожник и помнить забудете, дурехи, особенно ты! Подорожник Ламаре нужен, ее бабушке, процепила я сквозь зубы. Пролежни ее мучают. Э, куда лиса, туда и лисий хвост, сказала Мзия. Ходите всю дорогу не разлей вода, прямо Пат и Паташон. Что ты к ним привязалась, гого¹? Чего ворчишь на девочек? Из своих ворот вышла Додо с веником в руках. Не ворчу, а предупреждаю. Война, а они туда-сюда, туда-сюда, прогуливаются, понимаешь. Нашли время для прогулок. Мы подорожник собираем, повторила Нинцо. Лучше не подорожник собирать, сказала Додо, а пойдемте-ка вы со мной, помолимся все вместе. Я в церковь наладилась, прибраться-протереть. А мне сейчас там нечего делать, я на Успение приду. Тебе, может, и нечего, а им в самый раз. Помогут прибраться, коли время есть вниз-вверх ходить. Батюшка-то будет? — спросила Мзия. Будет батюшка, батюшка почитает. О мире помолимся... Кнопа, дочка, вдруг смягчилась она. Встанешь с нами в хоре? Первого голоса не хватает. Встану, тетя Додо, сказала я. Вот и славно, дочка. Нам бы всем в Божий храм, вместе молиться, вместе и спасемся. Господь спасет нас. О мире помолимся, о жизни, и о погибших тоже помолимся, об убиенных. Поняла, гого? — она строго глянула на Нинцо. Подружка твоя хорошая, церковное дитя, перевела взгляд на меня. Ходит к нам, а когда и в хоре

¹ Гого — девочка (груз.), принятое в Грузии обращение, в том числе между женщинами-ровесницами.

поет. А ты? Ты что делаешь? За бабушкой ухаживаю, насупилась Нинцо. А еще? Еще хоть что-нибудь сделала? Пошли сейчас со мной, поможешь церковный двор подмести, Бог воздаст. Я собрала подорожник для бабушки, должна ей отнести. Идем-идем, поможешь прибраться, потом отнесешь свой подорожник. Мы сперва отнесем, тетя Додо, вмешалась я. А потом к вам придем. Другого выхода не оставалось, Нинцо уже побелела от злости. Смотри! — вдруг воскликнула тетя Додо, глядя куда-то поверх меня. Что эта дуреха тащит? Что у нее на плече? Кто это, девочки? Мзия затенила рукой глаза. Я посмотрела и сказала: Это Тебро. А чего она такое несет? Лопата, сказала Нинцо. Здоровенная лопата. У нее и раньше не все были дома. От безмужности. А за эту войну совсем свихнулась. Здравствуй, сказала Додо. Откуда путь держишь, гого? Из ущелья, сказала Тебро и остановилась. Лицо у нее покраснелось. Из ущелья? — переспросила Нинцо и глянула на меня. И чего ты с этой лопатой на плече? — спросила Мзия. Мертвый в ущелье лежит, сказала Тебро. Убитый. Про то и мы знаем. Это не наш мертвый. Не наш, сказала Тебро, она тяжело дышала. Но смердит сильно. Чей бы ни был, мертвому нужна земля. Похоронили? — в один голос спросили мы с Нинцо. Кто? Я? Не смогла, только землей присыпала. И то дело, сказала Нинцо. Мы даже подойти не смогли. Хоть узнать, кто вас неволит! — сказала Додо. Ихний мертвый недостоин земли. Мертвый есть мертвый, сказала Тебро. У мертвых ихнего и нашего нету. Вскинула лопату на плечо и, не глядя на нас, пошла. Всегда вот так путано говорит, сказала Додо. Не поймешь. Валяется в том ущелье убитый, и поделом ему! Так он же там гниет, разлагается, сказала Мзия. А там дети играют. Вон сынишка моего Дито целыми днями там пропадает, это как? Мальчишки по пять раз на дню ходят посмотреть. Что же свои его не похоронили? Почему бросили? Кто его бросил, пусть тот теперь и хоронит, сказала Додо. Идем отсюда, не могу больше их слышать, сказала Нинцо. Пока до свиданья, сказали мы и, не оборачиваясь, поспешили от них. Приходи, Нинцо, гого! Слышишь? Со своим веником приходи! Жду! — крикнула Додо нам вслед. Без тебя не начну! Счас разбегусь! — сказала Нинцо. А ты пойдешь? — спросила меня. Только разуюсь. На Успение, так и быть, попою в хоре. Ух, Кноп! — просияла Нинцо. Люблю, когда ты такая! С ума сойти!

П я т н и ц а

Не ест, сказала Нинцо. Даже рта не открывает. Она вывезла бабушку Ламару во двор и выстилала ее каталку подорожником. Смотри, как мучается, сказала и жалобно взглянула на меня. Помочь? — спросила я, не глядя на Ламару. Глаза у нее были широко открытые и бессмысленные. Не надо, сказала Нинцо. Я сама. Я присела рядом. Деда Заура не было поблизости. Нинцо, сказала я, коридор не открывают. Нинцо ничего не ответила, старательно выкладывала каталку подорожником. Кто тебе сказал? — спросила глухо. Пиралишвили, сказала я. А им Гоцадзе. И по радио тоже сказали. Нинцо молчала, продолжала выстилать каталку. Нинцо, сказала я. Сегодня я это сделаю. Сделаем, глухо сказала Нинцо. Сейчас закруглюсь и пойдем. Иначе помрет малец. Закончу сейчас и пойдем, Кнопа, сказала Нинцо. Ладно, сказала я. Мы обе примолкли. Видишь, как дышит, сказала, погодя, Нинцо. Жарко, сказала я. Да, сказала Нинцо. Может быть и это. Помоги пересадить. Мы пересадили Ламару в коляску. Бабулечка, сказала Нинцо. Ба, давай немножко покушаем. Ламара

сидела неподвижно. Глаза у нее были широко открытые и бессмысленные. Ну, покушаем, ба! Нинцо поднесла ложку ко рту. Ламара не шелохнулась. Открой рот, бабуля, сказала Нинцо. Ну вот, и не ест совсем, Нинцо была в отчаянии. Даже рта не открывает. Может, Заур ее покормит? — сказала я. Смеешься? Нинцо поморщилась. Он к ней вообще не подходит. Да и она не подпустит. По-моему, она его ненавидит. По-моему, они всю жизнь ненавидели друг друга. Что только не придумаешь! — отмахнулась я. На меня одну реагирует. Может быть, на моего отца отреагирует, так мне кажется, хотя кто знает. Как он ушел, с тех пор такая, и с каждым днем хуже. Бабуля, бабулечка, ну открой рот, еще раз попыталась Нинцо. Ламара не шелохнулась. Прямо не знаю, как быть! Ее душили слезы. Что делать, не соображу. Может, еще пройдет, сказала я. И раньше ведь такое бывало, помнишь? А потом опять ела. Нинцо встала. Отнесла тарелку в дом. Я отвернулась от Ламары — она смотрела прямо на меня. Ба, глянь сюда! Нинцо вышла из дома. Как тебе это? Я рассмеялась при виде нее, такая она была смешная. В длинных платьях, вынесенных из дома Датуны — одно поверх другого, в шляпе с цветами на голове, она была похожа на пугало. Гримасничая и вихляясь, встала перед бабушкой Ламарой, потом обернулась ко мне, выпятила губы. Лицо ее было ярко размалевано — и когда только успела — и, счастливая, спросила: ну как? Отпад?! Скажи! Отпад, сказала я, от смеха из глаз катились слезы. А вот так? — спросила Нинцо и повернулась спиной. Подошла к бабушке Ламаре. Смотри, ба, смотри, какая я красивая! Взмахнула подолом и крутанулась перед ней. Я видела то ее спину, то раскрашенное лицо и смеялась, смеялась. Вдруг Нинцо остановилась и сказала: Ламара! Потом громче: Ламара!! Что случилось? — спросила я. Я видела только ее спину. Нинцо оглянулась. Она плачет! Опять плачет! Повторила с отчаянием и крикнула: Ламара! Сорвала с головы шляпу, швырнула на землю и наклонилась к бабушке. Тут я увидела, что из широко раскрытых бессмысленных глаз Ламары текут слезы. Выражение лица не изменилось, только слезы ручьями текли по нему. Не могу больше, сказала Нинцо. Знать хотя бы, о чем она плачет. Проклятье! Проклятье! Подняла с земли шляпу с цветами, напялила Ламаре на голову, развернула коляску к дому и крикнула мне: завезу ее и пойдем. Я подобрала упавшую на землю ложку, ту, которой Нинцо пыталась кормить Ламару, и положила на край скамьи.

С р е д а

Фу, смрад какой, сказала я. Не продохнуть, сказала Нинцо. Это из ущелья, сказала я. Мы переглянулись. Пойдем, посмотрим, сказала Нинцо. Не надо, прошу тебя, сказала я. Меня и без того тошнит. Она не стала меня ждать, сбежала по круче. Я какое-то время стояла на месте, не могла решить, спускаться за ней, или нет. Кнопка! — крикнула Нинцо. Кнопка! Каким-то странным голосом крикнула, необычным. Что? — отозвалась я и побежала вниз. Между деревьями виднелось ее синее платье. Тошнотворный запах делался сильнее. Смотри, сказала Нинцо и обернулась ко мне. Руки ее были прижаты к лицу. Я тоже закрылась руками, только прижала их не к лицу, а к носу. Фуу! — сказала я. А что это, белое? — сказала Нинцо, кивая назад. Не знаю, сказала я. Наверно, мозги. Меня сейчас стошнит, сказала Нинцо. Я подвинулась поближе, руками зажимала нос. Не наш, сказала я. Откуда ты знаешь? — сказала Нинцо. Фу, мух-то сколько, мух! Как — откуда? Посмотри на форму. Да, ихний, сказала Нинцо. Потому и не похоронен. Пошли, Кнопка, — сказала Нинцо. Пошли отсюда. Мне

плохо. Но ведь он не похоронен. И что? Мне, что ли, его хоронить? — сказала Нинцо. Я девочка, и почему-то стиснула ладонями уши, потом повернулась и, наклонясь, быстро пошла вверх по круче. Я пошла за ней. Так и будет там лежать, сказала я, когда нагнала ее на пригорке. Не знаю, Кноп. Что я могу? — сказала Нинцо и перевела дух. Мужчин не осталось, чтобы его похоронить. Я, что ли, это сделаю?! Не могу. А если сказать Квернадзе? — сказала я. Думаешь, он сможет? Не знаю, сказала я. Кто живет на краю ущелья, тем бы и похоронить. В том-то и дело, сказала Нинцо, что там никто не живет, дома пустые, и его запах никого не мучает. Умоляю, пошли отсюда, пошли скорее... Она ускорила шаг. Не то сейчас меня стошнит. Меня тоже тошнит, сказала я. Не прошли мы и десяти шагов, как увидели ватагу мальчишек. Четверо маленьких мальчиков спорым шагом направлялись к яру. Их нельзя туда пускать, сказала Нинцо. Чтобы эти головастики увидели такое... Куда вы, дети? Стойте! — она преградила им путь. В ущелье мины, сказала Нинцо. Туда нельзя. Какие еще мины! — ответил самый старший, лет восьми. Там мины, говорю вам! Нинцо раскинула руки, преграждая мальчишкам путь. Дети, там правда мины, сказала я. Туда нельзя. Не мины там, а убитый, опять сказал старший и посмотрел мне в глаза. Я молча взглянула на Нинцу. Она тоже молчала. Старший из мальчиков оттолкнул меня, бросил своим: пошли, чего встали! Мальчишки, насупив брови, последовали за ним; проходя мимо, каждый хмуро взглянул на нас. Нинцо посторонилась, пропуская. На тебе лица нет, сказала мне. На тебе тоже, сказала я. Хоть похороните его, выродки! — крикнула Нинцо им вслед. Они не слышали. Последним шел самый маленький. На корточках сползал по круче.

Ч е т в е р г

Девоньки, родименькие! — окликнули нас с дороги. А этим-то чего? — пробурчала Нинцо. Их было две: одна беременная, с большим животом, другая в черном, сутулая. Ты ведь Нинцо, верно? — сказала которая в черном. Да, я, тетя Нели, сказала Нинцо. Поди к нам на минутку, детка, подойди, голубушка. Пошли, посмотрим, чего им. Они сидели на скамье под деревом. Обе взмокшие, с красными лицами, особенно беременная. Сделай божеское дело, доченька, мне не наклониться так, сними с нее обувку. Ноги у беременной были отекавшие. Нинцо передала мне корзину, наклонилась без слов. К доктору ходили, со дня на день ждет. Не могли же эти туфли изгвоздать, у нас сами знаете, какая грязь, сказала сутулая в черном. Через пост пропустили?! — в один голос спросили мы. Да, сказала беременная. Как увидели мой живот, — она тяжело дышала. Мы попросили. У них есть доктор, он посмотрел меня. Ух, как у тебя ноги-то отекают! — сказала Нинцо. Так бывает, когда тонус повышенный, сказала та, что в черном. Да и жара свое делает. Когда ждешь? — спросила Нинцо, не поднимая головы. Скоро, сказала беременная. Со дня на день ждем, дочка, со дня на день, сказала в черном. А что мы можем, сама видишь. Где нам рожать, кого просить, куда податься? Не знаю! Не то что доктора, никого не осталось. Одни мы и такие же жалкие, вроде нас. Им-то что! Ихние теперь и этот мир, и эта жизнь, и все на свете. Ушли и живут, не тужат. Их ничто не убьет, а вот мы тут дышим, и такие, как мы. Мама, сказала беременная. Ночи не сплю, все ее караулю, прислушиваюсь, сердце разрывается: вот сейчас начнется, вот сейчас... И когда наконец откроют этот треклятый коридор, будь он неладен. Хоть бы ее вывести, о себе уж и не думаю, что — я, мне пару деньков осталось дожить.

Мама! — громче сказала беременная. Господи, спаси нас и помилуй! — сутулая в черном перекрестилась. Жалко в этих туфлях по грязи, единственная пара у нас, доченьки, миленькие, потому и позвали вас, побеспокоили. Нехорошо к доктору в грязных туфлях. Сутулая в черном достала из матерчатой сумки грязную пару туфель и протянула Нинцо. Какое же беспокойство, сказала Нинцо, ей никак не удавалось расстегнуть застежку на опухшей ноге. Кнопка, поди-ка на минутку, никак не справлюсь, вот тут прижми пальцем. Извините, девочки, сами знаете, какая у нас там грязь. Трубку прорвало, сказала беременная. Одну застежку мы кое-как расстегнули. У вас трубку прорвало, а у нас воды не стало, проворчала Нинцо. От них воду таскаю, кивнула на меня. Мам, посмотри, какие у нее груди, сказала беременная и подбородком показала на Нинцу. Ее несчастная мать тоже была такая. Грудастая. Нинцо гордо покосилась на меня, мне стало смешно, но я сдержалась. Тебе сколько лет, дочка? — спросила та, что в черном. Тринадцать, Нинцо опять оглянулась на меня. Не может быть! — удивилась та, что в черном. На вид не меньше восемнадцати! Золотко, доделай уж доброе дело, надень на нее вот эти. Нинцо легко обула на беременную грязные туфли и встала. Чистые протянула женщине в черном. Та положила туфли в сумку. Да, мне как будто восемнадцать, Нинцо выпрямилась. А ей вот тоже тринадцать. Да что ты! — поразились сутулая в черном, даже руками всплеснула. Посмотришь — совсем маленькая, особенно рядом с тобой. Она пока ребенок, у нее и месячных еще не было, прыснула Нинцо. А у тебя есть? — обе женщины засмеялись. У меня? У меня год как месячные. Ты настоящая женщина, сказала беременная. Эй, ты чего суксилась? Нинцо наклонилась ко мне. Мы тут все женщины, базарим о женском. Они опять засмеялись. Ладно, тетя Нели, пойдем мы, пока! Нинцо взяла корзинку. Как твоя бабушка, детка? — спросила ее та, что в черном. Да плохо, сказала Нинцо. Мы повернулись, чтобы уйти. За ней ведь ты ходишь? Я, больше некому, дедушка Заур и близко не может подойти. От отца ничего не слышать? Да как сказать, сказала Нинцо. Вроде с ним в порядке. Вот откроют, девочки, коридор и... Всего хорошего, тетя Нели, не оглядываясь, сказала Нинцо. Жалость-то какая, Господи! Как эта женщина помирает, без близких, без догляда, без доброго слова. За что? Помогите нам, Господи, призри несчастных, не оставь своею милостью, Господи! Мама, сказала беременная. Будьте здоровы, девочки. Большое вам спасибо, родненькие! Мы пошли. Знаешь, что я с тобой в другой раз сделаю, сказала я в сердцах. Да будет тебе, Кнопка, и к тебе придут месячные, никуда ты не денешься. Мне было не до нее, не то вмазала бы как следует — пусть бы погонялась. Ей ни в жизнь меня не догнать. Шагай быстрее! — сказала я. Хотя таскать такие сиськи в надгuzнике нелегко, тебя можно понять... Нинцо хотела что-то ответить, но передумала. Промолчала.

П я т н и ц а

Теперь смотри внимательно, сказала Нинцо. В это оконце никому, кроме тебя, не пролезть. Мы брели вдоль дороги, высматривая подорожник. Так что тебе сильно повезло, Кнопка. Я промолчала, наклоняясь до земли, срывала подорожник. Значит так, слушай теперь. Лучше прийти до двенадцати часов. В двенадцать у них смена караула. Потом опаснее. И чего они пост чуть не к аптеке пристроили? — сказала я. Меня подташнивало. Разве у нас с тобой есть такой большой дом, такой, как у Гвелесиани? — сказала Нинцо. Тут тебе и аптека, и

магазин. Теперь слушай сюда, подвинулась поближе. Слушай внимательно. Обойдешь дом со стороны заднего двора, перелезешь через окно ихнего евросортира, будь он неладен. Там осторожней, не напорись на обломки стекла в раме, не оставь на ней кой-чего, она прыснула. Нинцо, сказала я. Прошу тебя! И без того тошнит. Ну, ладно, ладно, сказала Нинцо. Как окажешься в доме, иди налево. Там сначала коридор, оттуда перейдешь в аптеку, как ты помнишь, детское питание у них хранилось слева. Да, сказала я. Если от нас, то справа. Оно наверняка на старом месте. Этим оглодам детское питание и даром не нужно. Может, уйдем уже отсюда? — сказала я. Меня тошнило. Конечно, пошли, а то кто-нибудь обратит внимание, сказала Нинцо. Она показала мне свои грязные ладони. Фи, посмотри на мои ногти, на что они похожи! Мы взяли свои корзины и пошли быстрым шагом. Нинцо, худо мне, сказала я. Обе остановились. Совсем худо, очень тошнит. Нинцо забрала мою корзину, взяла меня за руку. Все, Кнопа, все, не бойся, идем вот сюда. Вошли во двор детского сада. Уйди, сказала я. Да ладно тебе! Что ты в самом деле, сказала она. Рвоты я, что ли, не видела? Уйди, Нинцо. Все, пошла, сказала Нинцо. Сдержаться не удалось, меня стошнило прямо возле качелей. Нинцо сидела рядом, перебирала подорожник в корзине. Отпустило? — спросила. Полегчало хоть? Да так, сказала я. Не очень. Что ты ешь такое, что всю дорогу выворачивает? Не знаю, сказала я и сплюнула. Иди, ко мне подвинься, сказала Нинцо. Про остальное расскажу. Отложила корзину, встала. Пить хочу, сказала я. Пить... Откуда здесь возьму тебе воду? Нинцо села на сломанные качели. Что смотришь? Садись и ты, покачаемся. Нинцо, меня только что стошнило, сказала я. Кнопка-малышка, ну, пожалуйста, сядь с той стороны. Я села. Какая ты бледная, сказала Нинцо, оттолкнулась от земли, качели качнулись. Только бы не заскрипели, сказала я. Слушай внимательно: когда ты выйдешь, я буду поблизости, но, допустим, что-то не сошлось, и нас заметят. Она опять оттолкнулась. Кто их знает. Могут в темноте принять не за тех, или еще чего. Да мало ли... Могут стрельбу открыть. А чтобы не стреляли, и вообще, для безопасности, мы должны поднять крик, вопить изо всех сил, поняла? Дескать, это мы, дети. В детей не станут стрелять, поняла? Откуда ты знаешь, что не станут, сказала я. Война. Говорю тебе, не станут, сказала Нинцо, повторила как-то упрямо. Дай сигарету. Зачем? Опять ведь вырвет, не надо. Хочу, сказала я. Дай! И сама оттолкнулась ногой и качнула качели. Стрелять не станут, сказала Нинцо и протянула мне сигарету. Главное, чтобы не приняли за кого-нибудь. А поймают, ничего не сделают, и отнять у нас нечего. Особенно, если среди них окажется тот, голубоглазый. Он меня знает. Нинцо, сказала я. Что? — сказала Нинцо. А если через поле пойти? Офонарела совсем, да? — сказала Нинцо. Не видишь, что к тому полю никто близко не подходит, даже они сами. Не слышала, что ли, что оно заминировано? Слышала, вроде, но не знаю... Я отвела взгляд. Оттуда все-таки ближе перейти, и лес рядом... Нинцо, сказала я, а если станут стрелять? Не станут, она щелчком выстрелила сигарету. Вставай, пошли. А если станут? Помнишь того убитого в ущелье? Не напоминай все время этого убитого с его мозгами! — крикнула Нинцо. Меня тошнит! Ты просто трусиха, вот и все. Мне там не протиснуться, а то бы сама полезла, без тебя бы обошлась! Если не можешь, скажи, что-нибудь придумаем, залезем как-нибудь. Если ваш ребеночек не помрет до тех пор. Я встала. Пошли, сказала. Нинцо изменилась в лице. Какая ты маленькая, Кнопа, сказала тихо и, погодя: А теперь еще меньше стала. Ладно, извини, прости. Напрасно я так.

С р е д а

Хочешь сигарету? — сказал Квернадзе. Нинце сказал и посмотрел на ее грудь. Не видишь, что нас двое? — сказала Нинцо. Если предлагаешь, обеим предлагай. Хочешь сигарету? — сказал он мне. Нет, сказала я, у нас есть. Я хочу, сказала Нинцо. Дай прикурить. Квернадзе опять посмотрел на нее. У меня дело серьезное, не подумайте, что какие-нибудь там шуточки-бирюльки, поднес ей зажженную спичку. Нинцо глубоко затянулась, зажмурилась, повторила: Не видишь, что нас двое? Ладно, не обижайся. Дело серьезное, девочки, Квернадзе даже не посмотрел в мою сторону. Я и вспомнил про тебя, то есть не про тебя — про вас. Пройдем вон туда, сказала Нинцо. Что за понты — посреди улицы разговаривать. Обошли дом сзади, оказались на задворках. Короче, сказал Квернадзе и сплюнул, дело серьезное, без дураков. Скажи наконец, сказала я. Глянь-ка на эту писклю, удивился он. Поосторожней, парень, сказала Нинцо. Тут тебе не это... Ну ладно, ладно, сказал Квернадзе и спросил: помните Медо? Медо? Медико, что ли? Давалку? — сказала Нинцо. Пропала она, сказал он. Как пропала? — удивилась Нинцо. Пропала и все. Никто не знает, куда делась. Недельку никто не видел. Убили, наверное, сказала Нинцо. Наверное, сказал Квернадзе. Не наверное, а точно. Ее убили, а я накрылся. Что за понты такие ты заливаешь? Нинцо прыснула. Такие вот понты, сказал Квернадзе, ногой раздавил сигарету, близко наклонился к Нинце, сказал тихо: В деле накрылся, блядь буду, в серьезном деле. В каком таком деле? — сказала Нинцо, она тоже ногой раздавила сигарету. Я знаю, в каком, сказала я. Это он про дозы. Ва-а, удивился Квернадзе. Ты даешь! На этот раз писклей не назвал. Что за дозы? — сказала Нинцо. Обычные. Разные. От нас к ним, от них к нам. Верно? Ва, ты на нее посмотри! — опять воскликнул Квернадзе. А знаешь, как переносила? — сказала я. Нинцо смотрела на меня расширенными глазами. В себя закладывала, сказала я. Внутрь. Что-о? — сказала Нинцо. Ты откуда столько знаешь, гого? — сказал Квернадзе. У меня есть имя, бичо¹, сказала я. Ну ладно, ладно, сказал он. Как это внутрь? — повторила Нинцо. Ты чего? Засовывала туда и все, сказал Квернадзе. Похоже, на этом и накрылась. И тютю! Хорошая была девка, блядь буду. В себе переносила? — растерянно повторяла Нинцо. А мы при чем? — сказала и посмотрела на Квернадзе. Он опять закурил. А то, что я долго не думал, сразу про вас вспомнил. Вы маленькие, вас никто не заподозрит. Что-о! — сказала Нинцо. И я в себя засуну, что ли? Дай сигарету, сказала я Квернадзе. Дал. Да нет, сказал он. Что значит, в себя засунешь. Я научу, что и как. Вы маленькие, на вас никто не подумает. А деньги серьезные, блядь буду. Деньги, сказала Нинцо. Ихняя валюта, сказал Квернадзе. Знаешь, что это значит? Что? — автоматом спросила Нинцо. Заплатишь и уйдешь отсюда, без всякого коридора, не подохнешь тут. Погоди-погоди, сказала я. Объясни путем, что мы должны сделать? Да вы не бойтесь, девочки, я все про это знаю. Я давно в этом деле, и Медо была со мной. Серьезные бабки делали, настоящие. Вы хоть знаете, что это значит? Стоп. Ладно. Положим, мы соглашаемся. Говорим — да. Нинцо постепенно приходила в себя. Ничего, сказал Квернадзе. Лесом перенесете через границу. Лесом? — сказала Нинцо. Ты что, офонарел? Погоди, сказала я. Каким лесом? С той стороны, — Квернадзе неопределенно

¹ Бичо — мальчик (груз.), принятое обращение между ровесниками, в этом контексте задиристо-вызывающее.

мотнул головой. Этот ведь заминирован. А в том оба стоят, сказала я. И наши, и ихние. В том-то и дело, что надо обоих обойти, и тех, и других. Дозы ихние, покупатели наши. Они там стоят, у них и блокпост, и патрули. Надо всех обойти и доставить товар мне в руки. Дальше я знаю, что делать. погоди! Как это? Почему не врубаюсь? Нинцо явно не догоняла и по-прежнему казалась растерянной. Объясняю. Пройдешь лесом, дорогу распишу, не заблудишься. Хотя почему пройдешь — пройдете обе, вдвоем. Там встретит вас одна женщина, старушка, ну, совсем бабуся, я и место назову. У нее заберете, что даст. Туда перейти не проблема, вот назад вернуться... Ну и ну! — воскликнула Нинцо. Она напряженно думала, на лбу обозначились синие жилки. Сильно! Маленькие вы, сказал Квернадзе. Эта совсем маленькая, посмотрел на меня. Не заподозрят. А поймают, скажете: по грибы ходили, с дороги сбились, дяденька, и две-три слезинки. По грибы? — сказала Нинцо, она все соображала. Да, по грибы, что в этом подозрительного? Ничего. погоди, сказала я. Допустим, скажем — по грибы. Но как мы эти штуки перенесем? Как? — переспросил. Как Медо сможете? Он осклабился. Зубы-то не скаль, придурок, сказала я. Взглянул на меня, сказал: Да перенесете, как сможете, вы маленькие, никто ничего не заподозрит. Маленькие! Маленькие! Нинцо поморщилась. У тебя часом фляга не свистит? Посмотри на меня повнимательней и скажи прямо: как мы перенесем эти твои штуки? Квернадзе посмотрел на нее, ответил: Перенесешь в корзинке. В какой корзинке? — сказала Нинцо. Ты пошла в лес за грибами. Не в первый раз, я думаю. Или в лес за грибами не ходят? Задержат — скажешь: голодаем, дяденька, кушать хочется, в лес пошли и заблудились. А если корзинку осматривают, сказала я. Корзинку осматривают в последнюю очередь, сначала вас осматривают, Квернадзе опять посмотрел на Нинцу. А в корзине будут грибы. На что ему твои грибы! Он их не отнимет, даже не взглянет на них. Тут, понимаешь, война, на что ему грибы, собранные голодными детками. Нинцо переглянулась со мной, спросила: Почему ты так уверен? Я посмотрела на Квернадзе. Почему-почему... Достали вы меня, сука буду! Заблудились, голодные, какое ему дело до твоей корзины. К тому же обе свои, местные. Да пропустят вас без булды. А сам не можешь заблудиться? Нинцо посмотрела на него с прищуром. Я уже погорел на этом. Знают меня. К тому же я мужчина, а ты девчонка, им и в голову не придет, что на такое решилась. И в голову не придет, блядь буду! Ух, сказала Нинцо, риск! А за сколько? — сказала я. Назови сумму. Какую сумму? Как какую? — сказала я. Сколько нам заплатят? Плату делим поровну. Сколько делим? Квернадзе назвал сумму. У Нинцы аж глаза округлились. Да ну! — взглянула на меня. Я тоже посмотрела на нее. Какое-то время смотрели друг на друга. Я согласна, сказала я. Я тоже, сказала Нинцо. Вот это я понимаю, сказал Квернадзе. Так. Завтра пойдете? Завтра? Нинцо опять взглянула на меня. Завтра так завтра, сказала я, закурила. Только корзина с грибами сегодня здесь должна быть, а половина денег завтра вечером. Вы что, офонарели? — скривился Квернадзе. Обалдеть! А мне, что ли, грибы прикажешь собирать! Она права, Нинцо глянула на меня с гордостью. И про деньги правильно говорит, еще раз глянула. Ладно, нет базара, Квернадзе сплюнул. Считай, что ради тебя, он опять посмотрел на грудь Нинцы. Уф, вздохнула Нинцо. Завтра в полдень придем к дому Датуну. Все остальное потом. Она опять взглянула на меня. Одна придешь? — сказал Квернадзе. Нинцо вызывающе выпрямилась. Почему одна, не видишь, что нас здесь двое? Ладно, ладно, все, сказал Квернадзе, будь по-

вашему. А грибы сегодня же у дома Дато, под дверью, сказала я. Он потянулся к Нинце, ущипнул ее за щеку. Эй, парень! Нинцо отклонила. Ты часом не забыл, чья я дочь? Нет, сука буду, сказал Квернадзе. То-то, сказала Нинцо. И ведром-то не брякай! Все, все. Ладно, сказал Квернадзе. Оставить вам сигареты? Давай, сказала я. На, протянул мне пачку и опять взглянул на Нинцу. Завтра в пять буду там. А не будешь... сказала Нинцо и как-то странно ему улыбнулась. Ух, чтоб тебя! — сказал он и засмеялся. Ладно уж, ступай, сказала я. Значит в пять я там, сказал, опять обращаясь к Нинце и подмигнул ей. Нинцо опять улыбнулась ему. Ну и осел! — сказала я, когда он скрылся из виду, потом посмотрела на Нинцу. Она не улыбалась. На ее лбу опять голубели жилки.

Ч е т в е р т

Есть хочется, лицо у Нинцы было жалкое. Дай конфетку. Если хотела, могла и сама взять, сказала я. Ну дай, пожалуйста, голос у нее помягчел. На, достала из кармана, протянула. Нинцо посмотрела брезгливо, потом развернула. Ой, да это леденец! — фыркнула. Вот беда-то! Что будешь делать? — сказала я. Да ну тебя, отмахнулась. Если б не война, я такую и в рот бы не взяла. Я взглянула на нее. Она морщилась, но конфетку не выплевывала. Откуда у стариков эти леденцы? Хоть бы шоколадку дал. Что имел, то и дал, сказала я. Глянь-ка на этого, на кого похож! — сказала Нинцо, когда мы прошли еще немного. У калитки детсада пригорюнился малец лет пяти. Что случилось, мальчик? Садик закрыт, кашку не дают? Взглянул на нее большими глазами. В чем дело? — повторила Нинцо. Скажи, что ты тут делаешь? Мама знает, что ты здесь? Мальчик кивнул, потом сказал: мамы нету дома, и отвернулся. А где она? — сказала Нинцо. Сейчас нету, но скоро придет. На, возьми, сказала я и протянула ему конфеты, которые дал нам дедушка Алекси. Он взял и резко убрал руку за спину. Спрятал. Мальчик, ты не знаешь, что надо сказать спасибо? — сказала Нинцо. Оставь его в покое, сказала я. Спасибо, сказал он. Почему ты ее прячешь? Разве мы отнимем? Ешь, она твоя, сказала Нинцо. Она присела на корточки, корзинку поставила у ног. Мальчик быстро развернул фантик и положил конфету в рот. Хорошая? — сказала я. Да, сказал он. Да, хорошая. А где же твоя мама? — опять спросила Нинцо. Он пожал плечами. Ты знаешь, кто его мать? Гогола. Это сын Гоголы, сказала Нинцо. А сестра твоя где? — спросила. Дома, сказал мальчик. Конфета была у него во рту, он сосал ее. Одна? — спросила Нинцо. Да, спит, сказал мальчик и проглотил слюну. А ты почему тут стоишь? Она спит, говорю. Спит и проснется, сказала Нинцо. Ступай. Мотай домой. И пойду, сказал мальчик. Чего мне тут делать? Выплюнул конфету на ладошку, вытащил из кармана фантик и завернул в него. Ты чего делаешь? — удивилась Нинцо. Она посмотрела на меня. Потом доем, сказал он. Сейчас уже поел. У тебя же еще есть, сказала Нинцо. Мы тебе сколько дали. Ту сестре отнесу, сказал мальчик и виновато взглянул на нас. Есть еще? Дай ему, сказала мне Нинцо. Я все отдала, сказала я. Ладно. Как тебя зовут? — спросила Нинцо. Георгий, сказал он. Георгий, у нас будут еще конфеты, и мы тебе дадим. У нас скоро будет много конфет. Понял? Ты только не грусти. Много? — сказал он и недоверчиво сощурил глаза. Он не верил. Конечно! — сказала Нинцо. Война кончится — и у нас все будет. Война кончится? — еще недоверчивее сощурил глаза. Кончится, ну да! Не всегда же ей быть, Нинцо отвела от него взгляд, потрогала подорожник в корзинке. Ладно, сказал мальчик. Спасибо, сказал и

ушел, не оглядываясь. Не верит, сказала я и посмотрела на Нинцо. Она уткнулась в корзину, перебирала листья подорожника, даже головы не подняла.

П я т н и ц а

Мы лежали на лугу за школой. Курили последнюю сигарету на двоих. Нинцо пустила большое кольцо дыма и протянула мне сигарету. Эй, Кнопка-малышка, сказала вдруг. Как ты думаешь, отец мой убит? Будет тебе, сказала я. Что с тобой? Ого, прямо рука затряслась, сказала Нинцо и сощурилась на меня. Ничего она не затряслась, сказала я. Не выдумывай, — только и сумела сказать. Бабушка Ламара вон умирает, сказала Нинцо и посмотрела на небо, — и как заведет: «Мой мальчик! Бедный мой мальчик!», и не прекращает, причитает часами. Я и подумала... Голос у Нинцы сорвался. Что ты подумала, сказала я и протянула ей сигарету. Я подумала, погода продолжала Нинцо. Вот это, как оно называется... когда перед смертью ненадолго приходят в себя. Агония, сказала я. Ну да, вот это. Уж не чувствует ли она, что с ним что-то... Ведь может же она почувствовать. Может что-то такое быть. Что ты бредишь! — сказала я. Нинцо лежала неподвижно, курила сигарету. Глянь, вон кому война до лампочки, сказала погода. Какая она счастливая, правда? Над нами в небе порхала маленькая птичка. Верно, сказала я. Счастливая! Довольно долго обе молчали. Если не моргать и долго-долго смотреть в небо, увидишь Бога. Ну и как? Видишь? Я покосилась на нее. Нет, сказала Нинцо, не глядя на меня. Я тоже не вижу, сказала я. Энки-бенки, сикли-са, энки-бенки-да... Сойка-зяблик-перепелка, дятел-жаворонок-пчелка, она говорила как-то медленно, тяжело. Баба сеяла бобы, прыг-скок, прыг-скок, и ходила по грибы... Голос у меня сорвался. Что с тобой? — сказала Нинцо. Ничего, сказала я. Почувствовала жар между ног, как будто пролилось что-то горячее. Села. Что случилось? — опять спросила Нинцо. Ничего, опять сказала я. Сейчас вернусь, только пописаю. Зашла в полуразрушенную школьную уборную. Это было оно. На трусах краснело большое пятно. Я торопливо вышла, подошла в коридоре к единственной грязной занавеске на окне, оборвала край. Назад в уборную не стала возвращаться. Сложила клок и тут же в коридоре сунула между ног. Вышла, подошла к Нинце, опять села рядом. Что случилось? Нинцо искоса взглянула на меня. Ничего, я отвернулась. Ты что плачешь, Кнопка-малышка? Сума сошла! Нинцо присела. Почему ты плачешь, сестренка? Боишься? Чего ты боишься? Ты же, как та птичка, маленькая, легкая. Ты же Кнопка-малышка. Так перепорхнешь туда и обратно, ни одна живая душа не узнает. Им ничего с тобой не сделать, ты такая легкая. Ты же птичка, вон как та, высоко-высоко! Ты в небе, Кнопушка, жаворонок в небе! Вон такая... Вон такая... Нинцо раскинула руки. А ты-то чего плачешь? — погода спросила я. Нинцо лежала на спине, закрыв лицо руками. Долго смотрела в небо, глаза заболели, сказала она, не отрывая рук от лица.

С р е д а

Пошли со мной к дедушке Алексию. К Алексию? Было видно, что Нинцо очень устала. Попросить хочет о чем-то. Ладно, сказала Нинцо. Пошли. Мне уже фиолетово, все равно ничего не делаю. Дедушка Алекси, сказала я. Я Кнопка. Вот пришла, как вы просили. Кнопка? — сказал он. Сидел у стола. Стол был усыпан мертвыми бабочками, и на стенах, и вокруг лампочки, всюду лежали

мертвые бабочки. Кнопка, дочка, заходи, маленькая, заходи. Вошла. Нинцо вошла следом. Сядь вот сюда, вот здесь. Знаешь, что я хочу, зачем тебя побеспокоил? — сказал он. Ты, кажется, не одна? Кто это с тобой? Нинцо я, бабушка, сказала Нинцо. Она разглядывала стены. Сколько же это бабочек у вас! Нинцо? Дочка Отии? Миленькая, подойди поближе, совсем я не вижу, особенно в такой тьме. Тут так темно, что даже мы ничего не видим, сказала Нинцо, вроде как утешила. Что тебе нужно, бабушка Алекси? — спросила я. На столе лежали персики. Нинцо незаметно потянулась к ним. Бери, доченька, бери, из моего сада персики. А говорит, что ничего не видит, проворчала Нинцо под нос и громко сказала: спасибо! Ты тоже возьми, Кнопка, доченька. Я не хочу, сказала я. Спасибо. Тогда можно я два возьму? Взяла второй персик, третий незаметно сунула в карман и подмигнула мне. Ну и дура! — сказала я. Нинцо показала мне средний палец. Нет, все-таки у тебя очень уж много бабочек, бабушка Алекси, сказала Нинцо. Слишком много, и принялась есть персик. По рукам потек сок. Вот за это я не люблю персики, сказала я. И много теряешь, бросила мне, облизывая пальцы. Она смотрела на бабочек. Там, Нинцо, дочка, сказал дед Алекси. Там, возле тебя, где ты стоишь, там, рядом, лежит молитвослов, книжка маленькая, дай ее, пожалуйста. Нинцо озадаченно взглянула на меня, но книжку подала. Только не говори, что попросит тебя читать вслух, не то с ума свихнусь. Тише! А вон там листок бумаги и карандаш, дочка, обратился он ко мне. Эта молитва мне нужна, вот эта. В книжке мелкими буквами, а ты перепиши крупно. Нинцо облегченно вздохнула. Ну-у, переписать куда ни шло! Тише, сказала я. Он же слепой, а не глухой. Я пнула ее ногой. Какую молитву тебе надо, бабушка Алекси? — спросила Нинцо. Отче наш, иже еси на небесех... Эту, что ли? Она скорчила рожицу и посмотрела на меня. Нарочно так сказала, чтобы меня позлить. Нет, не эту, вот эту, доченька, сказал бабушка Алекси. За упокой которая. Здесь мелко написано. Вот эта. Нинцо уткнулась в книгу. Ничего не вижу. Для Гогиты моего хочу. Хоть помолюсь за него, больше ничего не могу для него сделать. Нинцо протянула мне книжку. Только эту или другие тоже? Нет, только эту, моему Гогите за упокой. Хочешь, я перепишу, сказала Нинцо и обтерла руки об платье. Я перепишу, бабушка Алекси! У меня почерк лучше! Я протянула ей бумагу. Ладно, дочка, перепиши ты, только крупно, чтобы я разобрал. Душу раба Твоего со святыми Твоими яко щедр упокой, по складам читала Нинцо. Так, бабушка Алекси? Ну-ка посмотри, хорошо? Ага, хорошо, вижу. Пиши молча, сказала я. Или читай тише. Нинцо взглянула на меня и продолжала писать. Отчего у вас столько бабочек? — спросила я, чтобы нарушить тишину. Не знаю, всегда было много. Но с тех пор, как убили Гогиту, я их не трогаю. Не стану же бабочек убивать. Не знаю. Нинцо опять покосилась на меня, продолжая писать. А как ваш маленький Ванико? — спросил бабушка Алекси. В первый раз я обрадовалась тому, что меня спросили о маленьком братике. У мамы нету молока, сказала я. Говорят, коридор откроют, сказала Нинцо и опять взглянула на меня, продолжая писать. Откроют, конечно, а как иначе, сказал бабушка Алекси. Тут вы остались, одни детишки, поросль с мамками, да нас с полдюжины. А мир-то не соломой крыт, мир не без хозяина, чтобы человеческая жизнь ценилась дешевле грибов. Какое-то время мы молчали. Дед Алекси сидел неподвижно, смотрел на бабочек, присохших к стенам. Я тоже смотрела на бабочек, Нинцо писала, склонившись над столом. Вот, бабушка Алекси, переписала. Ну-ка, глянь еще раз, Нинцо протянула ему

листок. Душу раба Твоего со святыми упокой... яко щедр и человеколюбче, тихо, по слогам прочитал дедушка Алекси. Хорошо, вижу, спасибо, дочка, спасибо, дорогая. Возьми еще персик. Не хочу, сказала Нинцо. Спасибо, и встала. Пошли мы, дедушка Алекси, сказала я. Больше ничего не нужно? Нет, доченька, ничего, спасибо. Стойте! — вдруг спохватился он. Там, на полке, конфеты лежат, возьмите. Спасибо, дедушка Алекси, мы не хотим, сказала я. Берите, берите! Ладно, будет тебе, бери и пойдем, сказала Нинцо. Ладно, возьмем немножко, сказала я. Много возьмите, все возьмите! Больше не хотим, спасибо, сказала Нинцо. Мы вышли. Фу, сколько у него мертвых бабочек! — сказала Нинцо. Хочешь конфеты? — спросила я. Нужны мне его пронафталиненные конфеты! Ладно, если ты не хочешь, дам кому-нибудь, а ты ходи голодная, сказала я и ссыпала конфеты в карман платья.

Ч е т в е р т

Остановили машину. Один вылез и спросил: Эй, девочка, ты здесь живешь? Да, сказала я. Родителей нету, что ли? Что ты тут разгуливаешь? Молоко домой несу, от тетки. Он обернулся в сторону автомобиля. Отдай ей и поехали, сказали из автомобиля. Ты чья будешь? Бори. Гардавадзе, сказала я. Чего молоко-то прячешь? Не отниму, не бойся. Борова дочь, сказал он в сторону машины. Вот и отдай ей и поехали, сказали оттуда. Из ваших трое убиты, сказал он. Вот на них бумаги. Что это? — сказала я. Ладно, не хмурься, мы тут ни при чем. Трое ваших убитых. Тут три свидетельства. Мераба Гоцадзе знаешь? Знаю. Ему и передай. Он сделает дальше, что надо. Бери, бери! Ладно, сказала я. У него были грязные ногти. Отдашь Мерабу, повторил он. Не вздумай вскрывать. Ну что ты там? — сказали из машины. Поехали, что ли! Не смотри так, гого. Твоего отца там нету. Ты ведь Борова дочь? Да, сказала я. Его там нету. Там другие. Не вскрывай и не читай, поняла? Передашь Мерабу и все. Убитые тебя не касаются. Поняла, сказала я. Сел в машину, уехали. Пока не скрылись из глаз, я смотрела вслед. Когда засовывала пакет в карман, чуть не выронила бутылку с молоком. Решила так: я вот здесь стою, отсчитаю шаги до того дерева, если чет — вскрою, если нечет — нет. Вышло сто сорок восемь шагов. Остановилась под деревом. Потом обошла его кругом, присела спиной к стволу, вскрыла пакет, вынула листки, сложила красиво и положила на землю. Сойка-зяблик-перепелка... Получился средний лист. На него выпало. Первым его развернула. Потом еще раз отсчитала, и развернула правый лист, потом левый, еще посидела немного. Передо мной раскинулось поле, просторное поле, просторное заминированное поле. Громко трещали цикады, было жарко. Потом вспомнила маленького братишку, встала, взяла бутылку с молоком, собрала листки и, прежде чем идти к дому, пошла в противоположную сторону, к мосту. Мне встретилась Натэла, соседка Нинцы. Ты куда, гого? — окликнула меня. На мост, сказала я. Чего там не видела? — спросила. Дело есть. Какое на мосту дело? Скоро три часа, как бы бомбить не начали. Пока не начнут, сказала я. Очень ты знаешь, когда они начнут. Пошли лучше домой, матери по дому поможешь. Я помогаю, вот молоко несу, показала ей бутылку. Коровье молоко? Нет, козье. Джалагонидзе дали. У мальчишки нет аллергии на козье? Не знаю, сказала я. Попробуем. Раньше вроде была. Господи, как мне жалко эту женщину! Даже не знаю, кого жалей, кто больше страдает — дитё или мать? У мамы молоко совсем высохло, сказала я. Сказала и хотела уйти, но она подалась ко мне, понизила голос. Кнопка,

дочка, поди сюда, хочу что-то сказать. Что? — спросила я. Подвинься и скажу. Я подвинулась немного. Подружке-то своей, она еще больше понизила голос, — как яблоко, наливной, вот-вот кожа треснет, скажи, чтобы вела себя как следует, не увлекалась. Ей кажется, раз война, мы ничего не видим. А что случилось? — спросила я и стиснула бутылку с молоком. Мальчишки видели: что-то нехорошо она лазает к этим, к чужим. Узнает кто из наших, могут и прибить! Если вы подруги, запрети, скажи строго, а лучше не водись с ней. А вообще-то, если у ней порода такая, не отвадишь. Между нами, мамаша ее тоже не всегда чистую воду пила. Поняла? Скажу, тетя Натэла, я попятилась от нее. Только меня не называй, не говори, что от меня узнала, она повысила голос. Этого не скажу, сказала я, повернулась и пошла. Гого! Говорят, сегодня мост будут бомбить, крикнула вслед. Уходи поскорей, ступай домой! Я не ответила, но пошла быстрее. Вышла на мост, поставила бутылку с молоком. Облокотилась на шаткие перила. Река текла спокойная, невозмутимая. Я вынула из кармана листки, сделала из них самолетики и запустила один за другим. Они полетели. Я перебежала на другую сторону моста и теперь смотрела оттуда. Сначала их нес поток воздуха под мостом, потом подхватила река и понесла по течению. Я стояла на мосту, пока они не скрылись из глаз. Самый красивый был самолетик твоего отца, Нинцо. Он летел дольше других.

П я т н и ц а

Который час? — сказала я. Нашел время опаздывать. Да придет, куда денется, сказала Нинцо. Что ты, как на иголках. Мы вышли на главную улицу. После вчерашнего ничего не страшно, сказала я. Будет тебе, сказала Нинцо. Не думай об этом, и все. А может, он совсем не придет, сказала я. Не удержалась, чтобы не сказать. Думаешь? Нинцо глянула на меня. Придет, никуда не денется. Хоть он и дурной, но не такое же фуфло. Какой он бывает смешной, сказала я. Очень смешной. Да, мужчину из себя строит и старается чересчур, согласилась Нинцо. На сколько он нас старше? На год, верно? — спросила я. Не на год, а на два, даже на два с половиной. Помнишь, в прошлом году его выгнали из школы? Еще бы, сказала я. Мне кажется, ты ему нравишься, я посмотрела ей в глаза. Думаешь? — кокетливо переспросила Нинцо. Не знаю, я пожала плечами. Ты всем нравишься. Да-а? Нинцо посмотрела себе на грудь. Да, да, именно за это, сказала я. Дурочка, сказала она, и у тебя будет, что ты в самом деле! Зачем? — сказала я. На что мне такие грузила, хотела засмеяться, но не получилось. Ты просто завидуешь, вот и все, сказала Нинцо. Завидую? — обозлилась я. Чему завидовать-то? Тому, что все обращают на меня внимание. Внимание тоже бывает разное. Смотря на что обращают. Нинцо напряглась. Что ты хочешь этим сказать? Ничего, сказала я. Не будем об этом. Завидуешь, сказала Нинцо. Я промолчала. В ту минуту она была очень несчастная, я пожалела ее. Какое-то время мы молчали. А вообще-то не думай, что, если война, никто ничего не замечает, — все-таки не удержалась я. Она вспыхнула. Ты просто завидуешь, вот и все! Завистливая! Еще немного, и она бы расплакалась. Я знала, что она не сломается. Я слишком хорошо ее знала. И при этом пожалела, ужасно как пожалела. Обе не проронили ни слова. Сидели перед книжным магазином с выбитыми витринами. Квернадзе не появлялся. Я стала палочкой рисовать что-то на пыльной земле. Нинцо вытащила из кармана лак и принялась красить ногти. Сидела, опустив голову, молчала. Я рисовала что-то на земле, потом

стирала ногой, снова рисовала. Не пыли ради бога! — огрызнулась она. Я промолчала. Мимо пробежала орава мальчишек. Один держал в руках котенка. Котенок отчаянно пищал. Перестань мучить котенка, ублюдок! — крикнула Нинцо. Мальчишки остановились. Куда его тащишь, зачем мучаешь? Нинцо встала. Он больной, сказал один из мальчишек. Шелудивый, добавил другой. Мы его в ущелье нашли. Я тоже встала. Какой ни больной, отпусти, сказала я. Не мучай. А тебе чего? — сказал второй. Если вы в десять лет такое вытворяете, что с вами в двадцать будет! — крикнула Нинцо. Отдай котенка! Иди, гуляй! — бросил ей тот, что держал котенка. Он был неумытый, со злыми нехорошими глазами. Я сказала, отдай котенка! Мотай отсюда, гого! — сказал он. Отвяжись! Смотри-ка на него! Нинцо повысила голос. Я сказала, отдай котенка, выродок! Убери руки, гого! — крикнул тот и попытался убежать. Нинцо схватила его за шиворот, другой рукой вырвала верещащего котенка. Мальчишка замахнулся на нее ногой. Нинцо уклонилась. Ух, сосалка, крикнул тот. Ты сосалка! Нинцо сосалка! — крикнул второй и припустил со всех ног. Думаешь, я не знаю, сказал первый. Сам видел, на посту видел, что ты делала с ихним мужчиной. Нинцо вдруг выпустила его из рук и отступила. Давалка! — крикнул он. Поблядушка! — и плюнул в нее. Я взглянула на Нинцу. На ней не было лица. Что ты несешь, сопляк! — заорала я. Он попытался убежать, но я вцепилась в него. Что ты сказал?! Повтори! Прежде чем он увернулся, я ударила его коленом. Он согнулся в три погибели, потом повалился. Я еще раз изо всех сил вмазала ему. Что ты сказал?! Повтори, гаденыш! Он рухнул на землю. Я наклонилась, перевернула его. Повтори, гаденыш, щенок, мразь! — визжала я. Грязь и слезы смешались на его лице. По лбу текла кровь. Повтори! В ответ он что-то промычал и закрылся руками. Повтори! — вопила я. Повтори, гаденыш! — и изо всех сил ударила его в лицо. Из разбитого носа хлынула сукровица. Он скорчился, застонал. Кнопка! — крикнула Нинцо. Я уже не помнила о ней, забыла, что она рядом. Она подбежала сзади, схватила меня за руки. Хватит! Отпусти, слышишь! Отпусти! Так и убить можно! Убью! — кричала я. Убью! Отпусти. Все! Все! Смотри, что ты с ним сделала! Не держи меня! — голос у меня сорвался. Убью! Перестань. Он же еще ребенок. Нинцо сзади всем телом навалилась на меня. Мальчишка воспользовался этим, поднял залитую кровью голову, потом, пошатываясь, встал и побежал. Все равно убью! — просипела я сорванным голосом и бросилась за ним. Нинцо подставила мне ногу, мы обе упали. Это вам так не сойдет! — пригрозил он на бегу. Вот увидите! И, отбежав подальше, крикнул: Сучки! Поблядушки! Я еще успела увидеть его спину, почувствовала во рту вкус крови, смешанной с землей, и закрыла лицо руками.

Ч е т в е р т

Я за молоком, тетя Мелано, сказала я. Бутылка с собой? — спросила она, выглянув из калитки. С собой, сказала я и протянула бутылку. Сейчас, подожди тут. Я встала у калитки, она торопливо посеменила к дому. Оттуда доносился странный звук, то ли рев, то ли мычание, не могла понять. Подумала, что это ее муж шумит. У нее муж инвалид, безногий. На прошлой войне ногу потерял. Прошлую войну я не помню, но в первый раз увиденного безногого человека запомнила. Испугалась почему-то. Рассказала про это Нинце. Она посмеялась, но призналась, что тоже боится безногих. Тетя Мелано скоро вернулась, протянула мне бутылку с молоком. Из дома опять послышался шум. Огонь тебе

в глотку, а не водку! Подавись! Чтоб тебе нутро повыжигало! — бросила она в сторону дома. Я молча забрала бутылку. Ну как она, того? Совсем молока нету? — спросила. Нету, сказала я. Козье молоко хорошее, может, покормит как-нибудь, я на нем своих подняла. Я пожала плечами. А ведь я помню, когда тебя кормила, у нее столько было молока, что каргаретелевских близнецов прикармливала, обоих. А теперь вот война, не то что молоко, как душа в теле держится, не удивляешься? Удивляюсь, сказала я. Давай ей чаю, того, чаю побольше давай. Заваривай и пои, слышишь? Не пьет, сказала я. Выпьет полчашки и вырвет. А как вырвет, больше не пьет. Господи, сказала она, что же это всех рвет в этом городе! Ладно, тетя Мелано, спасибо, сказала я, повернулась, чтобы идти, тут слышу — ...вашу мать! — муж Мелано заорал — Ёб вашу мать! Всех! Всех! Он вылез на балкон, одной рукой опирался на перила, в другой держал автомат. Мать их ёб всех! — опять закричал. Если война — пусть будет война! И дал очередь из автомата. Помогите! — завопила Мелано как перед концом света. Люди! — легла на землю, обхватила голову руками. Ложись, Кнопущка, ложись, детка! Я не успела даже испугаться. Единственное, про что помнила, была бутылка с молоком. Вместо того, чтобы упасть на живот и закрыться руками, легла на спину и прижала бутылку к груди. Если вы не стреляете, ёб вашу мать, я буду стрелять! — и опять дал очередь в воздух. Помогите! — опять крикнула Мелано. Я увидела, как она привстала, пригнувшись, побежала к дому и, не разгибаясь, взбежала по лестнице. Вы не стреляете, я буду стрелять. Войны хотите, вот вам война! Одной рукой он опирался о перила балкона, другой размахивал автоматом и палил в воздух. Он был похож на пугало. Не заметил, как сзади подкралась Мелано, толкнула в спину. Покачнулся, перевесился через балкон, выронил автомат. Чтоб ты подох! — крикнула Мелано. Пока я встала и прикрыла за собой калитку, увидела, как Мелано помогает ему подняться, а он громко плачет, как маленький ребенок.

П я т н и ц а

У тебя губа разбита, сказала Нинцо, протянула мне смоченный платок. Приложи. Скажи, сказала я, слезы ручьем текли из глаз. Скажи, он правду сказал? Приложи, распухнет, Нинцо отвела взгляд. Скажиии! — завывала я. Скажи! Нет, сказала Нинцо. Поклянись, сказала я. Нет, говорю. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Скажи, Нинцо, скажи, причитала я. Я все равно с тобой не раздружусь, только скажи. Я же сказала — нет. Нинцо изменилась в лице. Нет, нет, нет! Она вырвала у меня из рук платок, наклонилась над лопнувшей трубой и смочила. Ладно, сказала я. Я все равно твоя подруга, Нинцо. Нинцо отвернулась. Приложи. Приложи, пока холодное. Распухнет, что матери наплетешь? Она и не заметит, сказала я. Ничего уже не замечает. Ну все, пошли. Погоди, сказала Нинцо. Смочила под струей руки и провела по моему лицу. Вывалилась, вся морда в подтеках. Еще раз набрала пригоршню и умыла меня. Я заглянула ей в глаза. Она потупилась. Нинцо! Я с трудом проглотила ком в горле. Что? — сказала она, не глядя на меня. Я никому не скажу про блокпост. Нинцо отвернулась, подошла к трубе, намочила руки и провела по волосам. А котенок? — спросила я, огляделась. Не знаю, убежал, наверное, повернулась ко мне. Когда мы упали, он убежал. Ничего, сказала я, попыталась улыбнуться. Все равно шелудивый был...

Ч е т в е р т

От мужчины пахло резко и грубо. Голодные мы, дяденька, пошли грибов набрать, сказала Нинцо. Я тебе не дяденька! Очень от него разило. Извини, дяденька, сказала Нинцо, опять случайно у нее вырвалось. Нинцо! — я ткнула ее локтем. Взглянула на меня. Глаза у нее были расширенные, наверное, у меня тоже. Я сжала ее руку и тут же: Молчать! — крикнул мужчина. Чтоб у меня ни звука! Скажи-ка, девочка, сколько тебе лет? — сказал второй. На нем была другая форма. Он открыл дверцу шкафа, спросил напарника: Хочешь? Да ну ее! Глотку дерет, сказал тот и повторил: Я спрашиваю, сколько тебе лет? Тринадцать, сказала Нинцо, еле слышно проговорила. А тебе, гого? И мне, сказала я. Мне тоже тринадцать. Да ну! — удивился. И тебе? Мы одноклассницы, сказала Нинцо. Такие большие девочки, сказал мужчина, и не знаете, где можно ходить, где нельзя. Не знаете, что тут происходит? Не знаете?! Какие, блин, грибы, что за грибы, так вашу мать! — закричал он. Уймись, псих, побереги нервы, сказал второй, в форме. Нет, ты мне скажи, какие нах грибы? Про какие грибы она говорит? Что за грибы, мать их так! Когда нас тут перебьют, не знаем, сидим, ждем, а они по грибы ходят. Он встал. Налей свою дрянь, мать ее! Грибы! Что за грибы? Возле стояла наша корзина, случайно задел ее ногой. Нинцо сильней сжала мою руку. Мы не знали, дяденька, сказала я. В доме ничего нет, а кушать хочется. Братишка маленький плачет все время. А у нее бабушка, больная, тоже кормить надо, вот и решили грибов набрать. На нашей стороне не нашли ничего, все выбрано, не заметили, как с дороги сбились, заблудились, а по эту сторону места незнакомые. Ну, хорошо, хорошо, тебе, может, и поверю, сказал второй мужчина и посмотрел на грудь Нинцы. Но про нее не скажешь, что она голодает. Нинцо ссутулилась, как могла, ужалась. Вообще-то, первый мужчина еще раз пнул ногой корзину и поднес стакан ко рту — эти грибочки не похожи на свежесобранные. Нинцо стиснула мне руку, я ногтями впилась в ее ладонь. Их обыскали? — спросил второй. Да, сказал первый. Ничего не нашли. Да и что может быть у деревенских мокрошелоков? Грибы, первый наконец влил в себя стакан, грибы, вашу мать! Вам тут что, школа? Детский сад? Грибы. А про войну забыли? Нет, мы не забыли, сказала я. Мой отец воюет. И ее тоже. Твой отец? Как твоя фамилия? Кто вы вообще такие? Как звать? — сказал второй. Я Кетевана Гардавадзе, дочка Бори Гардавадзе. А я Нино Рогава, сказала Нинцо и слегка отпустила мою руку. Рогава? — переспросил тот, что в форме, и взглянул на напарника. Да, сказала Нинцо. Имена у вас, я вам скажу, сказал второй, и закатил глаза, прямо святые¹! Кем ты доводишься Отии Рогаве? Тот, что в форме, еще раз посмотрел на Нинцу, потом на напарника. Я его дочка, сказала Нинцо и почти отпустила мою руку. Дочка?! Они одновременно переглянулись. Теперь я сжала руку Нинцы. Ладонь у нее была мокрая. А они перевели взгляд на меня и снова на Нинцу. Дочка? — повторил тот, что в форме. Нинцо глянула на меня. Нинцо, прошептала я чуть слышно. Нинцо опять взглянула на меня, потом на них, слабо оттолкнула меня. Что? Что? Что происходит? — сказала она. Почему так на меня смотришь, дяденька? Как? — спросил тот, что в форме. Он растерялся. Непонятно смотришь. Голос Нинцы упал до шепота. Почему у тебя

¹ Св. Равноапостольная Нина Каппадокийская (в грузинской транскрипции Нино) и Св. Великомученица Кетевана, царица кахетинская, относятся к наиболее почитаемым святым грузинской церкви.

такое лицо? Что? С моим отцом что-то случилось? А? С ним что-то случилось? Они опять переглянулись, а Нинцо вдруг аааааааааааааааа, завопила, аааааааа, и со стула на пол. Ну, блин, дела, сказал тот, что в форме. Кажись, звиздец. Раскрой ей рот. Помоги! — сказал второй. Помоги, живее! Раскрой ей рот, рот раскрой и ноги останови как-нибудь. Держи за ноги. Воды! Один сел Нинце на ноги, другой, который в форме, раздвинул ей челюсти. Воды! Воды, крикнул он мне. Быстрее, воды, твою мать! Вода за дверью. За дверью, я сказал! За дверью стояло мятое ведро. Я взяла его. Лей, чего уставилась! — крикнул тот, что в форме. Лей живее! Я налила и — ааахх! — сказала Нинцо, выдохнула. Мать твою! — сказал второй. Отошел от Нинцы и сел на пол. Ааахх! — еще раз сказала Нинцо и сплюнула. Эпилепсия у нее, сказала я. Сказала тихо, как бы себе под нос. Пустое ведро поставила на пол. Так с ней бывает... Сука буду, сказал тот, что в форме, только ее смерти мне не хватало! Нинцо приподнялась, встала на коленки. Она вся была мокрая. И волосы были мокрые. Уходите, сказал тот, что в форме. Убирайтесь, вашу мать! Живо! Вставай! Он толкнул Нинцу. Нинцо привстала. Вставай и убирайся! И чтоб ни одну из вас больше здесь не видел! Нинцо глазами показала мне на корзину, открыла дверь. Я взяла корзину. Она обернулась, хотела что-то сказать. Уходите! — крикнул тот, что в форме. Убирайтесь! Другой пил прямо из горла. Спасибо, сказала я. До свиданья, и прикрыла за собой дверь. Мы пошли быстрым шагом. Кажется, пронесло, сказала Нинцо. Я вся мокрая. Я ничего не ответила. Мы шли очень быстро. Я не чувала ног. По дороге никого не встретили. Шли лесными тропами. Когда оказались на опушке, Нинцо сказала: Погоди, Кноп. Стой! Я остановилась, поставила корзину на землю. Нинцо перевернула корзину, отодрала дно, вытащила все из-под него и сунула себе под лифчик. Грибы раскидала ногой. Это свиньи сожрут, пустую корзину забросила подальше. А это не знаю, кто слопает, сказала. Если бы ты носила лифчик, тебе тоже досталась бы такая честь, хихикнула. Ну тебя! — сказала я и села на землю. Устала, сказала я. Посидим немного. Посидим, сказала Нинцо. Пощупала свой лифчик, потом легла на землю, раздвинула ноги, я сидела рядом. Что скажешь, Кнопушка? А? Как у меня получилось? Здорово, верно? Бедовая я девчонка? А, Кнопка? Сильна? Ты скажи, сильна? Сильна, сильна, сказала я. Признаёшь? — сказала Нинцо, лицо у нее было довольное. Признаю, сказала я. Помолчали. Эй, Кнопа, сказала Нинцо погода. А что такое эпилепсия? Ничего, сказала я. Плюнь и забудь. Опять помолчали. Такое им устроила, прямо охуели, бедняги, сказала Нинцо. Поверили. Я промолчала. А отец мой бог. Моего отца *им* не убить, сказала она, погода. Нам бы сигаретку, сказала я. Я тоже легла на землю и закрыла глаза.

Пятница

У него аллергия, сказала мама, посмотри. Ночью чуть не задохнулся. Посмотри, на что он похож, Кнопую. У меня на руках задышался, умирал совсем, посмотри, доченька, ты только глянь! Не плачь, ма, сказала я. Ты же видишь, что он живой, дышит. Не плачь, разбудишь, проснется и опять захнычет, и тогда лучше убей меня, мамочка, убей чем-нибудь, и меня, и его. Тише, ма, сказала я. Тише, не плачь, не разбуди. Что с тобой? Почему ты вся так съежилась? Больно. да? Да, сказала она. Так и висят гири все время. Посмотри, на что я похожа. Соски у нее еще больше распухли. Затвердели, сказала я, дай смажу. Она не сопротивлялась. Я стянула с нее платье до пояса, стала смазывать соски целебной

мазью. Жжет? — спросила. Она покачала головой, слезы из ее глаз текли беспрерывно. Тише, ма, видишь, я смазываю, смажу, и полегчает, вот увидишь, как тебе станет хорошо. Увидишь, как все будет хорошо. Я застегнула на ней платье. А теперь поспи, теперь давай и ты поспи, хоть немножко. Не противилась, легла рядом с младенцем. Если он умрет пока я сплю, сказала погодя, спокойно сказала, если умрет, не отбирай, оставь у меня на руках, поняла? Пусть со мной умрет. Чай готов, сказала я. Сейчас принесу. Убери! — она повысила голос. Не хочу. Попей чайку, мамочка, тебе полезно, хоть чуть-чуть выпей. Убери стакан! — сказала она. Хорошо, сказала я. Поставлю на стол, когда захочешь, попьешь. Я встала. Куда среди ночи? Скоро вернусь. Где ты ходишь? Хоть бы знать, где тебя носит целыми днями! Небось, с этой девчонкой, без матери выросшей. Хочешь показать всем, что и ты бездомная? Бездомная. Попей чаю, мам, сказала я. Бездомная, повторила она. Да и кто у тебя есть? Ни матери, ни отца. Где они? Кто у тебя есть? Братишка, младенец месячный, и тот умирает. Хоть бы уж умер, хоть бы мы все поумирали. Закрывать бы глаза и не открывать. Господи, сделай так, чтобы всех нас не стало... А они все летают, летают. Уж сбросили бы, сбросили бы свое и уничтожили бы всех, разом. Мама! — сказала я. Мама, разбудишь! Уничтожили бы всех, повторила она и уткнулась головой в руки. Я присела рядом на кровати. Отца твоего хочу в гробу увидеть, сказала мама. За то, что бросил нас здесь одних! Я промолчала, перебралась к ней за спину, обняла обеими руками и прижалась. Хотя бы знать, жив он, мертв, где, когда придет. Жив, ма, сказала я и сильнее прижалась к ней. Список погибших приносили, его там нет. На что мне его жизнь, тихо сказала она, если этот умрет. Не умрет, ма, вот увидишь. Скоро все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Я уткнулась носом в ее волосы, они пахли как-то странно, необычно. Так мы лежали, пока она не заснула. Братишка тоже спал. Он был похож на помятую тряпичную куклу. Я осторожно встала, нашла фонарь, отпила остывшего чая и закрыла за собой дверь.

Какой длинный был день.

Ч е т в е р г

Что с тобой, гого? — сказала Хатуна, едва взглянула на меня, чиркнула спичкой. А что? — спросила я. Бледная очень. Как побитая. Не знаю, сказала я. Устала. Без керосина не загорится. Чтоб им гореть на том керосине! — сказала Хатуна. Тем, кто войну эту начал. Откуда у меня керосин? Сначала бумагу запалю, тетрадки-альбомы, сверху тряпье накидаю. Что за тетрадки, спросила я, нечаянно наступила на сваленные кучей вещи. Старые тетрадки, мои и брата. Есть и с рисунками. Жги и это, Хатуна! Из дома вышла ее мать, бросила на землю ворох одежды. Здравствуйте, тетя Мерико, сказала я. Дай бог тебе здоровья, дочка, отозвалась она. Ну вот, загорелось, сказала Хатуна, глаза ее необычно заблестели. Я тоже присела на корточки, перебрала тетрадки. Там были рисунки Хатуны и школьные тетради, ее и ее брата. Взяла одну из тетрадок с рисунками. А эту почему сжигаешь? — спросила. А на что мне они? Глаза у нее блестели, ответ огня играл на лице. Не знаю, сказала я. Она взяла несколько тетрадок, бросила в огонь. Потом набросала сверху одежду. Можно, я эту возьму? — спросила я. В розовом альбоме для рисования акварелью были нарисованы красивые цветы. На что тебе? Хатуна даже не взглянула. Не знаю, нравится, сказала я. Забирай. Спасибо, сказала я. Ты давай подбрасывай бумагу,

поддержи огонь, чтобы разгорелся, а я сейчас вернусь. Хорошо, кивнула я. Смотри, чтобы не погас! Она ушла в дом. Я вырывала из тетради листы и бросала в огонь. Одни листы были чистые, другие исписанные и разрисованные. Огонь занялся, разгорелся. Что у вас за дела, гого? Что тут за костер развели? Нечистого отпугиваете? Это была Лия, соседка Хатуны. Не знаю, сказала я. Хатуна с матерью вещи жгут. Какие еще вещи, гого? Лия наклонилась, подобрала брошенное на землю. Одежду отца, что ли? Не знаю, сказала я. И тетрадки тоже. Совсем свихнулись! — сказала Лия. Ты чего палишь, соседка? Что видишь, Хатуна вышла из дома, бросила на землю еще один ворох тряпья. С ума, что ли, посходили? Тебе-то что, тетя Лия? — сказала Хатуна. Мои вещи, хочу — сожгу, хочу — искромсаю. Как это — твои вещи! Это отца твоего вещи. А это вот — твоего брата. Отца моего убили, и брата убили. Бедняжка, сказала Лия. Но неужели посередь войны другого дела не нашла? На этот раз Хатуна не ответила, уставилась на огонь. У нее были огромные горящие черные глаза. Мать где? — спросила Лия. Здесь я, откликнулась тетя Мерико и тенью приблизилась к костру. Ты-то с чего свихнулась, соседка? Жгу одежду моего мужа и моего сына. Не чужие же вещи жгу. Имею право? Зачем их жечь, гого? Отдай какой-нибудь вдове или сироте, я в церковь бы отнесла. А мы и есть вдова с сиротой, Хатуна сверкнула на нее глазами. Не смогу я одежду сына на ком-то увидеть, сказала Мерико. Не смогу, хоть убей. Ладно, душа моя, ладно, горемычная, делайте как знаете, сказала Лия. Жгите себе и любуйтесь. Мне больше других надо, что ли, что встала у вас над головой. Тут еще вещи свекра со свекровью, словно оправдываясь, сказала Мерико. Четыре покойника в одном доме, люди добрые! Не могу больше! Всюду на ихние вещи натыкаюсь, в глаза лезут. Вот и жгу. Как хочешь, Мерико, генацвале, сказала напоследок Лия. Как бы Мераб за этим делом не застал, не поздоровится. Не успела она скрыться из вида, как у ворот остановилась машина, из окна высунулся мужчина. Что это еще за костер-купалец? — это был Гоцадзе. Одежду сжигаю, сказала Мерико. Хатуна даже не взглянула в его сторону, рвала тетрадки и бросала в огонь. Одежду жгешь, а знаешь, как далеко твой костер видно? Соображаешь? Имеешь ты на это право? Перед своим домом жгу, не перед чужим, сказала Мерико, сквозь зубы процедила. Дорогуша, у нас война, а не игрища. Они ж тут, рядом, под носом, соображаешь? Или тебе делать больше нечего? А ты научи, что делать? Сложить руки и ждать, пока убьют? Вот оштрафую тебя, тогда узнаешь! Он был в бешенстве, даже губы посинели. Штрафуй, сказала Мерико. Так я и заплатила твой штраф! Тьфу, вашу... плюнул в сердцах Гоцадзе. Разве вы люди! — и тронул машину с места. Господи, почему на таких не упадет то, что на моего мужа и сына упало, сказала Мерико. Она выбрала из вороха одежды старое пальто, бросила в огонь. Темнеет, сказала Хатуна. Надо кончать поскорее. Давай, Кнопка, помогай. А как будешь гасить такой? — сказала я. Погашу как-нибудь, давай подбрасывай. Чего надо было этому крестину? — спросила Тебро, она появилась так неожиданно, что мы даже не заметили. Кому? Гоцадзе? Хатуна подняла на нее взгляд. Ничего. Почему, говорит, костер развели, сказала Мерико. Что жжете? — спросила Тебро. Одежду, сказала я, и тетрадки. Что толку сжигать вещи, сказала Тебро, присела рядом на корточки. Того гляди, нас всех тут спалят. Вот я и жгу, пока нас не спалили, сказала Хатуна и пошла в дом. Дай-ка глянуть, сказала Тебро и вырвала майку из моих рук. Ты видишь, что они жгут? Голос у нее дрогнул. Что? — спросила я. Это же майка Мишико, голос у нее совсем

осекся. Дай сюда, пока их нету. Взяла майку, накрыла ею свою корзину. Я взглянула на нее. В глазах у нее стояли слезы. Заметила мой взгляд, сказала: У меня в корзине чернослив, из нашего сада, хочешь? Нет, сказала я, не хочу. Ну, тогда я пошла, она встала. Пока! Уже уходишь? — сказала Хатуна, она вышла со двора с кумганом воды в руке. Еще немного и залью... Ухожу, сказала Тебро. Дай вам Бог! — и ушла поспешно. Тетрадки сожгла? Да, сказала я, все сожгла. Молодец, сказала она, хорошая девочка. Присела рядом. Хатуна, сказала я. Ну? Взгляд ее застыл на костре. Завернутая в черное, с ввалившимися глазами и заострившимся от худобы лицом, она напоминала какую-то птицу. Тебро любила твоего брата? Откуда ты знаешь? — скосила на меня глаза. Не знаю, сказала я. Взрослые девочки сплетничали раньше, а я слышала. С тех пор запомнилось. Взрослые девочки! Хатуна засмеялась. Господи, сказала она. Когда все это кончится! Помолчали, глядя на огонь. Быстро смеркалось. Соседке привет! — гаркнул кто-то над ухом. Ну, зараза! — сказала Хатуна. Ничего не сделаешь так, чтобы полгорода не сбежалось. После ее слов мы разглядели пришедшего. Это был Чекушка-пьяница. Костер-купалец! — вопил он в восторге. Гори-гори ясно!.. Он едва стоял на ногах. Фу, отойди, сказала Хатуна. Водкой разишь, отойди! Только за любовь и согласие, Хатуна, дорогуша. Только за любовь! Отодвинься, я сказала! — оскалилась Хатуна. А это кто тут така маненька? — заметил меня. Кнопка, сказала я. Кнопка, повторил он и уставился на меня бессмысленными глазами. Кнопка, дочка Бори Гардавадзе, сказала я и подвинулась на корточках. От него разило водкой и табачищем. Еще вот это, и все, Мериго вышла из дома, бросила на землю горсть тряпья. Чекушка, это ты, бедолага? — сказала, не глядя в его сторону, и пошла назад. Я, Мериго, я, моя радость, он громко икнул. Отодвинься, сказала Хатуна, на что ты похож, чтоб тебе пусто было! Осторожнее, в костер не упади. Не ругай меня, Хатуна, сказал он. И где только находишь эту водку, кто тебя поит, да и что за охота пить посреди войны, дубина. Только за любовь и согласие, сказал он. Вырвал у Хатуны ворох одежды и бросил в костер. Гори-гори ясно! — заорал, на губах в уголках рта выступила пена. Не вопи, дурень, сказала Хатуна. Не до тебя. На вот, брось это в огонь и кончим на этом, сунула ему последние вещи и отряхнула руки. Какое-то время Чекушка стоял, пошатываясь, разглядывал одежду в своих руках, смотрел, смотрел и вдруг сказал: Чтоб я сдох, сестричка, почему ты это сжигаешь? Чтоб я сдох! — как-то жалобно сказал, плаксиво. Ни к чему мне, потому и сжигаю, сказала Хатуна. Только тебя мне не хватало, вырвала тряпье из его рук и бросила в огонь. Это Мишико моего одежка, почему ты ее сжигаешь? Ну почему? — повторил он, чуть не плача. Умер Мишико, сказала Хатуна. Убили. Умер, потому и сжигаю. Иии... мой Мишико умер, заскулил Чекушка, упал на колени, обхватил голову руками и заплакал, как ребенок. Господи! — сказала Хатуна, только этого мне не хватало! На вот тебе, наклони-лась, сгребла уцелевшее от огня, бросила ему. На! Это все твоего Мишико, забирай. Моего Мишико? — спросил Чекушка. Вещи Мишико? — он поднял голову и, стоя на коленях, смотрел на Хатуну, как маленький мальчик. Да, это все его, забирай и уходи, сказала Хатуна. Уходи! Убирайся отсюда! Мишико? — опять повторил Чекушка, встал нетвердо, утер рукавом нос. Вот, повернулся он ко мне, держа в руках какие-то штаны. Вот, сказал он. Это Мишины... моего Мишико, мне Хатуна подарила. Да-да, подарила! — сказала Хатуна. Только уходи, уйди уже. Штаны моего Мишико, сказал Чекушка. Моего Мишико, он

повернулся и побрел, не оглядываясь. Только его соплей и слез мне не хватало, пьянь беспробудная! — сказала Хатуна. Взяла кумган с водой и залила костер. Пора гасить, теперь уже опасно, темнеет. Кнопка-малышка, попросила, принеси, пожалуйста, воды, будь добра. Я взяла кумган, пошла за водой. Прежде чем войти во двор, оглянулась. Издали она еще больше походила на какую-то нахохленную черную птицу.

П я т н и ц а

Извини, я не смогу пойти с тобой, глаза у Нинцы были больше обычного. Она умирает. Совсем умирает. А где дед Заур? — спросила я. В погребке, скребет бочку. В дом, наверх, не вылезит. И что будешь делать одна? Глаза у Нинцы были противоестественно большие. Что ты можешь сделать? Не знаю. Подвяжу ей челюсть. Слышала бы, как она дышит... Прямо душу выдыхает. Страшно? Нет, не страшно. Ладно, я пошла, сказала я. Я ничего не могу сделать, Кнопка. Правда! Она чуть не плакала. Ладно. Ничего. Одна пойду. Ком сдавил мне горло. Я отвернулась. Нам нельзя было плакать. Нельзя было плакать. Сейчас нельзя было заплакать — ни ей, ни мне. Это... сказала я и улыбнулась через силу. Знаешь, что случилось? Что? — сказала Нинцо, и взглянула так, словно я спасла ее в последнее мгновение. Не поверишь. Да ну тебя, Нинцо глянула недоверчиво, хмуро. Прикрой-ка дверь. Можешь наполовину, вот так, сказала я. Нинцо прикрыла дверь. Я укрылась за ней. Она не понимала, что я такое делаю, и просто следила за мной взглядом. Я быстро расстегнула штаны, сунула левую руку в трусы и поднесла к ее лицу окровавленные пальцы. Вот! Ух ты! Нинцо хотела улыбнуться, но не получилось. С ума сойти! Ты теперь настоящая женщина. Да, сказала я, обтерла пальцы об штаны. Ух ты, повторила Нинцо. Сильно! Теперь вместе пойдем по мужикам, ей опять не удалось улыбнуться. И много? — спросила она. Да, сказала я. Здесь больно? — положила руку себе на живот. Нет, сказала я. А здесь? Тоже не больно. И что это все в один день сошлось! — сказала она, сказала так, словно душу выдохнула. Ну, я пошла, сказала я, сказала так, словно тоже душу выдохнула. Не прошла и трех шагов, как она окликнула: Эй, Кнопка! Что? — отозвалась я, не оглядываясь. Ты знаешь, как подвязать челюсть? Нет, сказала я, сказала, не оглянувшись, и пошла дальше. Издали увидела на главной улице мальчишек, не стала туда выходить, решила обойти. От дома Датуны, через пролом пошла напрямик, дворами. Осторожно открыла дверь. Мама сидела на кровати, прислонясь к стене.

С ч и т а л к а

Они выстрелят, Нинцо. Размозжат мне голову, и мозги вытекут, как у того, в ущелье. Помнишь, Нинцо, что было у него с мозгами? Выстрелят. Как бы я ни закричала, все равно выстрелят, не докричусь. У меня же с собой целая коробка, поштучно, по баночке бросала через оконце уборной. На баночках толстощекий малыш. Сейчас сложу в коробку и, прежде чем подойдут, побегу. Выстрелят. Эти выстрелят. Вот, идут сюда и выстрелят. Почему ты не сказала, что у них собака? Почему ты не знала этого? Примут меня за кого-то и выстрелят. Эта собака так лает, что обязательно выстрелят. Лучше побегу через поле. Ничего со мной не случится. Поле быстрее и короче. Побегу через поле.

Я ведь как птичка, я ведь маленькая, я птичка в небе, жаворонок или как ты сказала? Как ты сказала в тот день? Вот тут пролезу и побегу со всех ног. Раз — и там... Эти и не хватятся. Как припущу! Ты меня знаешь! А завтра расскажу тебе, Нинцо. Погоди, кажется, сюда. Точно, сюда! Выстрелят. Но я же птичка. Сойка-зяблик-пере-пелка, дятел-жаворонок-пчелка... Энки-бенки-сикли-са, энки-бенки-да, кто замешкался, ушел на-всег-да... Абра-кадабра — беги! Беги, перепутаница! Вышел месяц из тумана, вынул ножик... Энки-бенки-сикли-са... Перепутаница, беги! Вышел месяц из тумана, вынул птичку... Беги же! Бе-ги-ии!

Скок.

Поскок.

С у б б о т а

Мама сказала: Помогите. Хотя этому не дайте погибнуть. Люди...

П о г р а н и ч н а я з о н а

11 часов 25 мин

Квернадзе ей: если хочешь, покажу тебе Ваню Гардавадзе. Какого Ваню? Да Гардавадзе, я сказал, того, что не просыхает сутками. И матушку его, говорит, покажу. Погоди, которая его мать? Знаешь ты. Клюка старая, согнутая, зимой и летом шерстяные носки продает. Ну, знаю, знаю. Точно, клюка, ведьма в натуре! А этот Ваню тоже! Посмотришь, вроде двадцать лет малому, а присмотришься — что-то не так, блин, не того. Вроде, ушибленный или недокормленный. А я о чем! Он ей — покажу, если хочешь, они живут там же, на прежнем месте, а она отказалась — не хочу. Понятно, на кой ей Ваню-малахольный. Тебе понятно, а я все думаю: если она не к Ваню, чего там стоит? Значит это она и есть?! Ну, ты даешь! А о ком я столько базлаю, козел! Это которая с иностранными номерами? Дай-ка глянуть! Ну да, она. А Квернадзе знает? А то! Он и разрешил. Не я же ее там поставил, дебил! И давно она там стоит? Да уж час почти, не меньше. Час это непорядок, с заграничными номерами, да на этом месте. Я-то при чем, братан? Квернадзе разрешил ей там встать, стоит и мать ее ёб. Но целый час! А мне-то что? Хочет час, хочет весь день, мне по барабану. Из тачки не вылезит, говоришь? Надо же! Кто такая, вообще? Откуда прикатила, куда едет? Не знаю ничего. Но женщина, я тебе скажу! Женщина — дама. Голенастая, грудастая! Нашему Квернадзе то ли знакомая, то ли родственница. Как уехала, говорит, с тех пор двадцать лет не видел, с детства, считай. Тогда, говорит, во время войны, помог ей выбраться отсюда. Так он сказал, понимай как знаешь. Двадцать лет не видел и пустил в погранзону? Подруга детства, говорит, как вошла, сразу узнал, хоть и двадцать лет прошло. Все-таки не пойму, стоит, ничего не делает, и уезжать не собирается. Чего ей там надо, кто такая? Я тебе толкую, кретин, не больше твоего знаю, кто да что. Подъехала, спросила Квернадзе. Назвалась то ли Нино, то ли Нана, фамилию не запомнил, кажется, Рогава. Квернадзе был здесь, вышел, обнял ее и, блядь буду, полчаса простояли, обнявшись. Думал, вот сейчас заплачет, вот сейчас! Кто? Квернадзе? Ты чего, совсем? Какой, нах, Квернадзе? Та женщина. Ну и что? Заплакала? Хрена! Нет, так все-таки не пойдет. А если начальство заглянет на пост, вытащит ее из тачки, кто будет отвечать? Куда этот пидор подевался? Который? Ковзиридзе? Ну да. Не знаю, только что здесь был. Дай еще гляну. Ну-у, стоит, блин, и стоит. А

потом что было? Ничего. Наш завел ее к себе. Долго разговаривали, полчаса, не меньше. Вышли и, когда выходили, он ей про Вану — могу, говорит, показать, а она отказалась: нет, говорит, не хочу. А сам-то где? Квернадзе? Вроде, на блокпост пошел. Да вон, возвращается. Подтянись, мудака, допрыгаешься. Пьяный? Отсюда не поймешь. Вроде, тепленький. Копалиани, Кереселидзе, что у вас тут за возня? Толкается, как бычки в загоне! Господин лейтенант, в пограничной зоне замечена неизвестная машина. Что? Что такое?! Я сказал, что в пограничной зоне замечена иномарка с заграничными номерами. Мать ее так, она еще там? Да, товарищ лейтенант, стоит. Я же ей сказал: через десять минут, даже не через десять, через восемь быть здесь как штык. Я ее маму-путанку ебал! Из-за ее закидонов сюда таскаться, нагоняй получать! Ну-ка живо! Где этот ваш задроченный Ковзиридзе? Ковзиридзе, твою мать!.. Он на той стороне, господин лейтенант, там не слышно. Где он, чтоб его... Машина в запретной зоне, а вы торчите тут, два оболдуя! Ковзиридзе! Ковзиридзе, сирота долбаный!.. Что я тебе говорил? Видишь, как взбесился! Взбесился, а я при чем? Что я мог сделать? Что, что... Битый час твержу, спустимся, уведем ее оттуда, спустимся, отгоним, а ты байки про какую-то бабу травишь. Почему — байки? Рассказал, что было. Бедняга Ковзиридзе, теперь он его с потрохами сожрет. И поделом пидору задроченному. Почему? Что он тебе сделал? Мне-то ничего. Он сам по себе, и вредит себе сам, а мне до лампочки. Вот увидишь, устроит ему Квернадзе сладкую жизнь... Ух, ну и жарыща! Блядь буду, такой за все лето не было. Тут, вроде, попрохладней, заваливайся, дружбан, видно, забыл лейтенант кондиционер выключить. Смотри, сколько накурили. А запах какой, чуешь? Женский. Духами пахнет, от той женщины. Хо-хо, вот у твоего Ковзиридзе встанет на нее колом — атас! Что ты сказал, какая она?

11 часов 55 минут

Сударыня, в окошко постучали. Сударыня. И чего не отвяжутся, подумала я и сказала: да. Да, сказала и приспустила оконце. Парень был молодой, худенький, с детским лицом. Сержант Ковзиридзе, представился. Красивая была женщина, с широко открытыми сухими глазами. Сидела какая-то расслабленная, обмякшая. Не плакала, подумал я. Вы почти час здесь стоите, сударыня. Это не позволено. Нельзя. Пограничная зона. Пограничная зона, машинально повторила я. Пожалуйста, отъезжайте. Очистьте пограничную зону, сказал я и отвел взгляд. Разумеется, сейчас очищу, сказала я и отвела взгляд. Пока машина завелась, я сказала: Садитесь, отъедем вместе, я вас подвезу. К сожалению, не могу, сказал я. Это запрещено. Руки у нее дрожали. Извините, сказала я, руки у меня дрожали. Ничего, сказал я. Не волнуйтесь. Вы правы, ничего, это пройдет. Простите... Когда-то здесь, на этом поле... сказала она, и глаза у нее еще больше расширились. Раньше, во время войны, это поле было заминировано, сказала я и опять отвела взгляд. И на этом поле... голос у нее сорвался. Она не сразу нашла платок, и — Господи! — воскликнула, и еще раз, Господи! — и заплакала.

Олег Хлебников

Заминка

* * *

От бытия к отбытию готов.
Все книжки собраны. Пуста фавела.
И — не отдать долгов...
Иль всё же для родимого предела
порадеть ещё посредством слов?
Непередаваемое дело!

* * *

Самец уже никакой.	И окна чужих квартир
Отец условный уже.	в окошко моей чужой
Подлец для той дорогой	так смотрят, как будто мир
занозы в нищей душе.	не чудный, а лишь чудной.

* * *

Люди — это те, кого не трогать лучше,
чтобы не было потом больно, —
как толпу юнцов на всякий случай
обойти, ускорив шаг невольно.
Не привязываться к тем, кто старше, —
заповедь не только для подростков.
К женщинам и приближаться страшно
с верною любовью. Это роскошь,
как сказал Экзюпери, общенья —
слишком дорого платить придётся.
...Я у всех у вас прошу прощенья,
с кем от близости не уберётся.

* * *

И не предупредили, что уйдут,
мои Денис, Валерка, Юрка, Толька,
не завершили добровольный труд:
спасать меня, чтоб жил ещё полстолько.

А ты ушла, об этом сообщив,
когда уже была недостижима,
невозвратима...

Я теперь ни жив
ни мёртв. Хотя вот это поправимо.

Хлебников Олег Никитич — поэт, переводчик, эссеист, кандидат физико-математических наук. Родился в г. Ижевске в 1956 г. Окончил Ижевский механический институт (1978) и Высшие литературные курсы (1985). Печатается как поэт с 1973 г. Автор 11 книг стихов. Работает заместителем главного редактора «Новой газеты». Лауреат Новой Пушкинской премии (2013). Живет в Перedelкине.

* * *

Нам ни к чему не дают привыкнуть —
даже к Windows 7,
просят привычки в контейнер выкинуть —
мол, ни к чему вам совсем...

Только успеешь привыкнуть к дому,
вроде — вот дом родной,
просят спасибо сказать и к другому
двигать с набитой сумой.

Чтобы расстаться без укоризны
с каждой вещицей в срок...
Только успел привязаться к жизни —
развязывай узелок.

* * *

То ли ветер, то ли дождь...
Ты, конечно, не придёшь
в жизни никогда.
Этот за окном галдёж —
просто суета.

В нём почти не слышно слов.
Грузный небосвод суров.
Сумеречен свет.

Тленом тянет из углов,
хоть углов там нет.

Но волнуются всерьёз
ветки клёнов и берёз,
словно ты вот-вот
явишься с охапкой грёз...
Или — дождь пойдёт.

* * *

Я забыл ненужное «я»...

О. Мандельштам

Не пишется больше о красоте природы,
хотя, как и прежде, прекрасна она местами.
Наверно, такие настали счастливые годы,
когда мы с природой обязаны слиться сами.

И если субъект едва отличим от объекта,
попробуй его опиши да ещё — с восторгом.
Ненужное «я» всё сильнее похоже на «некто»
и кто этот некто, нет времени выяснить толком.

Слиянье с природой надёжней любого другого —
уж тут каждой косточкой, клеточкой, каждой кровинкой.
И нет на земле ничего тебе не дорогого —
любуйся любой изменяющейся картинкой:
вот ветер подул, вот и солнце является снова...
И кажется жизнь перед чем-то чудесным заминкой.

Роман Сенчин

Перед судами

Из книги «Зона затопления»

Разводы давно стали в Большакове делом обычным. У молодых так чуть ли не через раз — сначала шумная, развеселая свадьба, длиннющие столы на берегу летом или в клубе зимой, а через год-два-три скандалы, скандалы и — развод.

Когда-то и сами разводящиеся и их родня страдали, стыдились этого, а потом узнали, что не так уж страшно пожениться, а потом развестись. Даже полезно, как опыт для будущей жизни. У психологов, оказалось, и термин есть специальный: пробный брак.

Но распадалась не только молодые семьи, а и взрослых, пожилых уже людей. Причем мужчины и женщины не просто разбегались в разные стороны, а ехали в район, подавали заявление, платили пошлину, ждали месяц, снова ехали в суд. В основном разводились без скандалов — наскандаливались за минувшие годы, — но, случалось, делили совместно нажитое бурно, до половика, до ведра поганого... Тут уже не жадность руководила, а ненависть друг к другу, желание помучить свою отвалившуюся половину, как следует отомстить за всё, за всё...

Масляковы до такого не дошли. Развелись спокойно... Ну, не спокойно, конечно, но без пыли до потолка, без позора.

А из-за чего развелись?

Наверно, начини их расспрашивать, и не ответили бы. Не знали сами. И в заявлении написали что-то дежурное, пустое, что было висящем на стене в суде образце.

Стали друг другу чужими после сорока, вот и все. Раздражало, как ест муж или жена, как говорит, как ходит. Казалось, не так все делает, неправильно, некрасиво.

И отчуждение это, что удивительно, произошло после настоящего объединения, когда друг другу стали необходимы, два года жили одним, переживали одно... Это когда сын, единственный их ребенок, служил в армии. И не просто в армии, а почти полгода — в Чечне.

Роман Сенчин — родился в 1971 г. в городе Кызыле. Проза публиковалась в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Континент» и других изданиях. Автор книг «Афинские ночи», «Минус», «Ничего страшного», «Иджим», «Елтышевы», «Информация». Лауреат Премии правительства РФ. Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — рассказ «В чужую землю», № 12, 2013.

Но вернулся целым, крепким, повзрослевшим; пожил дома несколько месяцев и уехал в город работать. И у родителей словно разорвалось то, что их связывало, заставляло быть одним целым.

Жена, Татьяна, пропадала в магазине, который открыла со своей подругой как раз в то время, когда сын пошел в армию и потребовалось больше денег. Магазин был не в селе, а рядом с колонией-поселением, километрах в десяти отсюда. И это злило мужа, Юрия, — колонию местные сторонились, эти полусвободные зэки много доставляли им неприятностей, держали в напряжении; на них грешили, когда случалось воровство, бывали и драки. И тут жена, получается, жизнь им разнообразит — сигаретки по дешевым ценам, конфеты, чаёк... Юрий же все больше задерживался на своей работе, на пилораме, которой владел его сродный брат. Домой не торопился.

В выходные по целым дням могли не разговаривать, спать стали в разных комнатах, и в конце концов Юрий перебрался во времянку, которая была теплой и надежной — сруб с двумя окошками, на фундаменте, печка кирпичная. А еще месяца через два съездили в район, подали заявление на развод.

Сын пытался остановить, образумить, уговорить, но не помогло. Да и как-то этот разрыв плавно, без шума, без явного повода шел, что всем троим было удивительно: вроде и просить друг у друга прощения было не за что. И не за что зацепиться — Юрий не пил-запивался, не буянил, ни у него, ни у Татьяны не было никого на стороне. Но вот не могли больше вместе жить, и разошлись.

Про их развод в деревне поначалу не знали, но потом заметили, что Юрий сам по себе, а Татьяна сама по себе. Попытались пообсуждать эту новость и быстро бросили — не нашлось, по сути, что обсуждать: Масляковы вели себя мирно, даже вроде бы дружно (на огороде ковырялись поблизости, помогали друг другу), но все-таки — порознь. Отдельно.

Сын устроился в городе в строительную фирму, встал в очередь на квартиру... В селе серьезной работы давно не было — уже три десятилетия сидели на чемоданах, ждали переселения.

Ну, не то чтобы прямо сидели и ждали — что-то делали, даже избы ремонтировали, новые сараи ставили, но в голове держали, что не вечно так, что придется однажды подняться и уйти отсюда.

Часть людей сразу, еще в восьмидесятые, снялась, и эта часть, как жизнь показала, поступила мудро — тогда квартиру или дом получали без большой волокиты, и с работой было легче — рук везде не хватало.

В девяностые Большаково совсем уж было зажило, как уединенный островок — на город и вообще на государство, которое разваливалось и гибло, не надеялись, кормились своим хозяйством, тайгой; на время забыли о плотине под боком — ее бросили достраивать, и казалось, что вот-вот река размочет бетон, сметет, утащит прочь.

Но наступили новые времена, государство ожило, и возобновились разговоры, что электростанция необходима, что до запуска осталось-то всего ничего. А потом громыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС, и тут заметались: срочно вводить в строй!

То, что долгие годы было хоть и неизбежным, но отдаленным, нескорым, пришло, застучало в ворота.

Летом две тысячи восьмого появились бригады зэков из колонии и принялись валить бензопилами лес по горам.

Местные сперва возмутились, бросились к пыльщикам, а те показали путевку: подготовка лежа водохранилища.

— Скоро и вас подготовят, — добавили. — Вы же ближе других к плотине.

А еще через несколько дней в клубе состоялось собрание. Прибыли представительные мужчины и женщины — какое-то начальство, — стали рассказывать о том, что строительство гидроэлектростанции наконец-то вступило в завершающую фазу и пришло время прощаться с селом. Переезжать.

— И куда-а? — плачуще спросила старушка в первом ряду.

— А ради этого мы вас и собрали, — ответили из-за установленного на сцене стола. — Будем выслушивать ваши пожелания, решать то, что в наших силах. Сейчас Станислав Борисович ознакомит вас с порядком...

И крупный мужчина в сером костюме и синем блестящем галстуке, вроде бы самый главный из начальства, напоминающий какого-то тылового офицера (местные тут же прозвали его Военкомом), стал объяснять, то и дело заглядывая в бумаги:

— Переселение регламентировано законом Красноярского края, принятым в октябре-месяце прошлого года. Закон называется... «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления БогЭС». Закон предусматривает одиннадцать категорий...

— Чего затопления? Бога-с? — раздался в зале насмешливый голос.

Мужчина не сердито даже, а недоуменно, что его так перебили, уставился на сидящих внизу, оторопел. Его выручил, видимо, его помощник — молодой человек в цветастой рубашке:

— БогЭС — это Богучанская гидроэлектростанция. Одна из крупнейших гидроэлектростанций России.

— Так вот, — продолжил Военком, — законом предусмотрены одиннадцать категорий льготников, имеющих первоочередное право на квартиры. Это, конечно, ветераны ВОВ, далее...

— Вовы, вперед! — выкрикнул тот же голос; некоторые в зале хохотнули. Военком дернулся и поднялся:

— Слушайте, кто там мешает... За глумление над ветеранами можно и под статью попасть. Или на пятнадцать суток!

— О, мое переселение уже начинается, — обрадовался насмешливый — беспутный, но от природы умный парень Виталька Синицын.

— Так, покиньте зал, — приказал Военком.

— С чего это?

— Вы мешаете. Покиньте.

— А я ведь тогда не узнаю, может, я льготник какой. И вообще — тут моя судьба решается.

— Но, действительно, молодой человек, — заговорила женщина, похожая на губернаторшу Петербурга, — нельзя так себя вести. Вы не даете людям сосредоточиться, уяснить важную информацию...

— А вам можно, что ли, говорить нечеловеческие слова?

— Какие — нечеловеческие?

— Эти БогЭС, Вов... И назовите номер закона, по которому нас отсюда погонят.

— Никто вас не гонит. Мы заинтересованы в первую очередь, чтобы переселение прошло организованно, в цивилизованной форме.

— Кто — мы? — не унимался Виталька.

— Здесь и представитель краевого министерства инвестиционной полити-

ки, и представитель дирекции по подготовке ложа водохранилища, и районная администрация...

— Я-асно, серьезные люди почтили, — вздохнул Виталька. — Вопросов больше не имею. — И он в самом деле надолго умолк.

Военком огласил эти одиннадцать категорий льготников, и жители села порадовались: почти все семьи попадали в одну из категорий. Хотя ветеранов почти не осталось, зато много было тружеников тыла; были инвалиды, семьи с малолетними детьми, пенсионеры...

Большаковским предложили высказывать пожелания, кто куда хочет переехать.

— Что ж, я в Москву хочу, — появился было вместо Витальки новый шутник, но его тут же зашикали.

— Выбор, товарищи, хоть и велик, но ограничен нашим краем и Хакасией, — сказала похожая на губернаторшу.

— А при чем здесь Хакасия?

— Наши соседи готовы предоставить жилье в своих населенных пунктах. К тому же они наши партнеры.

— Аха, поселят под Шушкой, чтоб нас смыло всех...

— Давайте серьезно!

Выбирать оказалось трудно и страшно. Да и большинство городов и поселков из списка были для местных пустым звуком — никто там никогда не бывал, знакомых не имел.

Слабо помогала и разложенная на сцене подробная карта края. На нее таращились, пытались сообразить, разобраться. Начальство подсказывало:

— Вот ваше Большаково. Это — районный центр, город Колпинск...

— Ну эт я знаю.

— Вот здесь, южнее, Канск, Заозерный... А вот Ачинск, Шарыпово, Абакан.

— Далеко-о...

— Там и климат мягче, абрикосы растут.

— При чем здесь абрикосы...

— Я в том смысле, что климат...

— Да мне бы где-нибудь рядом с рекой.

— А там, в Абакане, и Енисей, и Абакан...

— Мне бы рядом со своей бы...

— Ну вот Колпинск. Динамично развивается. И от вас совсем рядом.

— Аха, — встревал третий в это медленное обсуждение. — От Колпинска до реки — пешком не дойдешь. И плотина над головой.

— Вот Богучаны ниже по течению, — начинало терять терпение начальство. — Отличный поселок. Мотыгино...

— Там тоже ГЭС строить хотят. Опять переселение будет.

— Правда, что ли?

— Да, — неохотно признавало начальство, — планы есть.

— Что ж это от реки-то останется?..

В тот раз заявления подали всего несколько человек — в основном одинокие. Выбрали места, где у них была родня или знакомые.

Начальство не торопило, тем более у него самого возникла путаница в списках. У краевого был один, у районного — другой, а здесь сельсовет предоставил третий.

— Это почему так? — морща лоб, пытался понять тот, кого местные прозвали Военкомом. — У вас в реестре почти на полсотни больше людей... Как

это? Ведь вы же сами подавали вот это. — И он покачал списком, который привез с собой.

— Но это когда было-то! — ответила сельсоветовская паспортистка. — Года два назад. С тех пор новые прописались. Люди не все сиднями на местах сидят.

— Что-о?! Как — прописались?

— Закон разрешает.

— Да это!.. — Мужчина особенно сильно стал похож на офицера, увидевшего вопиющий непорядок.

— Действительно, Станислав Борисович, — тихо, но слышно сидящим за столом заговорил молодой, в цветастой рубашке, — закон не запрещает регистрацию в зоне затопления.

— Не запрещает... — Военком потер горло и зло посмотрел на паспортистку. — Хорошо-о... Хорошо, мы проверим, кого вы тут зарегистрировали.

— А кого? Не китайцев же. Своих, граждан России, в соответствии с конституцией...

— Да ведь мы так никогда их... — Военком мотнул большой головой на обсуждающих внизу, в зале, свою дальнейшую жизнь большаковцев, — никогда не переселим.

— Издайте закон, я перестану регистрировать. Вы же из министерства — не я.

— Так, господа, — сказала похожая на губернаторшу, — давайте обговорим эту проблему не здесь. Мы и так уже обращаем внимание... Еще митинга не хватало.

И тут как раз к сцене подошел Юрий Масляков. В руках — розданные документы с условиями переселения.

— У меня вопрос.

— Да-да, — начальство за столом с готовностью обратилось к нему; и в зале притихли, надеясь услышать полезное.

— Вот здесь написано, что квартиры предоставляются строго в соответствии с регистрацией.

— Да, конечно.

— Но вот мы с женой, с Татьяной... Мы в разводе.

— Так, — кивнул молодой человек в рубашке, и на лице его появился азарт, как у отличника перед решением сложной задачи.

— И как нам быть?

— Вы, простите, зарегистрированы по одному адресу?

— Ну да. В разводе уже лет десять... У каждого свое, а тут...

— Мы понимаем вашу проблему, но в соответствии с законом вам положена одна квартира.

— Ну а как, если мы вместе не живем?

— Но ведь жили же как-то. И сейчас живете.

— Одно дело — здесь. У нас и изба, и еще... — Маслякову было неловко при всех объяснять устройство их жизни. — Я, например, в балке... Но он вполне подходящий... Мы можем друг друга неделями не встречать. А квартира...

— Знаете, — как по секрету стала советовать похожая на губернаторшу, — рыночные свободы дают вам возможность оперировать полученным жильем. Купить себе отдельное...

— Купить? Хм, в кармане миллионы преют... И какая нам светит квартира?

— Вас двое?

— У нас сын еще! — выкрикнула Татьяна, до того как-то сжавшись слушавшая разговор. — Андрей, сын еще!

— Он с вами живет?
— Нет, он в городе.
— Но прописан с нами, — сказал Юрий.
— Вот они, — паспортистка нашла в реестре Масляковых, — семья из трех человек, сын совершеннолетний, зарегистрированы по одному адресу.
— Что ж, — глянув в реестр, ответила похожая на губернаторшу, — вам полагается двухкомнатная благоустроенная квартира.

Масляков усмехнулся:

— Двухкомнатная! Да у нас изба — три комнаты, и кухня огромная. Плюс...
— А сын на очереди стоит, — перебила Татьяна, — как участник боевых действий! И как ему?

— Нужно разобраться в этом вопросе. Скорее всего, первоочередной будет очередь по переселению. К маю территория вашего сельсовета должна быть готова к... — Молодой человек в цветастой рубашке запнулся. — Кхм, должна соответствовать санитарным нормам.

В тот раз начальство уехало почти ни с чем. А большаковские долго обсуждали между собой, куда переселяться, на каких условиях, что брать с собой, что бросить.

По вечерам шли в те точки, где лучше ловилась сотовая связь, и подолгу, крича, разговаривали с детьми, родней, знакомыми, живущими в других городах и селах, узнавали, как там у них... А вдаль жужжали бензопилы, валившие березки и сосенки...

На следующий день после собрания Юрий и Татьяна Масляковы впервые за много лет решали общее дело. Важное и сложное. Переезд.

Обычное и привычное — вспашка огорода, копка картошки, дрова — решались без обсуждений, почти молча. А теперь потребовались слова, много слов, которые, может быть, приведут к правильному решению.

И вот сидели за широким столом на кухне, на разных его концах.

— Дождали-ись, — качала головой Татьяна, — запрут в четырех стенах, и будем сатанеть друг от друга.

— Еще, заметил, у них подозрение, что специально развелись, чтоб две квартиры оттяпать, — усмехнулся Юрий, но осознал слова бывшей жены, повысил голос: — Ну а что, куда бы я делся? Это и мой дом тоже... мой отец с дедом строили.

— Да это — да, это понятно... Кто ж знал...

Может, подумала в этот момент, что зря двенадцать лет назад, когда развелись, не вернулась к своим в Проклово или не пошла к паспортистке, чтоб та выписала ее с этого адреса и прописала по другому — пустые дома тогда копейки стоили... Найти хозяина, заплатить, и теперь бы не надо было ломать голову, как быть. Или сына прописать отдельно... Да. Но кто же, действительно, знал тогда, кто же знал... Вот бахнуло, и сотни людей поняли, что они в западне, ловушке. И Масляковы — дальше других от спрятанного выхода.

— Хоть бы как-нибудь уж две однокомнатки получить, — сказала Татьяна. — Андрей все равно отдельно пока... снимает. А там, когда из нас кто помрет, то объединить, ему оставить.

— Ну да, ну да... Но кто даст две... Лишнюю ванну, туалет... хе-хе...

Татьяна посмотрела на Юрия, как на дурашливого взрослого ребенка. Без злости, но с сожалением. Сказала:

— Андрею надо позвонить. Может, он что подскажет. Тем более — в городе. Там понятней, как и что.

— Ну да, надо, — без всякой надежды согласился Юрий.

По соседству, через три двора, тоже шел тяжелый, требующий много слов, которые никак не находились, решения, которого никто не видел, разговор. И Виталька Синицын, так смело ёрничавший на собрании, сейчас имел растерянный, незащищенный вид. Скрючился на лавке перед печью, курил одну за одной, слушал, что говорит десяток собравшихся у них дома людей. Слушал и пытался выудить из разговора, похожего на ливень с порывами ветра, мысль, которая бы могла всех устроить. И тогда бы этот, длящийся уже не первый час разговор-ливень, прекратился, и все бы, довольные, успокоенные, разошлись, занялись делами.

— Да как мы там будем? Ка-ак? — плачуще вопрошала мать, Надежда Павловна, теребя выписку из реестра с их будущим жильем. Нас вон сколь... это Кати с Никитой не считая... И всех — в одно! Здесь четыре семьи, и всех в одну квартиру?!

— Четыре семьи — четыре комнаты, — мрачно кхэкнул старший брат Витальки Лёха, отец двух ребятишек.

— Хватит смеяться уже! — Мать пристукнула кулаком по столу. — Досмеялись вот, досмеялись!..

— Да никто не смеется... Откажемся переезжать на таких условиях — и всё.

— Под конвоем переселят, — ответил средний брат, Артем.

Их было три брата и еще сестра, Катя. И все прописаны здесь, в родном доме. Точнее, домов было два — в старом жили отец с матерью и одинокий Виталька, а в новом — Артем с женой и дочкой и Леха с семьей. Так все устроились, что у каждой семьи был свой выход на двор, свои кухни. В общем, не мешали друг другу... Катя жила у мужа, Никиты Акулова — поженились в позапрошлом году. Надо было и прописку сменить, но все руки не доходили, да и не держали это в голове — пустяк, формальность. И паспорт-то многие месяцами не видели: лежит он в шкафчике, в жестяной коробке спокойно, и пускай лежит. А вот, оказалось, от штампа судьба зависит. Вписали Катю к родителям и братьям, а не к мужу.

В разговоре участвовали и родители Никиты, и их второй сын, двадцатилетний Саня, который собрался жениться на местной девушке. Родители девушки хотели переезжать в Ачинск, Санины же родители решили остаться в районе.

— На худой конец в Колпинск, — говорил старший Акулов. — Но лучше — в Таежный, его топить, слышал, не будут... Я отсюда не уйду. У меня тут с семнадцатого века все. Заимку в горах скатаю и буду...

— И будет он! — взвилась вдруг его жена Тамара; Виталька качнул головой: «Вот он, новый порыв ветра». — И будет!.. А мы?! Мы-то как?

— И вы со мной. Я еще могу...

— Не поеду я ни в какой Таежный! И в Колпинск я не хочу!

Акулов недоуменно уставился на жену. Кажется, она впервые позволила себе так вот кричать, так решительно с ним не соглашаться... Акулов был здоровый пятидесятилетний мужик, давно жил своим хозяйством, охотой, рыбалкой. Продавал то, что добывал, откармливал в стайках, и деньги на жизнь всегда были. Жена с сыновьями помогали, все делали эти годы одно дело размеренно и дружно, и вот жена взбунтовалась. Тем более — в чужом доме.

— Выпала возможность пожить как людям, а он — заимка! Тут Минусинск предлагают, Сосновоборск... Абакан, люди говорят, какой хороший город стал...

— И что тебе этот город? — не повышая голоса, но угрожающе сгущая бас, спросил Акулов. — Задышаться там?

— Буду жить нормально. Хотя на унитазах посижу.

— Нет, надо, конечно, в город, — неожиданно для Витальки поддержал его отец. — Квартира, всё... Только настоять, чтобы не так вот — всех в одну...

— А Катерину с Никитой как? — вспомнила мать, оглянувшись на них, державшихся за руки, будто им сегодня же разлучаться навек, и заплакала. — Как не по-людски-то всё!..

Никита и Катя почти два года прожили в пристройке, сами по себе, обжились, привыкли к независимости, а тут опять оказались детьми, прилепленными к родителям: Никите полагались метры вместе с его родителями, Кате — с ее...

— Ехать надо, добиваться, чтоб пересматривали, — сквозь плач говорила мать и была сейчас такой старой и жалкой, что у Витальки защемило пальцы.

Он поглядывал на братьев, крупных, женатых мужиков, на их жен, корпусных, рожалых. Но сейчас все они тоже, как Никита и Катя, выглядели, будто маленькие перепуганные дети — всех испугала перспектива оказаться в тесном пространстве квартиры вместе, возле одной плиты, с одним туалетом, одной стиральной машинкой. Племянники сидели рядом притихшие, натугуришившись; они напоминали вынутых из норы полумесячных волчат... Все собравшиеся в избе, от почти стариков-родителей до этих пятилетних-семилетних ребятишек, крепкие, здоровые, знающие, как жить здесь, в деревне, были теперь растеряны, бессильны, прибиты. И Витальке хотелось рвануть в город и там жестко, лаконично все объяснить тем, кто руководит переселением... И вот он возвращается с пачкой ордеров на жилье. Отдельная квартира своим родителям, отдельная — родителям Никиты, и семьям братьев — отдельные, и Сане с невестой — тоже. Нормальные квартиры — по две, по три комнаты. Даже тем, у кого детей пока нет. Но будут ведь...

Приехал Андрей, сын Масляковых.

— Ну чего тут у вас? — спросил не то чтобы с пренебрежением, но так, как спрашивает богатырь у бьющихся над плевым, с его точки зрения, делом лилипутов.

Юрия этот его тон задел и в то же время обнадежил. Может, действительно сейчас Андрей возьмет и раскидает, словно кучу гнилушек, проблемы.

Вслед за бывшей женой и сыном поднялся в избу, сел к столу.

— А вы вместе опять? — удивился и обрадовался Андрей. — Молодцы-ы...

— Погоди, — Юрий поморщился от этого «молодцы-ы», — тут такое дело, что мозги можно вывихнуть.

— Сынок, чай попьешь? Поешь? — жалобно спрашивала Татьяна.

— Ну, чай... На работе еще надо успеть показаться. — Сын уселся, оглядел просторную кухню. — Что, сносят нашу деревеньку?.. Нас пытались вербовать на зачистку, но местные отказались...

— Позавчера собрание было, опрашивали, кто куда поехал бы... Списки у них, кому какое жилье положено... И нам, — Татьяна кашлянула, глотая слезы, — нам на троих вот две комнаты. Мы говорим: сын взрослый...

— Да я... — перебил было Андрей, но Татьяна не дала:

— Сын взрослый у нас, и мы сами в разводе уж столько. Все трое отдельно, адрес только один.

— Они говорят, — вступил Юрий, — по закону — правильно. С одного адреса — в одну квартиру. А у людей тут сплошь и рядом — по одному адресу десять человек. Вот Синицыны...

— Да что нам Синицыны! — всплеснула руками Татьяна. — Нам о себе думать надо. Нам-то как?

— Ну, может, это знак судьбы, — улыбнулся Андрей.

— Что — знак судьбы?

— Чтобы вас свести. Ведь это ж смешно уже, правда, — в одной ограде столько лет, а живете, как эти...

— Живем и живем, — голос Татьяны моментом стал сухим и твердым, — и кому какое дело. Не жалуемся. А если нас в одну клетку... Ты представь только, как мы там втроем!

— Я и хотел сказать: я как снимал, так и буду снимать пока. Тем более я с девушкой сейчас. Может, и серьезно получится...

— Это с той, с Дашей?

— Нет, другая... Потом познакомлю.

— А это, слышь, — вспомнил Юрий, — мы комиссии сказали, что ты на очереди стоишь, как солдат...

— Участник боевых действий, — поправила Татьяна, будто это уточнение было важно сейчас.

— Ну да... И они сказали, что первоочередной становится очередь по переселению.

— Мы возмутились с... с отцом, только им это...

Андрей хотел что-то ответить, но передумал. Покривился, как от боли, потер ладонью подбородок.

Щелкнул электрический чайник, и Татьяна тяжело поднялась, налила чашку чая. Потом, подумав, налила еще две. Поставила на обеденный стол. Достала из буфета печенье, сахар. Постояла над столом, как бы вспоминая о чем-то, села.

— Ла-адно, — выдохнул сын протяжно, с угрозой кому-то. — Ладно, таких, как я, у нас много, мы им устроим, если действительно... Главное — пока никаких бумаг не подписывать. На своем стоять. Пускай решают.

— Подписывать не будем, ясное дело, — отозвался Юрий. — Насильно нас вряд ли станут — другое время... Хотя и три квартиры вряд ли дадут.

— А если и дадут, — заговорила Татьяна, — то по одной комнате, где и не развернешься. А тебе, — обратилась к сыну, — свою жизнь устраивать надо. Тридцать два года, а всё так — один по съемным углам...

— Ну, не по углам, и не один.

— Да это тебе кажется. А скажут, чтоб освободил до конца недели, и другую снять не получится. И что? Вот тебе и углы... Свое жилье надо, свое! И семью. Детей. — И, разойдясь, Татьяна стала планировать, как устроить жизнь сына, да и свою на новом месте: — Может, дом перевезти? Об этом на собрании не было разговора, но ведь можно, наверно... Всем бы места хватило.

— Как его перевезешь? — пробормотал Юрий. — Сруб разве только... Как это все разбирать, раскатывать... штукатурка, балки... И кто нам землю даст?

— Дадут, — убежденно сказала Татьяна. — Заявление написать, потребовать. Такие хоромы — три комнаты жилых, кухня вот, двое сеней... их тоже

теплыми сделать можно... Или, — нашла другой вариант, — доплатить за комнату. У меня семьдесят тысяч лежит. У отца тоже, наверно, что есть.

— Тридцать с чем-то, — поспешно, чтобы не подумали, что жалеет денег для дела, объявил Юрий.

— Вот! И у тебя, сынок, найдется.

Андрей усмехнулся:

— Да это не деньги. Надо хотя бы полмиллиона. Или кредит брать.

— Нет, без кредита. Я столько случаев слышала.

— Кредит тоже под что-то дают, — продолжал сын, — просто так не выложат деньги... А может, все-таки... — Он глянул на мать, на отца. — Может, сойдемся? Ведь легче же вместе...

Юрий, до того глядевший в пол и лишь изредка поднимавший глаза на говоривших, затаенно посмотрел на Татьяну. И она показалась ему сейчас — именно после слов Андрея — помолодевшей, симпатичной, близкой. Захотелось, как раньше, подойти, сжать ее плечи, притянуть к себе... Те обидные слова, что говорила она ему много лет назад, что кололи, не давали покоя, теперь забылись, вернее — потускнели, потеряли смысл... «Почему, действительно, не быть вместе? Ведь по-настоящему же никогда не расходились, всё рядом. И будем рядом, хоть и переедем отсюда... Сын у нас...» И он сказал:

— Я, в принципе, не против.

Лицо Татьяны исказилось — то живое напряжение, с каким, как казалось Юрию, она ждала его ответ на слова сына, превратилось в гримасу страдания и злобы.

— Не против? — не крикнула, она вообще редко кричала, а как-то полузадушенно прошипела. — Не против? В принципе?

— Мам, — голос Андрея, — чего?..

— А чего? Чего он?.. Захотелось — разбежался, теперь надо — сбежался.

— Я от тебя не убегал, — ответил Юрий. — Ты пошла на разрыв.

— Ну дак, конечно! Если ты в самое трудное время предал просто.

— Как это — я предал? — Юрий ненавидел выяснять отношения, и в тот раз просто отправился жить во времянку, чтоб не выяснять...

— А так. Так! — распалялась Татьяна. — Когда муж вместо того, чтобы опорой быть, прячется, как страус — как это назвать? Единственное, что мог — принести бутылку и сказать: «Будем на лучшее надеяться!» Вот же!..

— Да когда я пил?!

— Не скажу, что запивался, но и не делал ничего. Сидели здесь без копейки, без ничего, когда сын там, в Чечне этой под пулями...

— Мам, но ведь обошлось все, — сказал Андрей. — Прошло. И не хуже других живем.

— Не хуже? Хуже! Раньше надо было искать выход, а не сейчас. Двадцать лет было... Тогда еще и дом можно было продать, и купить Андрею отдельный... Как теперь-то нам?!

Юрий поднялся, пошел к двери.

— Ну вот видишь, — тут же как-то торжествующе сказала бывшая жена, — опять уходит. Так же и тогда уходил. Только начну разговор — он уходит.

— Да я покурить.

— Курить!..

— Мама! — выкрикнул Андрей, — хватит злиться... Чего теперь злиться, через столько лет? Решать нужно.

— Ну а как с ним таким решишь? Не против он... в принципе... Все я знаю, как ты тут по деревне к каждой одиночке лез, паспорт совал, что развелся.

Юрий дернулся:

— Да когда это было! И что — мне одному легко, думаешь?

— Ну вот и ступай к ним!.. Что-то ни одна не приняла.

— Го-осподи, — Юрий присел у порога; Татьяна сухо плакала, Андрей, большой, взрослый, какой-то лишний здесь, безвольно согнулся на стуле, постукивал ногой в остроносой туфле.

Казалось, так вот они и будут мучиться втроем, пока с улицы не войдут и не скажут: «Ну что, готовы? Покидаем помещение, грузимся».

Хоть на словах почти все жители Большакова были за то, чтобы держаться до последнего, добиваться самых лучших условий, но на деле уже через месяц-полтора после собрания дома стали пустеть один за другим. Уезжавшие оправдывались:

— Ну а чего ждать? Другого не будет. Пока хоть квартиры дают, а потом — хрен его знает.

Собирали вещи в коробки и мешки, сносили, свозили на берег, а с него — на подходящий, чаще всего уже забитый вещами переселенцев с верховья реки паром. Что-то ломалось, билось, что-то мочило дождем; люди ругались, проклинали все подряд, но тащили это уже ненужное, поломанное барахло на палубу, пихали в свободные щели, ставили коробку на мешок, ящик на коробку... В конце концов паром медленно отчаливал, посылал оставшимся прощальный взвой сирены и полз дальше, в сторону плотины. За километр до нее была большая, широкая пристань, склады, но всё это временное, обреченное на скорое уничтожение и затопление. От пристани вела дорога к городу, за которым начинался огромный мир с десятками и сотнями других городов и сел, поселков, деревушек, по которым расплылись жители Большакова. Расплылись, терялись, исчезали...

Большаково — село не крупное. И, казалось бы, расселить его можно за неделю. Да когда-то за сутки целые народы грузили на транспорт и отправляли за тысячи километров. Было такое. Но теперь другое время, все делалось вроде бы по закону, с соблюдением прав, и процесс шел медленно, кое-как.

Первые семьи покинули Большаково еще в конце семидесятых, когда электростанцию только начинали строить. Но их дома заняли другие — дальняя родня или приезжие. Да и некоторые из местных вернулись — не прижились на чужбине. И, по существу, село и теперь не выглядело обреченным на гибель.

Погибали маленькие деревни дальше от города, даже те, что не попадали в зону затопления. Но когда стал пустеть бывший райцентр и старинные села вдоль реки, захирели и выросшие из зимовий, заимок, балков деревеньки. Фролово, Пуня, Бераямба, Боровое, Армаль... А как иначе? Одно дело, когда до ближайшего села с магазином, фельдшером десять-двадцать-тридцать километров, а другое — двести, а то и больше. И люди снимались, уходили.

Обезлюдывали деревеньки — эти несколько избышек, — и сырая темная тайга сразу наваливалась на отвоеванные у нее когда-то деляны; дикие травы засыпали огороды, дворы, улицы семенами, сосны и ели швыряли расщепленные шишки; на срубках поселялся мох, расползался по плахам крыш лишайник. Снег и ветер валили заборы, дождь разъедал бревна, доски, слегы, по стайкам шастали лисы, напрасно вынюхивая кур и поросят, на чердаках и вышках

строили гнезда белки, долбили городьбу дятлы... Природа забирала обратно свою территорию.

А жители брошенных деревень тыкались в села, которые для них были центрами их цивилизации, и те, что переезжали раньше, успевали там прописаться, обжиться, а припозднившиеся, сомневавшиеся до последнего, — опоздали. И кто-то ехал дальше, в райцентр, в Канск, Богучаны, Лесосибирск, Енисейск, другие самовольно занимали бесхозные избы, жили прячась, таясь, — просто некуда было деться...

Такие же нелегалы были и в Большакове. Вселялись в дома с отключенным электричеством, топились, ломая сараюшки, заборы. Целыми днями мужчины торчали на реке — рыба становилась для таких основным пропитанием.

Бывало, они со слезами выпрашивали ведро картошки и десятку на булку хлеба, случалось, подворовывали... Тяжело было смотреть на этих таежников, сделавшихся бичами. И ведь им-то вообще ничего хорошего не светило — бросили место жительства по своей воле, сами, формально стали такими.

Да и прописанные в селах, попадавших под затопление, тоже не были застрахованы от бичевания: невнимательное чтение документов, подпись не там — и ты вполне можешь лишиться и родного дома, и квартиры, которую тебе выделяют...

В том тупике, в какой попали семьи Масляковых, Синицыных, Акуловых, казалось, жить долго нельзя. Невозможно каждый день, каждую минуту думать о том, что будет дальше, как оно будет... Но дни проходили, сливались за спиной в недели, месяцы.

Осенью паника с переселением поутихла, и оставшиеся люди вернулись в привычный режим. Готовились к зиме, выкапывали и перебирали картошку, деля ее на три категории — себе на еду, свиньям и на семена. Пилили лесины, кололи чурки, складывали высокие, широкие поленницы.

Время от времени докатывались слухи, что работа на ГЭС снова застопорилась — то ли денег нет, то ли что еще... Финансовый кризис, экологи пересилили...

— Вообще бы смыло ее, — желали старики. — Пока снова делают, мы успеем хоть помереть спокойно.

— Да ладно помирать, — отзывались те, что помоложе, — еще поживете с удобствами.

— Ну их к язве с их удобствами! Меня только оторви отсюда, я по дороге окочурюсь.

— Мда-а, — поддерживали, — старые деревья не пересадишь.

— Не пересадишь...

В середине ноября ударили серьезные морозы, и в Большакове появилось несколько бывших жителей.

Пробирались по глубокому неслежавшемуся снегу к своим воротам, отпирали избы, затапливали печи.

Виталька Синицын зашел к одним таким — Устряловым Димке и Маринке. Почти ровесники Виталькины — молодая семья пока без детей. В сентябре им выделили в городе отдельную квартиру в двухквартирном доме. На первом этаже прихожая и кухня с залом, на втором — две комнаты: спальня и будущая детская... Они с радостью подписали документы, сгребли в мешки и ящики вещи. Виталька помогал им грузиться.

И вот теперь Устряловы снова здесь.

— Здорово, а вы чего приехали? — удивленно спросил, сбивая шубинками снег с унтов. — Или отобрали хоромы?

— Хоромы... — буркнул Димка, а потом и ругнулся; встал с кровати навстречу гостю. — Проходи... Не разувайся.

Изба была темная, за два месяца успела стать нежилой, чужой. Неровно оштукатуренные стены голы и страшны, как старое тело. Раньше на них были коврики, висели полочки, заслоняли шкаф, буфет. А теперь почти пусто. Лишь большой кухонный стол, самодельный, из толстых плах, в углу — панцирная кровать, на которой вместо постельного белья шубы, платки.

У стола на тоже самодельной табуретке сидела Марина, жена Димки, бесцветно смотрела на гостя.

С потолка свисала на пыльном шнуре потушенная лампочка без плафона... Лишь пощелкивающие в печке дрова, бьющийся за щелью дверцы огонь как-то обозначали жизнь.

— А чего в темноте? — Виталька поискал, на что сесть; Димка кивнул на кровать.

— Да провода отрезали... Хорошо хоть, изба цела, а так бы...

— Что — так бы? Вернулись-то зачем вообще? — Виталька никак не мог понять, что заставило Устряловых в самый мороз приехать сюда из новенькой квартиры.

— Невозможно там жить, — сказала Марина. — Это... это кошмар какой-то. — И, перхнув рыданием, замолчала, отвернувшись.

— Хм!

— Понимаешь, — продолжил за жену Димка, — вроде бы все отлично — домик веселый, соседи нормальные. Заборцевы. Знаешь же их?

— Которые с Косого Быка?

— Ну да, они...

— А какие именно? Их же полно там. Всех в одну квартиру, что ли? Как нас хотят... — И Виталька зло хохотнул.

— Да нет, Даня Заборцев с женой, сыном.

— А-а!.. И как они?

— При чем здесь Заборцевы вообще?! — дернулась Марина; видимо, ей не терпелось рассказать Витальке об их злоключениях, но сама не могла, а парни подались совсем не в ту степь...

— Ну, они тоже побежали, — сказал Димка. — Им тоже... Короче, — уставился на Витальку кругловатыми выпуклыми глазами, — короче, как долбануло за минус десять, так и началось. Пол ледяной, особенно — первый этаж. В лабутах с пятью носками целый день, как на улице... Подполья нет, это нам сразу сказали, но мы как-то плюнули. А тут я рейки отодрал, полез смотреть — оказалось, дом на сваях стоит, и пол — в одну доску, сверху дэвэпэ тонюсенько... К тому же доски ссохлись, винтом пошли, щели сплошные.

— Это они, что ли, плахи сырыми ложили? — покривился Виталька.

— Ну, так получается... Ладно, думаю, куплю пока пару ковриков... ну, которые греют, электрических, а весной уж начну разбираться. Зимой кто ж ремонтирует... И тут, — Димка вытряхнул из пачки сигарету, но не закурил, стал нервно катать меж пальцев. — И тут, бля, обои отваливаться стали. Прямо листами так — ш-ших! А под обоями прорехи, хоть руку суй. Ну, думаю, это уж слишком.

— Да всё там, всё! — не выдержала Марина. — Все ужасно! Дверь тонкая,

тепло не держит, рамы шатаются... Предложили отдельное жилье, и мы, как лохи — глаза закатили и бросились. А теперь...

— Ну, короче, посмотрел я на такое дело и побежал жэк искать, или как он там называется... Подказали управляющую компанию. Называется «Веста»... Х-хе! — Димка сунул сигарету в рот, шелкнул зажигалкой.

— У печки покури, — сказала Марина. — И так мутит.

Виталька с усмешкой поинтересовался:

— Чего тебя мутит? После городского жилья, что ли?

— Беременная потому что. На радостях вот заделали, а теперь... — в голосе Марины снова послышались рыдания, — теперь вот здесь придется черт знает сколько.

— Да ладно, разберемся, — попытался успокоить муж.

Он отошел к печке, сел на кукурки, ногтем приоткрыл дверцу топки; Виталька пристроился рядом.

— Ну и вот, прихожу в эту «Весту», сидит мужичок. Увидел меня, аж дернулся. Я ему вгладь, подробно объяснил, он записал адрес, претензии. И так... не спокойно, а привычно, будто каждый день по десять раз к нему с таким приходят: «Все ясно. На днях придет к вам представитель, сделает экспертизу». — «Да? — говорю. — А устранять когда будете?» — «Как очередь дойдет. Месяца через два примерно». — «Какие два месяца?! — я ему. — Там и две ночи не выдержать. Минус почти на градуснике». Мужичок этот мне уныло: «Эти дома у нас на гарантии. Их владелец — акционерное общество "Бива". Мы предъявляем результаты экспертизы им, а они обязаны устранить». Я послушал, ну и уже всерьез злиться стал: «Мне по хрен, кто там кто у вас. Жить в доме невозможно!» И он тоже взвился: «А я что могу? У меня таких, как вы — сто с лишним квартир. Хотите — в суд обращайтесь».

— Надо обращаться, — сказала Марина, — писать заявление.

— Завтра с утра поеду. — Димка бросил окурочек в огонь, следом сунул обломок черной доски. — Надо решать... Вон и топиться нечем. Труху нашел под навесом...

Виталька перебил:

— Ну, дров-то не проблема привезти.

— А свет? И вообще... Дураки, подписали документы... владельцы жилья, блин... А теперь хрен его знает как... — Димка поднялся с корточек, какой-то старческой походкой вернулся к столу. — Суд... Легко сказать. Это надо адвоката искать, платить ему, доказывать...

— Нам тоже, скорей всего, суды предстоят, — вздохнул Виталька. — Прикиньте, Катке с Никитой в разных квартирах метры дают!

— Да? Они ж муж и жена. — На лице Марины появилось оживание.

— Но. А прописаны по разным адресам. Ну, каждый у родителей. Их и записали отдельно... Да и другое... Вот вас двое — вам положено сорок с чем-то метров.

— Сорок два, — уточнила Марина.

— Ну да. А если семья большая, то всего по восемнадцать метров. И вот нас всех в одну квартиру сталкивают. Меня, родителей, братьев с семьями. Живете, дескать, по одному адресу, вот вам четырехкомнатная и радуйтесь. А то, что у нас две избы, что живем все сами по себе, считай, это их не колышет. Один адрес — и всё... Интересно вообще получается: богатый хрен вздумал китайцам электричество продавать, нашел недостроенную станцию и взялся... А нас, как мусор, в угол сметает... Мы еще и благодарить должны, что нас в квартиры эти

селят. Да я бы сто лет здесь жил, чем там, в клетке этой. Хотя и можно выйти в любой момент, а куда, зачем? — повсюду чужие люди, чужая земля...

Виталька замолчал... Последние недели он старался не думать об этом, но вот ситуация Устряловых, казалось бы, устроившихся очень неплохо в городе, которым многие завидовали, но вынужденных вернуться, заразила его возмущением, смятением, желанием бороться...

— Что, может, выпьем чутка? — спросил; еще минуту назад пить не хотелось, а теперь прямо засосало в груди, затребовало водки.

Димка глянул на жену, наткнулся на ее колючие глаза, ответил:

— Нет, Виталь, не надо. Завтра поеду. Надо решать... И перед родителями стыдно — говорили ведь, предупреждали, а мы... Типа взрослые люди... Теперь придется к ним бежать за помощью. Даже картошки вон нет, кастрюли...

— Пошли, дам картофана, и капуста соленая есть. Огурцы. — Злость у Витальки сменилась сочувствием к этим ребятам, ставшим будто беженцами какими-то. — Нет, серьезно! Что мы, чужие, что ли? И посуда лишняя найдется...

Димка снова посмотрел на Марину. Та сказала:

— Только не пей!

— Да ясно... Я же сказал.

— Виталька, без питья. Ладно?

— Угу. Мне уже и расхотелось. Пошли, Дим, пока не ночь совсем.

Зима была смутная, тревожная. Чуть ли не каждый день что-нибудь или случалось, или пролетал слух, что вот-вот случится. Конечно, плохое.

Зэки из колонии-поселения стали в Большакове хозяевами. Приезжали в любое время на кособоком ГАЗ-66, выпрыгивали из затянутого брезентом кузова и начинали прочесывать улицы. Стучали в калитки, и если хозяева были дома — уходили, а если изба оказывалась в тот момент пуста, начинали ломать. Чаще всего соседи мешали поломать всерьез, и зэки, вяло потряхивая топориками и выдергами, отступали. Но несколько изб раздолбали до фундамента. И объяснение было: «Во избежание незаконного заселения».

Потом оказывалось, что хозяева изб или уезжали на время в город, или еще куда, или снимали жилье в другом месте, где была работа, а возвращались к груде досок и бревен. Бросались жаловаться, и одним быстро давали квартиры в Колпинске или еще где, а других, в основном одиноких, пьющих, необразованных вычеркивали из реестра: нет дома, нет права на предоставление жилья.

— Да вы чего?! Вот прописка в паспорте! — изумлялись обездомевшие.

— Таких штампов сколько угодно можно наделать. Где документы на дом?

— Где... Не знаю... Да этот дом еще мой дед поставил!

— И что? Вы же где-то жили, когда якобы ваш дом сносили. Значит, у вас имеется фактическое место жительства.

— Да я у брата был, в Колпинске! Мне зимой здесь трудно одному...

— Ну вот, возвращайтесь к брату.

Жаловались начальству колонии на зэков, рушивших дома. От начальства ответ:

— Действуем на основе контракта с дирекцией.

— Какой дирекцией?

— По подготовке ложа водохранилища... Мы, колония-поселение, должны

по законодательству сами себя содержать, поэтому заключили контракт по зачистке брошенного жилищного фонда.

— Но оно же не брошенное!

— Людей нет, значит — брошенное.

Большаковцам оставалось материться, а потом начинать судебную тяжбу...

Весной добрались до лесопилки Александра Маслякова, сродного брата и начальника Юрия. Прибыла комиссия вроде как оценивать стоимость оборудования, но начала с проверки документации. Придирались к любой мелочи, чуть ли не обыск устроили. Напирали на то, что предприятие незаконное, а когда все-таки стало ясно, что законное, — на массу нарушений, на отсутствие паспортов на некоторое оборудование.

Целый день промурыжили, а потом, насупленные, полезли в машину.

— Ну и что надумали? — спросил их Масляков-владелец лесопилки. — Компенсацию будете давать или поможете с вывозом?

— Будем решать.

— Ну-ну...

Тяжелый «УАЗ-Патриот», покачиваясь на размокших колдобинах, уехал. Масляков обернулся к рабочим:

— Еще поживем, кажется... У тебя-то как, Юр?

— Да тоже непонятно. Они молчат, и я молчу. Татьяна, правда... — Он махнул рукой.

Сели на штабель горбыля, закурили.

— Ты вот что, — стал советовать Юрию братан. — Ты настаивай, что твоя времянка — жилое помещение. Тем боле, так и есть ведь... Может, пойдут навстречу все-таки... С Татьяной-то всё порознь? Говорят, сложности сближают.

— Хм, нас сложности и развели.

— Ну да...

— Она прямо впряглась в свой этот магазин возле зоны, каждую копейку считает... То планирует по себестоимости комнату выбивать, то адвоката нанять... У нее теперь магазин богаче нашего — чего только нет. Зэки радуются... А я их видеть теперь не могу — трясет прямо. Сколько лет жили с ними рядом, и жалко их было, а теперь — перебил бы. Зверье.

— Ладно, Юр, — похлопал его Александр по плечу, — не разжигайся. Это опасно. Не надо...

Но и сам он все чаще готов был не глоткой останавливать топоры и ломы, крушащие избы соседей, а тоже схватить топор.

— В любом случае, настаивай, что у тебя не бендюжка какая, а вполне жилое помещение. Пускай три однушки дают — тебе, Татьяне и сыну.

Юрий покачал головой:

— Угу, дадут, дождешься. Хоть бы уж две однухи. С Татьяной нам уж точно не склеиться. Да и Андрей... Все мы друг другу чужие.

— Ну, с сыном-то нет.

— Десять лет отдельно живем... И невеста у него... О-ох-х, — прошелся по волосам шершавой ладонью, — не знаю. Пускай идет как идет... Уснуть бы и не просыпаться. Не проснуться больше. Вот хорошо бы было.

Александр усмехнулся:

— Не получится. До конца, Юрок, мучиться будем. А чего, даже интересно, куда все это вырулит.

Борис Евсеев

Письма слепым

Рассказ

1

Стукнули двери, пыхнула огнем сигаретка, три аккорда — и сразу песня... Слепые заходили трижды. Два раза мужики: один — короткопалый, русокудрый, другой — в шляпе на глаза, с волосатыми кистями рук, нервный. В третий раз зашла девушка с микрофоном...

Холодно, неудобно. Моторный вагон стучит, не греет. Поздняя весна, с заносами по самые пути, тоже не веселит. Хорошо — за окнами темновато. И народ в утренней электричке, в общем, ничего: нет бузил и громил, и пьяни прилипчивой тоже нет...

Но вот слепые певцы, те, конечно, кишки вымотали быстро.

С перерывом в пятнадцать минут, полностью одинаковыми движениями перебирали они гитарные струны. Тренькали осторожно, чтобы не сказать трусовато. Пели слепые мужики одну и ту же песню: про дом небесный и про дом земной, про то, что дом не стол и не стул, и что человека в доме должен кто-то ждать.

Минут через двадцать после мужиков — слепая девушка. С постной сурковой мордочкой, в розовом детском пальтишке, но прыткая, но разбитная. Зашла и сходу запела: «Напилася я пьяна...»

Когда слепая пела, то вставала на цыпочки. Потом, с явным облегчением опускалась на полную ступню. А после даже начала раскачиваться, в такт песне. Но внезапно раскачиваться бросила, расчетливо, одним движением, опустилась на пустое сиденье и рассмеялась: никак не могла представить себя пьяной. Да и весь наш вагон — особенно, когда слепая пела про «милушку на постелюшке» — ей, конечно, не поверил.

Правда, деньги, причем одни только бумажные, передали все.

Проверив бумажки на шершавость и хруст, слепая вдруг резко смахнула их в новенький, хорошо вздутый пакет. Все так же улыбаясь и еще сильнее задирая сурковую мордочку вверх, ушла. Поэтому, когда после Ашукинской, в электричку вошел еще один слепец, с черным плоским громкоговорителем на боку — запас вагонной благотворительности был вычерпан нами до дна.

Словно бы это почуяв, четвертый слепец петь не стал. Он вытащил

серебристый мобильник и, как дурак, с гитарой наперевес и мобильником в руках, застыл в проходе.

— Теперь на песнях настоящего бабла не срубишь. Вот они и насобачились, — сосед сзади прочистил горло, — в вагонах снимать. Я тут попал уже на две тысячи! Но снимки, скажу я вам, интересные...

— Снимки? — полуобернулся я к рыжему без шапки соседу, который полчаса назад уже пытался со мной заговорить.

— Ну. Снимки, фотки! Фотик же особенный для слепых изобрели. Они им и щелкают. Потом фотки на дом присылают. Причем в двух вариантах: первый вариант — снимки обычные. Второй — рельефные, в точках и черточках, для тех, кто на ощупь видит...

Четвертый слепец на голоса наши развернулся, сделал два щелчка, потом, подумав, щелкнул в третий раз.

— Говорил же вам... к-ххыа... кхы... — закашлял в шарф сосед.

— Это-это-это... Простите, что снял без позволения!

Слепой фотограф сделал шаг в сторону нашей скамейки и остановился.

Моторный вагон затрясся от напряжения. Сосед сзади опять закашлялся, потом забубнил прямо в ухо:

— Сейчас почтовый адрес или «емелю» спросит. Так вы — не давайте!

— Если кто до Балакирева, а потом на последней обратно... Это-это-это... Я фотки принесу!

Слепой — рыхловатый, редкоусый, — сконфузился, засобиравшись уходить.

— Держи задаток. Как раз на последней поеду...

Я протянул слепому пятьсот рублей.

— Балакирево-Шмалакирево, — засмеялся сосед с простуженным горлом, — сельцо-шмельцо...

2

Балакирево оказалось не сельцом: городом!

Никаких «балакающих», там, ясное дело, отродясь не бывало. А вот деревянный сруб на продажу, у края снежного поля — тот был.

Сруб не понравился, службы в церкви кончились, заводиться с обедом не хотелось. Погуляв по церковному двору, окруженному белокаменной легкой оградой, поплелся я в Школу искусств. Но вовремя себя одернул. Не хватало потратить день на липкие акварельки и русалок из ольхи!

Можно было, конечно, сразу вернуться в Москву. Но, как и было обещано слепому, решил ехать на последней электричке, которая формировалась здесь же, в Балакирево, и прошатался по городку и окрестностям — с перерывом на полдник — почти до вечера.

Утомившись, сидел на кладбище. Расспрашивал редких посетителей про холерные бунты и захоронения XIX века и про крест-мошевик, который Петр Великий подарил когда-то своему любимцу, тайному секретарю Макарову, здесь, в Балакирево, позже и осевшему.

Про мошевик, спасший когда-то жителей Балакирева от холеры, толком никто ничего не знал. А вот про дочь Петрову, причудницу Елизавету, родившуюся у нас в Коломенском, а в эти места заезжавшую ради охоты, кладбищенский сторож сказал, что была веселая, «не ломливая», всегда возвращалась с полей с добычей и однажды устроила в одном из окрестных дворцов маскарад с переодеваниями.

— А дом для слепых у вас есть? — спросил я у сторожа неожиданно. Тот только вылупил глаза...

3

Дом для слепых — или как его звали раньше, «Слепдом» — надвинулся на тебя тремя этажами сразу. Дом стоял на улице 9 января, в десяти минутах ходьбы от школы. Дом как дом: розовый, осыпающийся, строили австрийцы.

— Сегодня после обеда пойдем слепых шугать, — сказал тебе школьный приятель Вадик Н.

Была весна, ветер мел по мостовым яблоневый цвет, в сточных канавах клокотала ликующая грязь, остро щекотал носоглотку запах восточных сладостей.

— Все твои «шугалки», Вадик, они для школьников четвертых-пятых классов, — важно ответил ты приятелю, — на черта нам сдались эти суслики?

Интереса шугать слепых больше не было. Они ходили парами, слипшись как леденцы, ступали опасливо, лица задирали круто вверх. Ученики нашей школы по двадцать раз на дню выскакивали из подворотен, гавкали слепым в лицо, кидали им под ноги раздрающе мяукающих кошек.

Слепые останавливались, терпеливо ждали, пока кошка убежит, гавкающий уйдет. Потом, как по команде, чинно ступали дальше. У слепдомовского двора они, подобно учителям и обычным жильцам, никогда не замедляли шаг и не оглядывались, а сходу повернув на девяносто градусов, тройками и парами входили в широко раскинутые створки ржавеющих ворот.

4

Оглянитесь, слепцы! Оглянитесь же скорей, травимые жизнью сурки!

И вы не увидите ничего, кроме того, что уже давно бушует у вас внутри. Ничего — кроме резучих зубцов пламени и диких вспышек праведного гнева!

5

— А вот вечером Катьку слепую пойдем смотреть! — окончательно добил ты Вадика.

Слепую Катьку через щель ты тогда так и не увидел. Правда, за день до этого уже осмотрел ее подробно на фотографии. Вставшая во весь рост голая Катька, круто развернув торс к снимавшему и задрав голову, что-то дико орала. Глаза ее были полуприкрыты.

Каткиного пихаря видно не было: только шкодливые руки и кабанья с жесткой шерстью нога, в наполовину стянутом носке. Нога, «заплетающая» — как это и полагалось в греко-римской борьбе, — ногу женскую: прекрасную, без единой волосинки!

Катка была вершиной мечты. «Шерстистый» — вызывал досаду и гнев.

— Чья нога? — толкнул ты в бок на большой перемене еще одного школьного приятеля, Виталика Э.

— Чия, чия... Гурикова, конечно!

— Гурик — гнида, — сказал ты уверенно, — Катка с ним за просто так никогда бы не пошла.

— Чيو? А вот скажу Гурику, что ты его гнидой обозвал, — оскалился

Виталик. При этом грубо раздвоенный, знаменитый на весь 8 «б» кадык его заходил вверх и вниз, как у того, кто готовится сделать долгий глоток чего-то резко-приятного... — Гурик тебе враз...

— А вот сейчас тебе за ябеды — по ушам!

— Чио? А ну вали отседа, вместе со своей волосянкой!

Волосянкой Виталик, немея от презрения, называл твою скрипку, которую ты с собой в общеобразовательную школу никогда не брал, но которая раздражала Виталика уже только тем, что вообще когда-то была выпилена из груши и клена. Волос был на смычке, не на скрипке, но Виталика такие подробности не интересовали.

— Ну и чего, что у меня волосянка? А у твоего у бати на голове... рваная портянка!

Произошла безобразно короткая — совсем не такая, как в тогдашних итало-французских фильмах — стычка. Виталик накомстил тебе как третьекласснику, бережно смахнул с фотографии налипшую соринку и, довольный, уселся на подоконник любоваться на Катку и Гурика один.

6

— Баллл-ла-ла-лакирево!

Электричка вечерняя, электричка подмосковная... Ее звуковая картинка совсем не такая, как в электричке утренней: глотающая лак шелупонь, грубо смеющиеся от тоски и безденежья девочки, жалкий треск сопутствующих товаров, вынимаемых из хозяйственных сумок хлопотливыми старичками...

Вдруг — тычок в плечо. Ты очнулся.

— Это-это-это... Принес я!

Слепой держал за уголок желтоватый плотный пакет. Ты дал ему еще тысячу. Слепой тихо сгинул. Смотреть фотки в электричке не хотелось. Ты опять задремал.

7

У «Слепдома» росли два платана и топорщились кизилевые кусты. Чуть сбоку шумела глубокая дренажная канава.

Напротив дома для слепых жил туфтарь и темнила по кличке Мастырка. Так его прозвали серьезные блатари. Туфтарь делал ножички — умереть и не встать! С перламутровой колодкой, с выкидным лезвием. Лезвие выскакивало — жжик-вжик — резко, дерзко!

За такой нож ты и задолжал Мастырке девять рублей. Сумма была неподъемной. Вернуть ее следовало в три дня. И тогда ты решил продать свои ракетки для настольного тенниса. Однако за две превосходные ракетки, с губчатой резиновой прокладкой толщиной в полтора миллиметра, давали всего пять рублей. Четыре рубля можно было занять у слепого Савика. Тот иногда ссужал по рублю, по два.

Савик денег не дал.

Как тот базарный ишачок, потершись спиной о ствол платана, ты поплелся к Мастырке, просить отсрочки.

Открыла жена: дебилая замурзанная баба, непонятно как уживавшаяся с артистичным, без конца сыплющим прибаутками Мастыркой.

— А ты не знаешь? Замели мово Вальку, замели туфтаря мово! Кто-то навел на него. Теперь — мотать ему и мотать!

8

«Туфтарь и темнила» сгинул навсегда, насовсем, а ты у себя в Москве, на Якорной, крадучись, заперся в ванной и вскрыл пакет, полученный от слепого в балакиревской электричке.

Выпали четыре картонки. Они были испещрены коричневыми рельефными значками. Вместе с картонками выпали три фотографии. Две фотки криво-косо показали вагон балакиревской электрички. А третья...

Эта фотка тоже не была отцентрована. Однако на ней, кроме соседа с закутанным горлом и тебя самого ясно обозначилась фигурка девушки. Она стояла вполоборота и для поздней московской весны была одета слишком легко: в полупрозрачную накидку и короткое платьице. Лицо у девушки было смутным, стертым. Что бросалось в глаза, так это острый подбородок и смеющиеся щеки. А вот волосы синевато-белые были видны хорошо: чистые и здоровые, они остро торчали в стороны.

На обороте фотки был косо нацарапан московский адрес.

Следующим же утром ты по этому неблизкому адресу и поехал.

9

Это был адрес не дома, а стадиона! Стадион выстроили только наполовину, но один ярус с просторными подсобными помещениями был готов уже полностью. Вход на стадион охранялся. Ты показал конверт, и тебя без проволочек пустили внутрь. В первой же комнате, внутри яруса, ты увидел девушку с фотки. Стало быть, ничего сверхъестественного не было. Просто в вагоне девушка пряталась у тебя за спиной, и ты ее не заметил.

Волосы у стадионной девушки не торчали в стороны, были пущены вниз слоистым «каскадом».

— Чего пришли? — недовольно буркнула белокурая.

— Конверт... Мне слабовидящий дал в электричке.

— Я сама слабовидящая, — чуть подобрела девушка. — Ну, если дал, тогда вам туда, — кивнула она на дверь слева.

За дверью трое лысостриженных бандюков лениво вовтузили четвертого. Один поднял голову, жмурясь, всмотрелся, подошел, пальцем поманил остальных:

— А давай мы у господина-товарища зрение проверим!..

10

Через час лысостриженный Ярик объяснил мне все! Про жизнь и про слепых, про любовь и про никчемушные надежды. Оказалось: есть те, кому помогли частично излечиться, а есть неизлечимо слепые, есть богатые слепые, и есть слепые бедные.

— Бедные — те вообще ни фиги не видят. Но им сильно повезло. Это как раз про них сказано: «Слепой Бога духом чует». Им и остается — духом чутать! Ну, а тем, кто побогаче, кто теперь хоть вполглаза видит, тем легче. Только

и тут — непруха. Мы чего, блин, узрели, когда прозрели? Грязь и бардак, беспредел и подставы. Тут многим назад, в слепоту захотелось. Ну, чтобы им опять, того, что есть — не видеть. Или наоборот — невидимое узреть. А ты думал мы все тут лохи, ты думал мы тля слепая?

— Да я ведь...

— Глохни! Сам я тоже ни черта раньше не видел. Баб и тех представлял на ощупь... Теперь чуток вижу. Груды у баб — зашибись! И поэтому мне назад, в слепоту, неохота. А некоторым нашим — жуть как хочется! И такие, кто не хочет всего этого бардака видеть, не только между слепыми попадают. Многие зрячие не хотят дерьма вашего видеть! Надоед им — слышь ты? — белый свет. Короче. Умные придумали: опять, как в девяностые, у поляков и китайцев технический спирт покупать, как водочку его разливать, чилийского порошку добавлять, где надо толкать. Людишки слепнут, дерьма, что вокруг, не видят. Им и легче.

— А я-то здесь с какого боку?

— Нам свежие людишки нужны. Ты и сгодишься. Стишки на этикетку, такие, знаешь, броские, в народном духе, сочинишь. Что-нибудь про бодрянку спозаранку...

— Ничего себе картинка. Не боишься рассказывать?

— Так ты отсюда только ослепнув выйдешь. А слепому кто поверит? Только скорей всего — сдохнешь ты тут...

11

У частично излечившихся прожил я восемь дней. Дома наверняка обыскались бы, но преодолевшие слепоту оказались хитромудрыми: позвонили и успокоили. А потом эсэмэсы с моего номера стали отправлять: мол, уехал выступать по программе «Читающая Россия», все хорошо и т. д., и т. п.

Уже на второй день я понял: философия, которой прикрывается прозревший Ярик, — наглый треп. Он и его приятели просто торгуют паленой водкой. Плюс наркоту в пакетиках откуда-то получают и, прикрываясь слабовидением, через посредников кому надо ее впаривают, втюхивают, суют!

Тут, правда, произошло на стадионе событие, от которого охмелел сильнее чем от водки (а ее, паленую, но на вкус вполне сносную, выдавали мне каждый день).

На фотографии, которая пылилась у меня в столе, девушка из электрички стала неожиданно тускнеть.

Жил я на самой верхотуре, под крышей первого яруса. Окна — на ближний лесок. Но даже в этой полумгле было заметно: девушка с фотки исчезает! Может, выпцвает, может, как-то по-другому испаряется. Я крутил фотку так и этак, даже хотел спросить про исчезновение у Ярика — при каждом обращении эта сволочь заставляла звать его мастером-наставником, — но передумал. Решил спросить у белокурой.

— Вы просто слепнете, обожаемый, — пропела та в ответ.

Паленую водку я научился тихо выплевывать. Однако мне и самому иногда казалось: да, слепну! И не потому, что болели глаза. Просто чудилось: я вижу то, чего не видят другие. Скрытые швы действительности треснули, разошлись, и она — действительность — предстала передо мной, как та Катька: блудливо-нежной и резковато-кусачей. И, конечно, жадной до денег, до высасывания чужих мозгов и душ!

12

Фотка стала тускнеть, и я начал внимательней приглядываться к самой девушке. Однажды подсмотрел, как водил пальцем по ее нагой груди один из слепцов: восторженно и осторожно, как будто облачную гору рисовал!

И под этой облачной горой, под весенне-зимней шкуркой нашего бытия вдруг зашевелилось бытие иное: легкое, эфирное, в бульбочках прозрачных тел, в сладких разрывах свободно постреливающих мыслей!

Тут как раз разрешили бегать по стадиону. Ночью, для разминки. Стадион был обнесен забором с проволокой и хорошо охранялся, так что далеко убежать я не мог. Один раз во время пробежки споткнулся. Пригляделся — человек! Спеленутый, как тот кокон. Сперва подумал: это бандосы его так. Но потом пригляделся: под человеком доха, сбоку — сложенное вдвое одеяло...

— Умирать собрался, — буркнул лежавший в ответ на вопрос.

— А тогда доха зачем?

— В дохе, друг, все дело! Доха, она теплая. Одеяла верблюжьи — тоже. Умирать в тепле надо! Когда мне тепло, я ничего не боюсь. И вокруг себя одни ласковые грезы вижу. А вас... Век бы вас всех не видал!

В сердцах пнул я доху ногой, побежал дальше.

На бегу думал: здешние слепые — они неправильные. Те, что пели в электричках, были чище, возвышенней!..

Случай имел неожиданное продолжение. С беговой дорожки стадиона — охраняемого, как во время войны, собаками и автоматчиками — возвратился я поздней ночью. Случайно толкнув чужую дверь, стал свидетелем ссоры.

Ссора слепых — жены и мужа — была бредовой, мутной.

Жена хотела, чтобы муж побыстрее стал зрячим. Тот отпихивался как мог. Полуодетые, теряя друг друга в пространстве, ходили они кругами, а поймав звук шагов и ощупав чужое тело, били тихонько друг друга по плечам туго скрученными целлофановыми мешочками для мусора. При этом жирненькие подбородки у обоих тряслись, как у теряющих спесь индюков.

— Ты обязан прооперироваться!

— Не хочу, не буду...

— Ты должен видеть меня, когда спишь со мной!

— А фигушки. На ощупь ты, стопудово, лучше...

— Тебе не я нужна, а твои дурацкие грезы! Так врач сказал.

— Не такие уж они и дурацкие. Это врач твой дурак.

— Облачные раскладушки и складной стул на небе — это дурацкое, дурацкое видение!

— А вот на небо попадем — увидим.

«Зачем жизнь дается нам в полусне, в грезах? Чтобы скрыть несовершенства мира? Но ведь есть и кроме грез скрывающие мир завесы: не соня ты — так тихоня. Не слеп — так глуп. Не глуп — так честен», — думал я, торопясь найти белокурую, чтобы выяснить у нее все до конца. Но той нигде не было. Тут я догадался: на ночь белокурую куда-то увозят!

13

Катюха шла в магазин игрушек ровно и весело, как зрячая. Как по линейке — мимо кустов кизила и бледнотелых, с надорванными, дразняще

обвисшими вниз шкурками платанов! Как по жердочке — мимо урчащих канав и старшеклассников нашей школы, застывших на месте соляными столбами! Катюха шла и помахивала сумочкой, как та итальянская киноактриса, которую она никогда не видела, но про которую, конечно, слышала много раз.

В магазине Катюха всегда пыталась стибрить какую-нибудь некрупную вещь. Долго выбирала на звук: постукивала костяшками пальцев по деревяшкам, прощелкивала ноготком пустоголовых кукол по темечку.

Два-три раза ты проследил за Катюхиной подготовкой к совершению кражи. Ясное дело, не выдал. Однажды Катюху поймали. Правда, быстро отпустили. Магазины самообслуживания в конце 60-х только открывались, скандала не хотели, да и что возьмешь со слепой?

В тот раз Катюха возвращалась из магазина с украденной куклой. Она и не думала куклу прятать. Видно, считала: кукла принадлежит ей и баста!

Приглядевшись, ты увидел: это не кукла, а повар в колпаке и в белом халате, с раскаленной до красноты сковородкой в руках. Катюха, повесив сумочку на плечо, пыталась на ходу завести повара торчавшим из спины ключом (взяла приготовленную к продаже игрушку прямо с прилавка). Заведя, подносила и слушала, как внутри у повара стрекочет пружина.

Слепая слушала, повар дергался, но крепко ухваченный Катюхой поперек живота, сковородный блин подкидывать не желал. А вот ключ в спине у повара, чуть подрагивая, медленно вращался.

Вдруг ключ упал, мелко дзенькнув о камень. За спиной у тебя и у Катюхи засмеялся Виталик Э. Катюха в сердцах отшвырнула повара в сторону. Колпак с головы у повара так и не свалился. Зато сам он медленно сполз в дренажную канаву, стал тонуть.

14

Ты бесшумно затворил дверь комнаты, где ссорились жена и муж. Звуки стали тише, но все равно было слышно: слепая, сопя, пихает мужа к постели. Судя по басовитому кряхтению, тот упирался, не шел. Вдруг стало ясно: слепые пытаются вернуть себе то, что у них украла жизнь! Упирающийся слепой — небо. Его жена — изукрашенную постель и широкое зеркало на стене.

То же самое и белокурая: она исчезала со своей фотки, потому что хотела исчезнуть из собственной слабовидимой, слабопонимаемой жизни!

Чувствуя: в кармане лежит чужая, ненароком подсмотренная жизнь — пусть даже в исчезающем ее варианте, — ты выхватил из кармана фотку белокурой, порвал в клочки, рассыпал веером, побрел к себе в комнату.

Но потом вернулся, ползая на карачках, обрывки собрал, тихо подвывая, попытался их проглотить, сразу выплюнул...

15

Фотографии — письма слепых. И письма эти предназначены как раз нам: только с виду зрячим, а на самом деле слепым абсолютно. То есть получается: эти письма адресованы нам слепым, а приходят — от них, в слепоте своей полностью прозревших!

«Письма» эти говорят о невидимом, но желанном мире больше энциклопедий, футуристических прогнозов и многолетних планов правительства. Конечно, такие письма-фотографии могут создавать только настоящие слепые,

которые не наживаются на своем несчастье. Настоящие слепые, они ведь только на вид туповаты. Просто они сосредоточены на своем внутреннем мире. А внутренний мир — он не требует бесконечных игрищ лица и жестов тела.

В комнате, перед зеркалом, ты лицо свое успокоил: не в меру дерганное, слишком нервное! А потом, успокоив еще и пальцы, закрыл глаза и увидел свой внутренний мир.

Чистые города! Ясно-зеленые леса! Зеркальные, без морщинки, озера! Так внутренний мир смотрелся издали.

Ажурно-белые, как из точеной кости, ограды, прозрачные люди, дружеские жесты на всем обширном пространстве страны — так выглядел внутренний мир, придвинувшийся поближе. А совсем впритирку — никаких во внутреннем мире слепых и калек! У всех встречных глаза пристальные, мысли веселые. И висят такие мысли рядом с любым и каждым, и слабо покачиваются, как те детские, цветные, чуть сбрызнутые водой, приготовленные для наклеивания переводилки...

Ты открыл глаза. Воображаемая картина сменилась реальной, подсмотренной всего пять-шесть дней назад.

Трое слепых у здания Минобороны, на Знаменке. Поют про войну, про то, что война внутри у каждого из нас. Еще про то, что потерявшие зрение на войне, чуть позже, внутри самих себя — увидели эту войну по-другому:

Кто ослеп на войне
На гражданке прозреет в бреду.
Жизнь, прошедшая, как во сне, —
Подстрелила тебя на лету...

Эти трое — один длинный, изможденный, с бас-гитарой, двое других пониже и поплотней, с крохотным аккордеоном и треснувшим пополам барабаном — пели, не уходили. Хлынул снежный дождь, потом начался зимний ливень. Но они все вели и вели свою песню, не понимая, что их уже никто не слышит, что кроме одного случайного прохожего, никто резких ледяных капель, секущих певцов по губам и щекам, не видит...

Что-то вело, что-то толкало тебя к этой троице! Все сильнее опьяняясь горечью собственной жизни, ты подступил к ним вплотную. Трое слепых, словно чего-то испугавшись, разом, как по команде, бросили петь: сперва басист, потом аккордеонист, за ними — перкашист с треснувшим пополам барабаном...

16

Наша жизнь — как слепое зеркало: тусклое, мутное, трещинки по углам и туман в середине! Только воспоминания и могут это слепое зеркало промыть, сделать чистым, ясным...

Катюха вышла из «Слепдома» быстро, через полчаса. Про заводного повара она, видно, и думать забыла. Теперь Катюха переделалась в фисташковое платье, но при этом ступала так, будто на ней ничего нет.

Ты пошел следом. Вдруг Катюха приостановилась, не оборачиваясь, сказала: — Длинный, нескладный... В школу ходишь... Подскакивай через годик-другой. Любовь у нас будет!

Голос Катюхин был сладко надорванный и хрипло-нежный. Таким голосом можно было наслаждаться и вдвоем, и в одиночку!

Ты отстал. И тут сбоку, из дверей ухоженного парадного выскочил и стал орать что есть мочи полудурок Копытков. Он тоже часто — иногда неделями — ходил за Катькой, но всегда молчал. Только руками показывал, какая, мол, она удобная для соитий, а также для легких побоев после них. Но в тот раз Копытков разорался не на шутку.

— Как в саду! Как Ева в саду, твою мать, выступаешь! А сама — воровка и блядь! Стой, Катька, стой!

Но слепая лишь тряхнула головой и звонче зацокала по камням каблук-ми. Она выровняла спину, чуть крутанула бедрами, и жизнь твоя внезапно разломилась пополам, как спелый плод. Жизнь потекла вниз и вниз, через плотные складки одежды, к черным ложбинкам земли, к сладко клокочущим от весенней грязцы канавам!

Жизнь текла медленно и неотвратно, чтобы через час быть грубо скомканной и выкинутой на мусорку, как тот чулок в «стрелках», который Катюха почему-то не прихватила плотно резинкой и теперь стала снимать его прямо здесь, меж толстых платанов и рвущих тело кустов кизила, беспечно наклонясь, не обращая внимания на полудурка Копыткова, подобравшегося к ней близко, слишком близко, и конечно, ничего не зная про камень, который ты на этого полудурка уже нацелил...

Раз-два-три! Камень-рука-бросок! Вытирающий кровь со щеки и при этом блаженно лыбящийся Копытков. Наотмашь дающая сумкой по морде выскочившему из Мастыркиной конуры шуплому мильтону Катька...

Катька-Катюха. Туфтарь-муфтарь. Копытков-Допытков...

17

Проза — звуковая графика невидимого. Она вычерчивается стремительно, дерзко и никогда не ходит кругами. Однако до времени, еще не произнесенная про себя или вслух, проза слепа: тычется туда-сюда и лишь потом, сама по себе, — прозревает.

Проза слепа. Вера слепа. Слепы наши пальцы и сомнения нашей души.

И душетела наши — они тоже слепы! Вот летят они на уровне третьего этажа и ударяются о жесть и бетон, и хотят уйти выше, но не могут. Потому что держит их припадочно и цепко наша жизнь, да еще наше — шлепающее по клавишам и марающее бумагу всякой чепухой — письмо!

18

Письма слепым вождям.

Письма ниспровергателям слепых вождей.

Письма ниспровергателям ниспровергателей.

Письма в магазины просроченных прав.

Письма в конторы по отмыванию свобод.

Слепые, слепые письма!

Слепым, слепым, слепым.

Шлепок, стежок, штришок.

...штым... штым...

...ок... ок...

19

Все лучшее в нашем мире слепо. И, конечно, слепа любовь. У, блин, как слепа она!

Слепая девушка со своей вдруг проклюнувшейся любовью тебя и спасла.

Она опять стала проступать на фотке. Ты не выдержал, еще раз поймал белокурую в коридоре, спросил про тайное и про явное. Она — не ответила.

Тогда ты рассказал ей про внутреннее зрение. Белокурая рассмеялась:

— Слепой курице — все пшеница...

Но вдруг, обхватив твою шею руками, зашептала:

— Я за тобой неделю наблюдаю! Я помогу тебе, помогу — только не бросай тут меня. За это — буду любить тебя вечно...

Ты легкомысленно обещал.

20

Девушка полуслепая осталась там, где была. Наверное, потому, что ты в любовь белокурой не поверил. А может, потому, что все еще верил в любовь Катюхину.

А со стадионом вышло так.

Приехал на машине слепой. Тот самый, из балакиревской электрички.

— Это-это-это! — запричитал он и стал указывать бандосам на машину.

Трое охранников, выставив поперед себя шокеры, кинулись за ворота стадиона, к аккуратненькому грузовичку-пикапу, на котором слепого и привезли.

Причитавший сделал вид, что бежит за ними, но внезапно передумал, схватил тебя за руку, стал толкать к стене, заставленной листами фанеры.

— Это-это-это... Им все одно конец, а они на тебя... на вас все свалят. Будь проклят китаец Чень!

— Какой еще китаец?

— Который фотоаппарат для слепых изобрел! Нам не фотоаппарат, нам кнут здоровенный нужен. Момзги, момзги, а не глаза, слепота выедает!

Осердясь, слепой что было сил толкнул тебя в спину. Проломив головой гниловатый фанерный лист, ты нырнул в скрытую от посторонних глаз калитку, спотыкаясь о торчащий из наста штакетник, выбрался на дорогу, остановил первую попавшуюся легковуху, попросил отвезти по домашнему адресу...

21

Ранняя, утренняя, сладчайшая слепота! Она во сто крат приятней, чем слепота вечерняя, слепота ночная. Этой полуслепоты, позволяющей видеть то, чего не видят другие, тебе больше всего в последние дни и хотелось.

Засыпая на заднем сиденье легковухи, ты в эту невыводимую, трижды прекрасную и трижды проклятую слепоту мира с головой и нырнул.

Вячеслав Шаповалов

В сиротстве космической ночи

Над планетой кукушек

Назыму Хикмету, крупнейшему турецкому поэту XX века, спустя 45 лет после его кончины возвращено турецкое гражданство...

Associated Press, 06.01.2009

...Летят вразброс над просторами концлагерей
три усталые чайки. Над долгим Срединным морем
«Гео!» — младшая кличет — и доносится с прочих морей
отзыв: «Назым!» И мы ему нынче вторим.
И сын Багдади, дальний из них троих,
запродавший крылья взломщикам касс и мыслей,
молча слушает ветер, привычно бьющий под дых,
полагая, что, где страна, там и мы с ней.
Летят сквозь столетье три чайки — не виден свет,
а в театре теней герои не слышат друг друга.
Маяки погасли — да их и вовсе-то нет.
Умирают цели на карте земного круга.
...Serbest nazim¹ — зазвучало магически имя его
в Бишкеке, в музейном строе бронзовых силуэтов,
и вспыхнуло на лицах злобное торжество
у надменных ректоров турецких университетов
(вечером, когда выпили, я всё же подрался с одним:
сразились, так сказать, за свои убеждения).
...О, ласковая Азия, печальный отчества дым,
дымок кебаба, аромат кофеен, мраморной пены пенье! —
как же вы позволили, Трабзона хрусталь и медь,
остановить течение звёздной реки печальной,
сына изгнать и насмерть дверь перед ним запереть,
чёрной ладонью заслониться от встречи случайной! —
ибо прежде, чем прозвучало «аминь»
жестокой, ледяной, дружелюбной чужбины,
в базиликовом воздухе плакала эгейская синь,
звенела пронзительная полынь анатолийской долины,
откуда бегут перед лодкой рыбацкой вечные три волны,
отчую землю однажды навек покинув,
чтоб тиражировали газеты чужой страны
одиночество рыжего грифа в толпе пингвинов.

Шаповалов Вячеслав Иванович — поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии. Народный поэт Киргизии, лауреат Государственной премии КР, лауреат Русской премии (2013), заслуженный деятель культуры, профессор, доктор филологии. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в г. Бишкек.

¹ Игра слов (*турецк.*): «свободный стих» (верлибр) — «свободный певец».

Нота помилованья в нестройном хоре вестей —
 запоздалая веточка флейты на камуфляжке:
 родины, видите ли, прощают сыновей,
 но родные объятья — смертельно тяжки.
 ...В руинах московских улиц — как в выставшей печи.
 Душа, продрогнув, заворачивается в газету.
 Громяхая по старым трубам, вода в ночи,
 из унитаза прорвавшись, впадает в Лету.

Тёплое лето пятьдесят шестого

я в вагоне славном долго еду среди всех лесов полей и рек
 с папою и мамой в гости к деду что большой и важный человек
 гул вокзал такси толпа людская тёплый дождь прожекторов лучи
 папа говорит была Тверская мама отвечает помолчи
 памяти дошкольной не оспорим где-то здесь кончалась тупиком
 церковь Вознесения Господня улица Станкевича потом
 мягкий вечер наступает тихо мятным ветром тянет из окна
 дремлет москворецкая купчиха дедова кремлёвская жена
 завтра утро красит нежным светом чёрный ангел Крымского моста
 гордо бьётся в ритме невоспетом сердце нашей родины Москва
 слово Сельхозвыставка повисло фото дед в мундире атташе
 ящик под названием Телевизор дом без лифта в восемь этажей
 нет в квартире ни кота ни печки мне не обещают дать ремня
 как близки рубиновые свечи спасско-боровицкого кремля
 Мавзолей опасной силой дышит дед ворчит там демонов приют
 ленин письма мясникову пишет Мясниковы рядышком живут
 за безмолвной стенкою в квартире время за собою затворя
 затаились в коммунальном мире тезоименитцы бунтаря
 дарит мне жюльверновскую книжку умный взрослый Феликс Мясников
 я способный но болтаю лишку молотов-булганин-маленков
 книжка сердцу вечная отрада миру бессловесному укор
 где вы дети капитана гранта океанов синий коленкор
 я поеду к капитану гранту мне отец и мама не указ
 я уже готов к борьбе за правду я уже закончил первый класс
 я спасаю этот мир отныне где томится полная любви
 юная красавица-шахиня что-то там реза-де-пехлеви
 стало веселее жить на свете ночью воронок тебя не съест
 для отца ослабла хватка смерти отпартовал двадцатый съезд
 долг век не вычерпан колодец спёртый страх потерянной толпы
 парочки рабочих и колхозниц тащат золотистые снопы
 над марьинорошиной тоскою гипсовое дыбится весло
 шуруется ведьмачье воровское местное бесхитростное зло
 не ходынку вспомнит бедолага в мутной мглой размазанные дни
 сытое кошунство вурдалака кунцевские редкие огни
 всяк теперь обычною нирваной к изгороди вечной пригвождён
 вождь лежит усатый и румяный рядышком с иссохнувшим вождём
 но похмельно мрачен в мавзолее дедов антибольшевистский зять
 от необратимости зверя обернувшись наскоро назад
 пленены грядущим изобилем смотрят в космос мудрые сердца
 и мужик архангельский под шпилем в небо устремлённого дворца
 мчится в будущее не иначе некий поезд Красная Стрела
 взгляд прикрыв тяжёлый и не плача спит краснокирпичная стена
 и через полвека ах как скоро это станет непонятным сном
 новых юных поколений свора явится к нам с кровью и огнём
 быть тебе счастливу и богату пионер труби в свой звонкий рог

в путь от Верхней Масловки к Арбату где не надобно иных дорог
я уже почти москвич с запасом мой маршрут весь старенький Арбат
сбегай к Долгорукому за квасом мне порою взрослые твердят
улица Станкевича а кто он знает дед не скажет ни хрена
зря ли виден (жребий уготован) Юрий Долгорукий из окна
ах как тянет заблудиться в датах чтобы там остаться навсегда
тёплый свет конец пятидесятих новый мир и юность и звезда
старобольшевицкий неопасный в Раменское в ссылку едет дед
отягчён антипартийной кассой и толпой примкнувших к ней побед
скоро сам к ваганьковскому скиту он по стылой стёжке февраля
двинет хая глупого никиту умницу-косыгина хваля
будущего горькая основа оттепели тихая вода
это лето пятьдесят шестого утро столь короткое тогда
пахнут ветви яблоневым спасом воздух над Москвой-рекой кипит
я спускаюсь к скверу за квасом мимо долгоруковских копыт
голубиный говор тих и гулок и уходят в небо в тишине
старый Вознесенский переулок улица Станкевича во сне

Ночной разговор с эпическим героем

Олжасу

... На скакуне Ак-Куле Он скачет по древней земле,
теряя юных соратников, растратив судьбу свою.
Он полон чужой мольбы, надежд, рождений, смертей,
задыхаясь от чьих-то скорбей. Таким Он пришёл ко мне
бессонной тяжёлою ночью, у бед моих на краю,
и молча забрал мою боль. Но стало ещё больней.
Ночь исполненья желаний молитвой не расколоть —
каменную слезу синей зарницей пролей! —
не всем отзывается Он. И тесен воздух Ему,
в сиротстве космической ночи — черна бесплотная плоть:
— **Зачем беспокоишь, смертный, смерд нездешних кровей,
зачем в чужую стучишься тысячелетнюю тьму?..**
— *В сны принца Шокана врывался ты, каменный исполин,
являлся — белогвардейской юной крови хлебнуть
или демонским слухом внедриться в новые слёзы и смех?*
— **Завет нездешнего мира для всех вас неисполним,
зову я детей кочевья продолжить мой горький путь —
чтоб научились слышать спетое не для всех**
— *С годами грубее камня становится разум земной,
и тот, кто поёт о Тебе, уже извергнулся вдрызг,
да Ты и сам притворился, что спрятался в строки рун.*
— **Но каждый певец воскликнет: Манас являлся — за мной!..**
— *Века воспевают Тебя, побед Твоих горький приз,
но как пульсирует боль в шрамах победных рун...*
— **Да, я прихожу к певцам, вливаю в них древнюю кровь,
в которой гудят напевы и стелется тишина! —
да, в слабую память вживляю события и имена,
ненависть, хмель отваги, жизнь и смерть и любовь! —
да, с ужасом и восторгом растерянная страна
каждой травинкой тянется в грядущие времена!**
...Он скачет чуткою степью на скакуне Ак-Куле,
и гладит серый ковыль обводы медных стремян,
а где-то в аиле голодном малец, не знавший отца,
плача, пробует голос в одушевлённой мгле,
провидит пугающий путь, колких звёзд караван,
где Он воззрится во тьму — отец, не знавший мальчика.

Георгий Гратт

Свинцовый дирижабль

Повесть

Если вы реально замучились гуглить в нете всякие прикольные штучки типа НЛО, снежного человека или, например, историю про свинцовый дирижабль, то вам сюда — вы нашли как раз то, что искали. Но ежели вас вдруг интересует вовсе не дирижабль, а нечто совсем другое — рок-группа с одноименным названием, та самая незабвенная Led Zeppelin¹, то вам, разумеется, в другое место. Я мог бы, конечно, порекомендовать пару-тройку хороших сайтов, так ведь обвинят в рекламе. Поэтому нет, не буду.

Итак, дело за малым — ввести вас в курс тех чудесных событий, которые еще у всех на слуху, потому как случились совсем недавно, в 2008 году от Рождества Христова, аккурат после Пасхи и накануне Дня Победы. А начиналась эта история с двух старых хороших приятелей. Первый из них — Колька-историк, то есть натурально учитель истории, чтобы никаких сомнений. Для того чтоб вам легче запомнить, укажу такую его примету. После каждой фразы, где нужно и где ненужно, вставлял он одно замечательное выражение — «ёптать». Помните, одно время развлекаловка такая была: поет компания какую-нибудь всем известную песенку, а один особо одаренный, утяжеленный застольем, начинает мешать, потешаться, вставлять по ходу свою глупую присказку, например, — «в штанах — без штанов». Ну, и иногда смешно выходило:

Тучи над городом встали /в штанах/,

В воздухе пахнет грозой /без штанов/ и т.д.

Вот и у Кольки нечто подобное получалось. Разумеется, на уроках с учениками он ничего эдакого себе не позволял — вполне интеллигентный человек. Со стороны глянешь, никак не подумаешь. Ну, а промеж друзей — легко. Через предложение. «Идем мы как-то с моей невестой, ёптать, а навстречу мой будущий тесть. И, ёптать, в зюю пьяный». А поскольку это правило выполнялось им неукоснительно, то, чтоб не тратить здесь попусту бумагу и время, я его опускаю, а вы вставляйте мысленно это словечко после каждой Колькиной фразы. Так он вам быстрее запомнится.

Георгий Гратт (Георгий Борисович Воскресенский) — родился в 1954 году в Ярославле, где живет и поныне, работает учителем математики и информатики в школе. По его собственным словам, в писательстве находит исключительно способ самовыражения и занимается им лет с тридцати. В «Дружбе народов» публиковались его повести «Между августом и сентябрем» (2005, № 10), «Тула-Туле» (2006, № 4) и «Скажи мне, мама, до...» (2008, № 2), роман «Земля жаворонков» (№№ 4, 5, 2012).

¹ Led Zeppelin — британская рок-группа, сформировавшаяся в 1968 году. Русский перевод имени — Свинцовый дирижабль.

Что же до второго действующего лица всей этой истории, так это я сам. Ко мне вам, пожалуй, так легко не привыкнуть, да и нет в моем лексиконе таких исключительно замечательных выражений. Ибо кто Колька — и кто я? Всего-то учитель физкультуры. Ему-то не привыкать язык свой оттачивать на всяких там древних греках типа Гамлета или Цицерона. А у меня что? Нормальных снарядов в зале и тех не осталось — ни те брусьев, ни перекладины, одна беззубая шведская стенка. Так чего ж вы хотите? Друзья меня кличут просто Жорик, а ученики — Юрий Иванович. Колька, что характерно, тот тоже Иванович — только Николай. Так что оба мы с ним Ивановичи, это-то нас и роднит, а так... ничего общего. Разумеется, были в этой истории еще и другие герои, но... обо всем по порядку.

Итак, как-то весной появилась в нашем городе одна любопытная афиша, из которой следовало, что знаменитые цеппелины дадут у нас единственный концерт в рамках ежегодного праздника Дня города. Ну, городок-то наш, надо сказать, так себе, заштатный весьма городишко. Не на всякой и карте сыщешь. Откуда бы, спрашивается, тут взяться британцам? Однако в прошлом центр губернии, а ныне — области, впрочем, тоже весьма не звучной. И, как всякий уважающий себя город, имеет он дату собственного рождения, правда, в достаточной мере мистическую, придуманную скорее задним числом, нежели случившуюся на самом деле. Хотя большинство законопослушных горожан в эти круглые числа верят и при случае гордо заявляют о том, что мы-де всего лишь на столько-то столетий младше Христа и почти что ровня Киеву. Ну, и раз оно так принято, то ежегодно этот день рождения и отмечается как День города в первую майскую субботу, когда зацветает черемуха и нерестится щука.

Это я к чему так подробно? Да дело в том, что с этого самого Дня города все и началось. Точнее, с концерта, который задолго до того был разрекламирован на каждом заборе. Ну, скажите, 500 рублей за старых британцев, разве это деньги? Разве не стоят того наши юношеские мечты? Наши многочасовые просиживания возле хриплого радиоприемника в надежде выудить из набитого утюгами (т.е. глушилками, кто не помнит) радиоэфира что-нибудь стоящее. К примеру, тех же «The Beatles» или «Rolling Stones»? Или, на худой конец, CCR — «Creedence Clearwater Revival», а то так и вовсе каких-нибудь третьеразрядных «The Beach Boys»? Да и найдется ли хоть одна живая душа, которая не заслушивалась в те стремные годы «враждебной» музыкой? Не распевала бы душными ночами под гитару «Well, she's the girl in the red blue jeans...»? Уверен, таких не было! А если и попадались, так единицы — не о них речь, и читать им про все это без надобности.

И вот представьте: теплый майский вечер, первая зелень лип, солнце только что село и еще подсвечивает закат алым полотнищем. А на фоне заката пятнадцатизэтажная свечка местного небоскреба — не Лас-Вегас, конечно, но навевает... Стадион-сорокатысячник замер в сладком предвкушении, а там внизу сказка, легенда из далеко-далекого детства. И вот гитара. Еще одинокая, еще каждый щипок различим: па-па-па-па па-да-па па-па-да-па па-па-да-да... Нет, это не позывные Всесоюзного радио, если кто подумал. Не «родина слышит, родина знает...» Для сомневающихся привожу расшифровку: $A_m E+ / G\# C / G D / F\# F_{maj} G / H A_m$. Ну конечно же, именно! Вы угадали! Это трижды благословенная, фантастически гениальная, да чего там — любых эпитетов не жалко — баллада, блюз, как хотите, «Stairway to Heaven»! «Лестница в небеса», если по-русски.

Мы с Колькой замерли, не дышим, даже уши словно локаторы повернули, хотя чего уж там — слышимость превосходная! Колька лишь шепнуть мне успел: «Чувак, а?!», а у самого по щекам слезы. И трибуны затихли, раскачались плавной волной, зажгли бенгальские огоньки. И ритм такой блюзовый вначале, текучий — «There's a lady who's sure...» — но постепенно нарастает, нарастает, уже дорога под гору, и тени обгоняют, и все быстрее раскачиваются огоньки. И вскипает, взрывается на пределе вскинутыми вверх руками — «To be a rock and not to roll»!

Это я так быстро рассказываю, а на самом-то деле минут десять-двенадцать звучит, колет лазерами, стекает туманом со сцены. Басы натурально до иступления заводят, до сотрясения внутренностей. С другими композициями не сравнишь — больше уже не было такого напряжения. Выдохлись старички.

Всю обратную дорогу мы с Колькой проспорили.

— Видишь ли, небесная лестница это такой древний образ, — убеждал он, — еще Мухаммед по ней забирался. Это такой символ, отделяющий мирское от духовного. Ну и понятно, что купить ее невозможно. Можно лишь отыскать в своей чистой незапятнанной душе.

В общем, целую философию на эту тему развел. Нет бы лучше о музыке поговорил, о тонких смысловых нюансах. И через каждое предложение — «ептать». Не забыли еще? Я, естественно, взялся на его занудство ученое.

— Но она-то, — говорю, — то есть эта самая леди — покупает. Значит, возможно!

Тут он мне как пошел про формы глаголов чесать, уши завяли.

— В том-то, — говорит, — и штука, что покупает, а не купила! Покупает — можно понимать как торгуется, сбивает цену. Но никогда не купит, потому что это лишь образ. Его купить невозможно. Купить лестницу в небо все равно что купить благодать.

Да уж, всем бы хороши английские песни, только б не переводить еще. Все эти смыслы и подсмыслы! Только начни — и сразу туфта!

— А вообще-то, меня больше концовка зацепила, где про рок-н-ролл, — улыбнулся Колька.

— Это про «трястись и не откручиваться»? — спрашиваю, — «To be a rock and not to roll»?

— Ну, чувак! Это уже стеб! Зачем же так прямо? Не надо поддаваться обаянию подстрочников. Уж если переводить, то лишь по смыслу. Я бы предложил так: «гнутья, но не сгибаться». Но даже и такой перевод излишен. Здесь важна суть — оставим от рок-н-ролла только рок. Как у Гребенщикова, помнишь: «рок-н-ролл мертв, а я еще нет». Короче, отправим его на помойку вместе с Элвисом Пресли, споем погребальную песенку прошедшей эпохе. Настали новые времена.

Вот такой у нас диспут вышел обратной дорогой.

В понедельник вся старшая школа натурально стояла на ушах. Половина мобильников косила под Би-би-си — ребятки прямо с трибун записывали. И разговоры все вокруг праздника да концерта. Хорошо, у меня с утра только младшие были, а Колька в столовой жаловался — у него 11«А» прямо на уроке дебаты затеял. Ни много ни мало: почему дирижабль свинцовый?

— Вот-вот! — подхватила Надежда, англичанка, — и у меня в десятом та же история!

— Странно, — пожал Колька плечами, — мы в свое время подобными

глупостями не задавались. Ну, свинцовый и свинцовый, подумаешь! Это ж образ!

— Новое поколение совсем другое, — хмыкнула Наденька, — оно должно все на свой зуб попробовать.

А физичка — старая мымра Ольга Михайловна, туговатая на уши, не разобравшись в чем суть, тоже вмешалась:

— Совершенно правильно! И я говорю: что за бред?! Дирижабли, монгольфьеры, воздушные шары, да вообще все летательные аппараты всегда делали из самых легких материалов! Это же всем ясно как дважды два. Ну, какой же вам цеппелин из свинца?! Курам на смех! Даже слушать тошно, насколько же у нас безграмотное поколение подрастает!

Она, видите ли, хоть на концерте и не была — «не хватало еще всяких кривляк слушать!», но возмущена до предела. Нет бы кого из старых заслуженных музыкантов пригласили. Того же Эмиля Гилельса или Леонида Когана.

Колька не удержался прыснуть:

— А чего б не Эйнштейна сразу? Он тоже, говорят, на скрипке поигрывал. Но Ольга Михайловна, к счастью, его не расслышала.

А на вторник 10 «Б» вызвал одиннадцатиклассников на философский бой с той же самой животрепещущей темой: «Способен ли свинцовый дирижабль подняться в небо?»

Объявление об этом красовалось в холле первого этажа вместе со скачанной из интернета фотографией знаменитой четверки.

— Меня десятый класс секундантом своим пригласил, — усмехнулся за моей спиной Колька, и непонятно, чего в его словах было больше — гордости или сарказма.

— А кто тебе оппонирует?

— Белозерцева, — хмыкнул Колька.

Тамара Сергеевна Белозерцева, завуч по воспитательной работе, славилась своим несгибаемым патриотизмом. Могла, к примеру, часами доказывать, что цивилизация зародилась в России и натурально мы лучше всех. Поэтому-то нас все и ненавидят — в смысле как первого ученика в классе. Ну и далее в том же духе. Помимо воспитательных функций несла она на своих плечах еще и неподъемную ношу русской словесности и литературы в выпускных классах. «Где бы были теперь ваши хваленые демократии, ваши Франции-Англии, — любила говаривать она, — без нашей России-матушки? Без Пушкина, без Гоголя, без Достоевского? Так бы, поди, и барахтались до сих пор в своем канале». Под каналом она, конечно же, разумела Ла-Манш, а вот какой исторический отрезок имелся в виду, понять было сложно.

Бой начался с пикировки секундантов.

— Граждане судьи, — поднялся Колька, обращаясь к высокому жюри. — Мы, то есть моя команда, намерены доказать, что свинцовый дирижабль не просто фигура речи, но вполне серьезный летательный аппарат, способный преодолевать любые высоты и расстояния. Засим разрешите откланяться и пожелать нашему противнику доказать обратное.

Как всегда, он был лаконичен. Высокое жюри, состоящее из директора школы Ромадина Льва Захаровича, его заместителя — Беллы Матвеевны Хачатурян и учителя по ОБЖ майора в отставке Петрова, одобрительно кивнуло.

Следом поднялась Мать-Тереза — Тамара Сергеевна.

Откуда к ней прилепилась такая кличка, никто уж и не помнил. Может, по

созвучию с собственным ее именем, а может, по какой-то другой неведомой причине. Как обычно, она начала издалека:

— Когда-то давно у нас была огромная прекрасная страна, и все мы в ней жили дружно и весело, как одна большая семья. Но некоторые — я не снимаю вины и лично с себя — поддались тлетворным западным мифам, поддались обаянию буржуазии. И посмотрите, что с нами стало теперь.

— Давайте все-таки поближе к теме, Тамара Сергеевна, — не поморщился, а, как бы вам это сказать, несколько конфузливо улыбнулся директор.

— А я как раз и говорю близко к теме, — парировала она. — Что означают все эти свинцовые дирижабли? Игра слов и не более. Это попытка сбить нас всех с толку, заставить принять чуждые нам ценности. Спасибо, мы уже научены горьким опытом. Я уверена, мы в пух и прах разобьем сегодняшних оппонентов. Сухого места от них не останется! — тут она грозно вскинула кулачок и проскандировала: — Россия, вперед!

А ее одиннадцатый класс дружно подхватил этот клич.

Ну, надо хорошо знать нашего Кольку, чтобы понять, насколько эта бравада на него не подействовала. Мы-то с ним еще по институту пересекались, правда, в те годы дружбы особой не было. Он все больше с инязовскими толкался. Шутка у них тогда бытовала такая на центральном бульваре — Бродвей, по-ихнему — с любой дуры спесь сбивало на раз:

«Девушка, а девушка? А вы животных любите? Посмотреть не желаете?»

«Люблю! А каких?»

«Ну, у нас диковинные животные — сперматозавры!»

Представляете? И это когда даже слово «презерватив» было едва ли не под негласным запретом!

Вот и теперь, дождавшись конца скандирования, Колька насмешливо фыркнул и негромко, но вполне отчетливо произнес:

— Вперед ногами.

Признаюсь, даже меня порой он ставил в тупик своими прямолинейными высказываниями. Не забуду, как на двухсотлетие Пушкина на конференции в актовом зале, где были не только наши, но и завроно и еще другие высокие гости, он продекламировал: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше выглядим верблюдом», ну и еще что-то в эдаком духе. Я провалился в кресло, как в унитаз, а спереди один из гостей шепнул на ухо директору: «Хорошие у вас учителя, коллега, — так тонко ценят поэзию». Кажется, это был зам мэра по культуре. «Понимаешь, чувак, — объяснял мне потом Колька, — девятнадцатый век это такое притворство, что в любви, что в политике. Мир уже давным-давно живет по-другому».

Вот и теперь его ремарка зажгла аудиторию.

— Это возмутительно! — взорвалась со своего места Белозерцева. — Таким людям не место на нашем диспуте!

— Успокойтесь, — постучал своим председательским молоточком Лев Захарович. — Давайте не будем нарушать регламент. Николай Иванович просто пошутил.

Ну, и Мать-Тереза вынужденно проглотила пилюлю, хотя еще долго после этого не могла успокоиться.

На выход к барьеру Миши Смирницкого, победителя городского этапа физической олимпиады, она ответила вызовом Катеньки Лактионовой, отличницы, которую все учителя дружно тащили на золотую медаль. Миша уступал

ей в росте на целую голову, но держался так, будто он как минимум маэстро Слава Зайцев, а она всего лишь очередная бестолковая модель.

— Один древний ученый убедительно доказал, что вес вытесненной телом жидкости равен весу самого тела, — безапелляционно проговорил он. — Тот же самый закон касается и газов.

— Ага, а стальной шарик при этом тонет, — гордо заявила отличница, типа — я сама знаю, как носить это платье.

— А стальной корабль плавает, — спокойно возразил Миша.

— Но корабль это как бы не совсем тело, — занервничала Катенька, — то есть я хочу сказать, он не целиком из железа.

— Он может быть целиком даже из золота, — все так же спокойно давил Миша, — и все равно будет плавать.

— Что-то я о таких кораблях не слышала. Целиком из дерева — сколько угодно! — она тряхнула копной своих роскошных волос и с победным видом повернулась к своим, заслужив аплодисменты.

— Ты когда медаль получать будешь, проверь, может, она тоже не золотая, а деревянная, — дождавшись тишины, бросил ей в спину Смирницкий.

Зал взорвался хохотом, а красавица-отличница Катенька оступилась как на подвернувшемся каблуке. Разумеется, у судей даже споров не возникло о том, кому присудить первое очко.

Следующим оппонентом Тамара Сергеевна вызвала Игоря Котляревского. Колька же, посоветовавшись с командой, решил оставить на сцене Мишу. Черт его знает, но мне такое решение показалось провальным. Холеный нагловатый Игорь против щуплого маленького Смирницкого — убить не убьет, но покалечит.

Катенька закатила глазки школьному кумиру:

— Вмажь этому зазнайке, Игорек! Он меня достал, хуже некуда!

— Так, говоришь, кораблик из золота? — ухмыльнулся тот первому победителю. — А насколько рентабельна эта затея? — так начал он свою атаку.

— Разве здесь кто-то говорил о рентабельности? — пожал плечами Смирницкий.

— Да ладно, расслабься! Я и не настаиваю. Просто давай представим себе два корабля: один стальной, а другой из свинца, допустим. Оба сделаны один в один — одинакового размера. И допустим, свинцовый еще не тонет. Есть у него еще запас плавучести. Так вот, на стальной можно загрузить сколько-то сотен тонн груза. А свинцовый и сотня потопит. Потом, скорость. Во сколько раз стальной быстрее пойдет, чем свинцовый? Ну и наконец, стоимость. Правда, я как-то не слежу за ценами на свинец. Нефть там или золото это пожалуйста — на любой день котировки. Ну, положим, свинец чуть-чуть подороже будет. Так вот и спрашивается: на кой мне черт корабль из свинца делать, если он груза берет меньше, ходит медленней и стоит к тому же дороже? Где тут логика? Нонсенс!

— Ну, логику-то мы вроде тоже не трогали, — пожал плечами Миша. — Но если ты настаиваешь... Ладно, давай так. Скажи, твой отец на какой тачке ездит?

— «Бентли Континенталь» 2006 года, — не задумываясь, выпалил Котляревский.

— А ведь мог бы и на «мерседесе», правда? Или на «фольксвагене»? Скорость не меньше, а вместимость, пожалуй, и больше. Я уж про стоимость не говорю.

Игорек даже опешил, язык проглотил от неожиданности. Наверное, живо представил, как его папаша рассекает на «фольксвагене» на какой-нибудь там совет директоров.

В общем, второе очко тоже осталось за десятиклассниками.

Тут уж Мать-Тереза не вытерпела, сорвалась:

— Да что ж это такое, в самом-то деле?! Ну, глупость же! Глупость! Бред! Ведь все ж понимают прекрасно! Ну какой там летательный шар из свинца?! Чертовщина какая-то!

И опять ее оборвал молоточек председателя, а Колька в очередной раз поддел:

— А вы докажите!

После чего началась склока, и весь регламент натурально полетел к чертовой матери. Кто только и чего не кричал! Даже Лев Захарович вынужденно вмешался в общий гвалт, а потом и вовсе распустил собрание. «Лучше надо готовиться к мероприятиям!» — выдал он всем напоследок.

На этом, очевидно, все и закончилось бы — на носу экзамены, конец года, чего уж тут препираться о какой-то ерунде? К тому же Наденька, англичанка, ошарашила нас всех новым известием: она, видите ли, самолично в родной газете вычитала, что наши заезжие британцы — туфта, подстава! Мол, настоящие цеппелины сидели себе тихо-мирно на своем острове и знать не знали ни о каких гастролях. В общем — обычное дело. Подумаешь! А Колька, тот даже расстроился. «Что ж это, — говорит, — вы, Наденька, всю пенку сдули? В пиве ведь самое сладкое — пенка! Мечта! А вы раз — и фэйсом об тэйбл! Обломали, как сирень во дворе».

Но нашелся один «пионер», в смысле такой же упертый или упрямый, который на совете старшеклассников так прямо и заявил: а чего, мол, мы спорим? Давайте такую штуку реально отгрохаем, то-то весь мир припухнет — никто ж до сих пор не додумался!

Сперва на него как на идиота посмотрели. Одно дело — болтовня, ну, типа всякие теоретические рассуждения. Ни к чему не обязывает. И совсем другое — чего-то эдакое соорудить. Да и возиться еще... — была охота! А «пионер» этот, то есть Толька Павлычев из десятого «В», он еще с младших классов изобретательством прославился. То он движущуюся дорожку предлагал проложить в коридорах, вроде горизонтального эскалатора — из класса в класс ездить, то бассейн на крыше устроить — при случае и пожар потушить можно. В общем, много у него всяких полезных затей было. Кто знаком со школьной иерархией (да практически все), знает, что в этих «В»-классах еще и не такие самородки закопаны. И папаша его, известный всему городу Кулибин, тоже не просто так пешком ходил, а рассекал по улицам на четырехколесном велосипеде собственной конструкции.

Так вот на папашу-то он все и давил. Мол, у них в конторе — бывшем «почтовом ящике» — полным-полно всякого свинцового пластика завалилось, просто девать некуда! Как гуталина на гуталиновой фабрике. И главное, тяжелый как черт! Раньше-то заказ был для изоляции на подложках, а теперь никому и не нужно стало. Его, мол, утилизировать — себе дорожке, так и пылится на складах. Да и вообще, они с отцом давно уже все обсудили.

Ну, тут за эту идею Белозерцева ухватилась обеими руками. Она уж и забыла давно, какую точку зрения раньше отстаивала. «А что? — говорит, — и правильно! Надо охватить делом! Вот мы все: "Воспитание! Воспитание!" А оно

как раз в этом и состоит! Надо, — говорит, — чтоб у всех одно общее дело было! Сбор металлолома, к примеру, или помощь старушкам». А насчет генерации разной деятельности, Тамара Сергеевна что вечный двигатель — только в столовую отлучится за винегретом, и опять как новенькая!

Одним словом, пригласили этого Кулибина в школу и нечто вроде военного совета устроили. Чтобы из этих стен ни-ни! Надо же, такое ноу-хау! При случае какие ж дивиденды можно состричь?! А то придумывать у нас — мастера, а делают почему-то у них — несправедливо! А тут такой бренд! Во-первых, ни у одной школы нет собственного дирижабля. А во-вторых, чтоб свинцового — так и вовсе ни у кого в мире! И вот что странно, вопрос — полетит, не полетит — как-то сам собою отпал. Никто уж им больше не задавался.

— Да уж!.. — многозначительно проговорил Колька, — утрем нос Керзону!

И закипела работа! До нас, то есть до школы, лишь отголоски ее долетали. Как порешили на общем собрании, каждый из старшеклассников, кроме выпускников, обязан был по пять часов отработать на общее благо в этом самом то ли НИИ, то ли КБ, то ли просто «почтовом ящике». Умные ребята сразу сообразили свою пользу: «А можно вместо уроков?» И добрейший Лев Захарович, конечно же, им разрешил: «Можно, если слово "вместо" заменить на "после"».

А слухи долетали самые противоречивые. Один прибежит, скажет, что там еще и конь не валялся, другой — что дело уже на мази и вот-вот полетим. И каждый по-своему красочно живописал рождающегося монстра:

«Это как футбольный мяч размером с футбольное поле!»

«Это как нильский крокодил, сожравший всех египтян!»

«Если эта штука взлетит, то во всей Европе наступит солнечное затмение!»

Лев Захарович потирал в предвкушении руки и набрасывал тезисы будущего кандидатского минимума: «Новые формы работы в воспитании школьного коллектива». Белла Матвеевна судорожно искала спонсоров и отбивалась от назойливых звонков из РОНО, типа: «Чего это вы там затеяли? Почему не согласовали? Что за несанкционированное мероприятие? Занимайтесь лучше учебной работой!» А Тамара Сергеевна мучительно листала классиков, задавшись злободневным вопросом: какой такой неведомой целью оправдано извечное стремление человечества в небо? И никто в трезвом уме не подумал: а ведь если летательный аппарат, так надо ж куда-то лететь? Ведь ни для чего другого он и не предназначен!

И вот, как-то в разговоре с Колькой я решил поднять эту тему.

— Да ладно! — отмахнулся он, — ты это всерьез, что ли? Или приколоться решил?

— Ну... как тебе сказать? Почему бы и не помечтать маленько?

— Можно, например, в Москву слетать, отвезти президенту петицию о подъеме зарплаты, — деловито предложил мой товарищ. — А что? Бывало, к Ленину тоже ходоки захаживали.

— Можно даже его самого покатасть над Красной площадью, — поддакнул я. Колька в ответ прыснул:

— Это как у Сусанина, что ли? «Пойдемте, Владимир Ильич, погуляем...»

— Наверное, у нас еще ни один президент на дирижабле не летал, как думаешь?

— Не царское это дело над площадями порхать. Ему и с мавзолея все видно.

Мы еще немного поржали над этими воздухоплавательными утопиями, а ровно через неделю та же самая тема была вынесена на педсовет для обсуждения.

— Надо лететь туда, куда еще никто никогда не летал, где ни разу не ступала нога человека, — размечталась Клавдия Ивановна, учитель географии, задав тем самым необычайно высокий градус дискуссии. — К сожалению, в наше время уже не осталось на карте белых пятен, все изучено вдоль и поперек. А вот в нашу бы молодость, да такую-то штуку! — закатила она глаза. — Сибирь! Аляска! Австралия! Антарктида! Лети, куда хочешь — в любую сторону!

— Ну, мы с вами не в русском географическом обществе, — осадил ее на грешную землю Лев Захарович. — Нам надо решить конкретную выполнимую задачу. А все эти фантазии... в общем, давайте обсуждать серьезно.

Клавдия Ивановна сложила из губ две параллели и больше не произнесла ни слова. Обиженно замолчала, присев на край стульчика.

А следом не вытерпела, вспорхнула математичка Филаретова, злобная, как бестия, и вечно незамужняя.

— Да что вы на самом-то деле, с Луны свалились?! — спустила она собак. — Какие еще полеты?! Вот вам РОНО крылья-то пообрежет! У людей экзамены, а у них прожекты одни на уме! Воздухоплаватели, тоже мне!

Лев Захарович нахмурился.

— У вас есть что сказать по существу? А если нет, так и помолчите! Как за нагрузкой, так первой бежите: дайте то, дайте се! А как общественный вопрос обсудить, сразу же отговорки. Сдадут экзамены и без вашей суеты, как всегда сдавали. Эка невидаль — экзамен! Мы сегодня поважнее дела обсуждаем. Ну... у кого есть предложения по сути дела?

— Разрешите? — поднялся майор Петров и привычным движением оправил пиджак, выровнял галстук по вертикали. — Я, это, думаю вот что. Надо, значит, по местам боевой славы. Мы вот каждый год, это, ветераны приходят, а тут, понимаешь, кого спросить: Сталинградская битва, сынок, где была? А он смотрит как на новые ворота, значит. И что ты думаешь? Ну, то есть не знает, где такой город. Вот. Я, правда, и сам по карте искал в прошлом году. И карта хорошая, за двести рублей покупал. И что б вы думали? Не мог, значит, найти. Где ж ты, думаю, пропал?! А ведь какие бои были! И ведь стыдно, понимаете, ветераны рассказывают, а этим хоть бы хны! Смеются...

— По местам боевой славы это, конечно, хорошо, — вызволил нас всех из неловкого оцепенения директор. — Только ведь надо определиться, куда именно?

— А чего это вы вдруг про войну вспомнили? — не утерпел кто-то из англичанок. — Что ни год, все одно и то же, одно и то же.

— Так ведь, это вот... праздник недавно отмечали, — смутился Петров, — а никто и не вспомнил, значит...

— Мы и Пасху еще отмечали недавно, — выкрикнула все та же англичаночка.

Вот ведь, совсем вылетело из головы ее имя. Вроде, Наташа. А может, и не Наташа. Лохматая такая, как кошка, которая устала приводить себя в порядок.

Ну, тут натурально лай поднялся меж женщинами:

— А при чем тут Пасха?!

— А при чем тут война?

— А чем вам наша победа не угодила?

И так далее...

И вдруг на защиту этой Наташи — не Наташи поднялась, вот уж никогда б не подумал, сама Белозерцева.

— А что, — говорит, — Пасха это хорошо. Мы с вами сколько лет в безверии жили? Сколько лет нашу веру топтали? Оттого и поколение такое растет — без веры, без идеалов, без любви. Вот и с победой тоже: думаете, она без веры далась? На одном атеизме далеко не уедешь. Недаром иконой Божьей Матери три города обносили — Ленинград, Москву и Сталинград, и все три так и не сдались врагу. По указу Сталина, между прочим. А вы тут спор великий устроили. Не стыдно? Нам бы вот в святые места слетать, к истинной вере приобщиться...

— В Иерусалим, к примеру, — вставил свое первое слово Николай Иванович, то бишь Колька.

Поскольку он сегодня был при параде — в пиджаке и в диагональную полоску галстук, то и называть его Колькой язык не поворачивался. И чего бы ему Мать-Терезу задевать? Глупо ж, ей-богу! Приставал бы лучше к англичанкам, они хоть молодые, симпатичные. Но та восприняла все на полном серьезе.

— Зачем же нам чужого бога искать? В Иерусалим летать какой-то. У нас свой русский бог есть — Иисус Христос истинный и нерушимый, — возразила она.

— Правда? — усмехнулся Николай. — И что ж, он у нас какой-то особенный? Отличный от всех остальных христиан?

— Вот именно! Именно — особенный! Уж в вашем-то возрасте такие вещи пора бы и понимать! Вы посмотрите на западную культуру, чем они нас пичкают — какая музыка, какое кино?! Полнейшая вседозволенность! Они молятся дьяволу и мамоне. Истинный бог Иисус Христос остался только в нашей русской церкви.

— Ну, ладно еще кино, соглашусь. Нам хорошего-то и не показывают. А уж музыка-то чем вам не угодила?

— А вас, значит, устраивает? Все эти Мадонны... танцы вокруг шеста? Тьфу! — мне показалось, она и впрямь плюнула. — То ли дело Кобзон, Пугачева...

— Так вы это музыкой называете, что ли?! — упирая на слово «это», рассмеялся ей прямо в лицо Николай. — Вообще-то, у такого рода музыки есть более точное обозначение — попса.

— Уж не знаю, какая там попса — не попса, а только мы с детства заслушивались этой музыкой, учились на ней. И какие имена были! Клавдия Шульженко! Муслим Магомаев! Лев Лещенко!

— А как же Рахманинов? Бородин? Или тот же Чайковский? — не унимался Колька.

— Ну да, Чайковский. Я же и говорю — «Танец маленьких лебедей».

— Вы хотели сказать «Лебединое озеро»?

— И «Лебединое озеро» тоже. Мало ли у нас замечательных произведений?

— Понятно, — хмыкнул Николай, — ну а западные авторы вам, стало быть, не по душе?

Я все ломал голову, куда это он клонит? Чего добивается от Белозерцевой? И вот ведь что странно: почему-то Лев Захарович его не прервал, не сказал, что «не в тему». Иногда мне вообще казалось, он благоволил Кольке или так же как многие недолюбливал Мать-Терезу? И другие слушали, затаив дыхание, ждали, чем закончится схватка.

— Ну почему же? — смутилась Тамара Сергеевна. — Прежде у них тоже была неплохая музыка, пока эти ваши битлы не явились.

— А вот тут, Тамара Сергеевна, разрешите вам как ученому соседу запянуть поставить! Музыка, чтоб вы знали, это всегда поиск бога. Я, конечно, имею в виду не попсу, не то, что раньше звалось эстрадой. Речь о серьезной музыке. Так вот, многим не нравится, как ищут бога другие. Им кажется, они единственные, кто знает к нему дорогу. В их словах, в их мыслях об этом сквозит некая зависть — «почему вы не спросите у меня?» Они никак не могут понять одного: бога не ищут толпой; у каждого к нему своя отдельная дорога...

— Понимаешь, — объяснял он мне уже после собрания, — двадцатый век, его и не поймешь иначе, как через Христа. Еще в начале столетия думали, — бог это такая неизменная штука вроде швейной машинки «Зингер». И вдруг обвал, лавина — все новое, новое, новое закружилось. Не успеешь приспособиться, как что-то уже поменялось. А если ты не успел, то безнадежно отстал — крутишь свою старенькую машинку. Думаешь, жили же как-то наши родители, никуда не спешили, воспитывали детей... почему и тебе не жить так же? Ан нет, что-то гложет, не дает усидеть на месте. Вдогонку бросаешься...

— А при чем тут Христос? — не понял я.

— Чего же тут непонятного? Люди вечно ищут бога. Кто-то в церкви, кто-то в вине, кто-то в искусстве. В музыке, к примеру. Смотри, девятнадцатый век, классика. Все стройно, уверенно, взвешенно. Одна нота следует из другой как из яйца птенец. И вдруг какофония: здравствуй, двадцатый век! Господь не может быть логичен. Гершвин говорит, — а попробуйте-ка теперь вот этого! И как всегда, если сперва неприятие, то уже через поколение — привычная музыка, а через два — классика. Сын просит: «Папа, сделай приемник погромче, это же "Американец в Париже"! Клевая мелодия!» А внук усмехается: «Фу! Тра-ля-ля какое-то старомодное! Разве может быть в этом господь?» И он уже ищет свое, ни на что не похожее, от которого у стариков волосы встают дыбом. Рок сменил рок-н-ролл, как сотовый телефон — обычный. А тебе говорят — танцы с шестом. Но это же совсем другая история! Есть художники, а есть «налетай, не ленись, покупай живопись». Разве можно все валить в одну кучу? Белозерцева!..

«Ёптать» в этом монологе удавалось ему особенно смачно.

Кстати, вопрос на собрании так ничем и не закончился. Чтоб уж совсем не сесть в лужу, Лев Захарович предложил под занавес проголосовать за какой-то северный монастырь (Наденька, англичанка, туда на байдарках с друзьями каталась). Ну, и как у нас принято, проголосовали единогласно.

Всю следующую неделю школу колбасило. С одной стороны — экзамены, а с другой — в конторе вовсю шли испытания: грузоподъемность, аэродинамические качества и все такое... Белозерцева металась с какими-то списками от учительской к кабинету директора и обратно, а в столовой каждую перемену шли горячие обсуждения будущего мероприятия.

— Не понимаю, что это за дирижабль такой на одиннадцать человек?! — возмущалась физичка. — Делали б сразу нормальный. А то опять только для избранных получается. Вечно у нас все не по-людски.

— Ольга Михайловна, а вы забыли, с чего началось? — вмешалась Зинаида Андреевна, наш школьный психолог. — У них и материала-то другого нет, кроме свинца. Много ли на нем увезешь? Себя бы, дай бог, доставить, любимого.

И тут же с ней сцепилась химичка:

— Ну что вы болтаете глупости! Никакой не свинец, а оксид свинца. Почувствуйте разницу! Это совершенно другое вещество!

— Оксид там или не оксид, а только людей-то он больше от этого не поднимет.

— Разве?! А вы в курсе, что у него совсем другой удельный вес? Или вас, Зиновья, только название интересует — плюмбум?

— Что вы как бабки базарные прямо! — перекричала их всех Белозерцева, заскочив на минутку за своим винегретом. — Кого выберут, тот и полетит. Не забудьте, надо еще и выпускников отличившихся взять, чтобы осталась светлая память о школе. А в следующий раз полетят другие. На всех хватит.

— А двоечников брать будете? — полюбопытствовал я. — Или опять только отличников и хорошистов?

Белозерцева сделала вид, что не расслышала, ну, а Кольке дай только повод лишний раз похахалиться.

— Непременно возьмем! — говорит. — Но только в виде балласта на случай непредвиденной аварийной ситуации. Ежели чего — сразу за борт.

А ведь уже тогда знал, редис, поименно весь список. Нет бы намекнуть хоть словечком.

И вот через пару дней вызывает меня директор. Физиономию такую скроил — мама, купи мне надувной барабан!

— Ну, что, — говорит, — Жорик, готовься в длительную командировку денёк эдак на три, на четыре. Сам понимаешь, кого мне еще посылать? Не баб же? Так что на пару с Николаем Ивановичем и полетите, он за старшего. К тому же ты мужик сильный, случись чего...

— Случись чего? — спрашиваю, — на себе всех повезу, что ли?

— Да ты пойми, я бы и сам рад, так не разорваться же. А ты у нас еще и кандидат в мастера спорта к тому же.

— Так ведь по лыжам, — говорю, — не по полетам на пушечном ядре. И вообще, у меня жена, дети...

— Ну, ничего, ничего, — успокаивает, — тебе зачтется. Мы тебя как Гагарина встретим!

Ладно, думаю, черт с тобой! Попросишь у меня в следующий раз эстафету бежать за старшеклассников!

Вот так я и попал в отряд космонавтов. Полагаю, весь список не шибко вам интересен. Скажу лишь, что и Смирницкий, и Котляревский, и Катенька Лактионова в него вошли и, разумеется, Кулибин-младший, то есть Толик Павлычев из десятого «В». Об остальных — в свое время. Кстати, Мать-Тереза, которую неожиданно оставили за бортом, кляла всех последними словами. Как же, ее-то — главного инициатора миссии, главного зачинщика и не пригласили! Более того, в самый последний момент вычеркнули из списка! Особенно перепадало Льву Захаровичу. Как шутил Колька, наверное, Троцкий так костил Сталина на далеком острове Принкипо в Мраморном море.

Собирали нас, как челюскинцев прямо: изюм, шоколад, орехи... Кулибин сказал, пища должна быть калорийной и не тяжелой. Кстати, он же и за пилота летел — на все руки мастер! Одним словом, агент 007 да и только. Доставили на школьный двор и нашего монстра, разложили. Ну точно — освежеванный кит, и не простой какой-нибудь, а доисторический: белоснежное брюхо и серый верх, а по площади — аккурат всей школе построиться. И пока его еще не надули,

смахивал он на опустившееся на землю облако. Вылет запланировали на следующий день после выпускного.

Что такое школьный выпускной, надеюсь, все помнят? Не корпоративная пьянка, конечно, — без мордобоя, но народ отрывается. Позволяет себе за целый год воздержания. Мы с Колькой налегали все на шефский коньяк, ну а дамы по сухому да по шампанскому ударяли. А как уж там гуляла молодежь, то есть эти самые выпускники, особо никого и не интересовало. Пыталась, было, Мать-Тереза вмешаться, наставить их на путь истинный, что-то вроде лекции о вреде курения и алкоголизма затеяла, но хватило ее ненадолго.

Она и нами пыталась дирижировать: то ей хоровое пение подавай — «Взвейтесь кострами...» или «Широка страна моя родная», то игру какую-нибудь дебильную в испорченный телефон. Но народ ее затеи явно не вдохновляли, тем более, ну чего там? — каждый выпуск одно и то же, одно и то же. Так что когда она ретировалась, все облегченно вздохнули и пьянка пошла веселее. Старички вроде Ольги Михайловны тоже долго не засиделись, потянулись следом за ней. Под конец остались лишь мы с Колькой да молоденькие англичанки. Тут уж мы во всю ширь развернулись. Для начала затянули нашу любимую застольную «Ten green bottles hanging on the wall»¹, потом еще «Yesterday», а после уж и не помню.

Очнулся, когда наутро поднимались на борт нашего звездолета. Я ли опирался на Колькино плечо или он на мое, но только шли мы в обнимку. Помню еще, толпа вокруг собралась, глазела, и оркестр наяживал «Прощание славянки», а может быть, «Встречный марш» — не зацепило как-то. Провалился в мягкое кресло и good buy. Успел лишь краем глаза отметить, что полетели, но больно уж низко, на уровне пятых этажей — и опять в аут.

Сколько часов продрых, не знаю, но, наверное, немало. Окончательно разбудил меня спор соседей, точнее — нелепый вопрос, про который я не мог сказать определенно: услышал ли я его наяву или же он мне приснился? Мне показалось, его задал Ленька Феклистов из 10 «А», а звучал он так:

«Знаешь, чего не хватает трехрукому Будде? Четвертой руки!»

И что это за трехрукий Будда? Ну, действительно, разве такие бывают? Согласитесь, любопытство отнюдь не праздное, учитывая мое особое, сверхчувственное состояние. Я бы, например, с удовольствием попил водички, а мне взамен предлагали поломать голову над загадками мирового бытия.

Вообще-то Ленька мне нравился. Как спортсмен, разумеется. Никто не бежал километр быстрее. Нынешнее поколение не сравнишь с нашим — хиляки! А на лыжи так прямо аллергия какая-то. А Ленька, он той еще — старой закалки. Если уж встал на лыжню — кранты! Никому не уступит!

Так значит, он еще и философ. Надо же! А спорил он, как оказалось, с Игорем Котляревским, потому что следом я услышал его голос:

— Ладно, старик, расслабься! У папы хватает денег, чтобы о них не думать.

— Может, он и не думает, но ведь считает? — не сдавался Ленька.

— Конечно, считает! — самозабвенно проговорил Игорек. — Позавчера, например, до пятнадцати лимонов дошел и спекся. Спать завалился.

— Правильно! — упрямылся Ленька. — А кто-то за то же время до ста пятидесяти сосчитал. Не может же твой папаша об этом не думать?

¹ Английская народная песенка: «Десять зеленых бутылок висит на стене. Если одна случайно упадет и разобьется, на стене останется девять зеленых бутылок...», потом восемь, семь — и так пока не останется ни одной.

— Господа миллионеры! — нетерпеливо перебил я. — Кто-нибудь поможет бедному учителю не умереть от жажды? Глоток минералки очень бы не помешал...

— Разумеется! Конечно! Учитель это святое! — хором закричали те и бросились куда-то в глубь салона.

Тут я в очередной раз убедился, что мы действительно летим, а значит, все это мне не приснилось. За окошком медленно проплывали верхушки елей, таких же величественных как у нас на главной площади перед театром под Новый Год.

В салоне все сладко дрыхли. Народ отходил после вчерашнего. И даже Колька, наплевав на свои обязанности руководителя, откровенно храпел, привалившись головой к подлокотнику. Ребятки — Ленька и Игорек — при моем пробуждении смолкли, может, исчерпали тему? И от нечего делать я принялся разглядывать судно. Правда, смотреть было особенно не на что — салон чуть больше микроавтобуса. В задней части две дверцы с вполне определенными надписями: «Туалет» и «Хозблок» — вот и все интересы. Оставалась кабина пилота, и я решительно дернул ручку.

— Мое почтение гениям авиации! — как можно с большим пафосом произнес я.

Кулибин, то бишь Павлычев-старший, обернулся. Он был в очках-консервах и кожаном шлемофоне, такой а-ля Антуан Экзюпери.

— Добрый день, — кивнул он. — Уже выпались?

— Угу, — кивнул я, протягивая руку для знакомства, — Юрий Иванович.

— Сергей Ильич, — ответил он. — Можно просто — Серега.

— А меня — Жорик, — улыбнулся я. — Клевый прикид, Серый, — похвалил я его летное снаряжение. — Жена шила?

— Это дедовский еще. Он в Отечественную на «аэрокобре» воевал.

— А мой — в пехоте, — уныло проговорил я, — а там голяк... саперную лопатку тащить с собой, что ли?

— Мой еще унты домой привез и куртку кожаную. Знаешь, такая короткая, типа «аляски». Я бы надел, но она на медвежьем меху — жарко.

— Здорово! — заценил я. — Помню, девки на такие рыжие куртки косяком шли.

— Угу! — подтвердил он.

Мы еще с ним поболтали немного о войне: о достоинстве русских сапог в сравнении с американскими ботинками, о стали на армейских ножах, об амуниции, и только я собирался спросить, что он думает о форме союзников, как в кабину ввалился Колька.

— Здорово, мужики! Третьим примете? — ухмыльнулся он. — А что? — и заглянул в фонарь лобового стекла. — Вполне удачное сценическое решение: три навигатора над картой родины в натуральную величину. Кстати, а че так низенько-то? Так только крокодилы летают. Как бы брюхо себе не проткнуть!

— Не хватает тяги, — пожаловался Серега.

— А... — протянул Колька, будто бы понял чего.

Впрочем, может и понял, он же автомобилист. А вот я так ни черта не понял.

— Это как у подлодки — нулевая плавучесть, — пояснил Сергей. — Даже правильный курс держать не удастся, ветерком сдувает. Что-то наши технари как всегда схалтурили.

— То есть летим не туда? — уточнил у него Колька.

— Ну... в общем да, — нехотя согласился тот, — хотя, я думаю, довернем при случае.

Колька нахмурился, замолчал минуты на три, а после махнул рукой:

— Да и черт с ним! Ладно. Туда — не туда, какая разница? Летим, главное!

— И высота подходящая, — поддержал я, — родная ПВО не достанет.

— А она у нас еще существует? — хмыкнул Колька.

Сергея убедительно мотнул головой:

— На этом направлении практически нет.

— А какое у нас направление? — живо заинтересовался Колька.

— Почти северо-восток. Кстати, — спохватился он, — а знаете, куда мы прилетим, если никуда не сворачивать, если так и держать по компасу?

Тоже мне — вопрос для первоклашек! Я тут же представил себе, как величаво мы будем огибать земной шарик, и повсюду толпы любопытных высыпают на улицы, встречать наш чудесный корабль. Телевидение, пресса, интервью, фотографии на фоне местных достопримечательностей...

— Ну... наверное, на северный полюс, — обломал мои мечты Колька.

— Чего?! — я даже опешил от неожиданности. — Как это так, на северный полюс?! Я на него не подписывался! И потом, разве он на северо-востоке, а не просто на севере?

— Это обман трудящихся, камрад, — рассмеялся Колька. — У нас куда ни плюнь, везде север!

Вот в такие моменты я его недолюбливал. Нельзя разве сказать по-человечески? Вечно он со своими приколами. То ли дело Серега — нормальный чувак, сразу принялся разъяснять, что к чему. Правда, я все равно ни шиша не понял.

Ну, на северный полюс, понятно, никто не горел желанием. А куда? Сгрудились над картой, принялись выяснять. Вокруг на сотни километров одни леса. Как их до сих пор не повырубили? И никакого приличного жилья в округе!

— У нас командировка на четыре дня? — говорю. — Тогда давайте так: два дня в одну сторону, два дня — в обратную.

— Насколько я понял, чтобы вернуться обратно, попутный ветер нужен или хотя бы безветрие, — сумничал Колька.

— Естественно, — подтвердил Сергей.

Это мне и вовсе не понравилось.

— Значит, он против ветра и не поперет? — спрашиваю.

Сергея пожал плечами:

— Ну, ветер ветру рознь. Сегодня хороший ветер дует, крепкий. А завтра какой задует? Черт его знает.

— Короче, полная непредсказуемость! — подытожил Колька. — А на месте хотя бы мы можем держаться?

— В принципе да, — кивнул Сергей, — бросить якорь, подтянуться лебедкой...

Колька поморщился, переспросил:

— А почему: «в принципе»? Есть какие-то нюансы?

— Просто на испытаниях никто не пробовал. Все ж — авралом!

— Так что решаем, отцы-командиры? — озадачился Колька.

— Ты у нас командиром-то выбран, тебе и решать, — вернул я ему должок.

— Значит, бросаем якоря, — скомандовал он, — а то унесет к чертовой матери на Новую Землю!

— Ну, пока-то мы еще и Урал не перелетели, — улыбнулся Сергей.

— Это шутка такая, что ли? — фыркнул Колька.

Короче, бросили якорь. Сидим, смотрим, замерла картинка. Но неуверенно как-то — напряжение нарастает. Как перед грозой прямо — вот-вот пробьет электричество!

— А чего ждем-то? — спрашиваю.

И только сказал, как — бац! — от рывка чуть на пол не повалились! Опять полетели. И елки еще быстрее замелькали!

Серега нахмурился.

— Фал отстрелило, — сообщил он, предупреждая наши расспросы.

— Как это отстрелило? Зачем? — возмутился я. — Ведь мы же закорились?

Серега тоже нервничал.

— А ты чего хотел? Чтобы нам всю кабину разнесло к черту?! Защита сработала — автоматика!

— Сколько у нас еще якорей в запасе? — насупился Колька.

— Было три, пара попыток осталась.

— Весело, ничего не скажешь! — соорил унылую гримасу Колька. — Значит, больше пытаться не будем?

— Во всяком случае, не при таком ветре...

Да... интересная складывалась перспектива! Несет бог знает куда, и ни остановиться, ни повернуть обратно. Это даже я понял, не кончавший никаких физ-мех-техов. Спасибо Льву Захаровичу — веселенькая командировка!

Салон помаленьку просыпался, приходил в себя. Пудрила носик Кира Черкасская, по-восточному подогнув под себя ноги. Шура Леонтьев перемигнулся с Игорем и, получив от него сигарету, отправился в туалет в нарушение всех летных инструкций. Катенька пялилась в окно и поминутно охала открывающимся внизу красотам. Пока что все было спокойно и тихо.

Ленька и Игорек, конечно, заметили непредвиденную остановку и выключение двигателей, заинтересовались. Колька же ответил в своей привычной манере. Мол, натолкнулись на очень плотную тучу, ну и, такие дела — пришлось поковырять ее, повозиться. Но надолго ли хватит его юмора?

Я уныло повалился в свое кресло, прильнул к окну: елки, елки, елки... до самого горизонта одно и то же. Кому это все надо? Зачем? Прямо тоска смертельная! А ведь если верить Сергею, «еще и до Урала не долетели». Книжку бы, что ли, взять какую? Я огляделся: Колька что-то быстро строчил в блокноте, ребята в основном слушали дебильники, заткнув микрофонами уши. Повальная летаргия!

И вдруг очнулся Игорек, заорал благим матом, чтобы донести до каждого:

— Тихо, пацаны! Вот это фишка! Только что в новостях про нас объявляли! Я как раз котировки слушал, и тут такая фигня: впервые в мире построен дирижабль из листового свинца! Типа, они в курсе! Поняли?! — прыснул он. — Сказали, что маршрут полета держится пока в тайне. А еще у них есть сведения, что нас, ну, в смысле, не нас с вами, а дирижабль собирается купить какой-то америкос. И речь идет о десятках «лимонов»! Круто?!

— Жест! — подхватила новость Катенька. — А что нам с этого будет причитаться?

— Дырка от бублика тебе причитается, — откликнулся ей с первого ряда Миша Смирницкий.

— Это почему же? А пять часов подневольной работы?

— Ну ты-то, положим, ни часа не отработала. А остальным... баксов на двести можно наскрести по американским расценкам.

— А как насчет испытательного полета? — вмешалась Таня Ткачева, которой как выпускнице тоже не приходилось рассчитывать на заработок. — Это чего-нибудь стоит по американским расценкам?

Рядом со мной ожил Ленька Феклистов:

— Испытательный полет?! Ты в своем уме? Загородная прогулка! Все давным-давно испытано!

«Да уж, прогулка!» — хмыкнул я про себя. Не хотелось бы быть участником паники. В башку лезли всякие фильмы-катастрофы на борту какого-нибудь впавшего в кому «Боинга». Оглянулся на Кольку, он по-прежнему невозмутимо писал свою сагу. Гвалт же вокруг только усиливался. Спорили уже о том, что платить надо за саму идею, а это покруче, чем просто техническое воплощение. А чья идея? Ясен пень, чья!

И тут произошло нечто. Как говорится, — выход из-за печки. Неожиданно громко распахнулась дверца хозблока, и на пороге выросла а-натюрель, то есть как сардина в собственном соку, сама Тамара Сергеевна Белозерцева.

— Что за споры? Почему ходим с места на место? Черкасская, почему опять в кресле с ногами? И вообще, что за бардак?! Почему никакой дисциплины?! Николай Иванович! Кажется, я к вам обращаюсь!

Наверное, мне зверски повезло. Я стал свидетелем чуда. Это был тот редчайший случай, когда Колька буквально онемел, не нашелся с ответом — даже челюсть отвисла. Он стал похож на гоголевского городничего в исполнении Евгения Весника, узнавшего о приезде настоящего ревизора. Зато наперебой зашебетали девчонки:

— Ой, Тамара Сергеевна! И вы с нами?! Надо же! Класс!

Но Мать-Тереза даже не моргнула в их сторону. Она явно дожидалась ответа от самого командира. И тут уж Колька вынужден был играть всерьез. Он демонстративно и неторопливо извлек из портфеля официальный список участников, водрузил на нос очки и тусклыми глазами чиновника уставился на незваную гостью:

— Так как, говорите, ваше имя? Тамара Сергеевна? Что-то я не нахожу вас в списке участников. Позвольте узнать, на каком основании вы проникли на борт? Вам следует немедленно покинуть судно! Возможно, вы даже объявлены в федеральный розыск, а за вашу голову назначена премия!

— Бросьте паясничать, Николай Иванович! Я здесь по долгу службы. А вот вы со своими обязанностями явно не справляетесь!

— Ваши долги слишком дорого всем нам обходятся и, боюсь, еще дороже обойдутся в самое ближайшее время. Вспомните беднягу Боливара, или О'Генри не входит в круг изучаемой вами классики?

Колька иногда любил так виртуозно выразиться, что даже дух захватывало, хоть я и не понимал ни слова.

— Что это вас потянуло на литературу? — хмыкнула Тамара Сергеевна. — Занимались бы лучше своей историей.

— А я и занимаюсь историей. В частности, в данное время пытаюсь предотвратить одну историю, случившуюся с героями Жюль Верна. Если вы дадите себе труд подумать, то, возможно, даже поймете, о чем идет речь. А теперь извините, я должен навестить нашего пилота. Впрочем... — он сделал весьма недвусмысленную паузу, — вы можете присоединиться.

Я тоже поднялся, решительно последовав за ними.

У Сереги все было по-прежнему, внешне никаких изменений. Такие же свинцовые типа нашего дирижабля облака да раскачивающиеся верхушки елей в лобовом стекле. В общем, как в песенке — «зеленое море тайги...»

— Что с курсом? — поинтересовался Колька.

— Все то же: норд-ост. Чуть-чуть довернули к востоку. Обычная штука в циклоне. Если так продолжится, к утру будем над Уралом.

— Какой Урал?! — опешила Тамара Сергеевна. — Мы же совсем в другую сторону договаривались! Что вы все загадками говорите?

Колька скривил подобие улыбки:

— Вот, кстати, Сергей, полюбопытствуйте: неучтенный пассажир на нашем борту — балласт. Пряталась в хозблоке. У вас есть веревочная лестница? Мы бы ее тут опустили на какое-нибудь болото.

Он произнес это на полном серьезе, будто бы вот некая служба контроля нашла безбилетника и готова сейчас же применить к нему самые суровые санкции.

Серега лишь печально хмыкнул в ответ, а Мать-Тереза буквально взорвалась от гнева:

— Да что вы себе позволяете?! Что вы тут хозяйничаете как какой-нибудь новый русский прямо? Правила свои устанавливаете? Вам куда было лететь приказано? Вы забыли?

— Отчего же? Прекрасно помню! Только вот в чем штука: ваше участие в этом полете не подразумевалось.

— Да какая разница, со мной или без меня?! Разве могла я пустить все дело на самотек? Нет, это уже ни в какие ворота! — и тут она вытащила свой телефон. — Я немедленно звоню директору! Завтра же вы будете уволены!

Я усмехнулся, потому что полчаса назад безуспешно пытался связаться с домашними.

— Без вариантов! Здесь нет никаких сетей. Вышки забыли поставить, — развел я демонстративно руками.

А Колька, тот вроде бы даже оттаял, снизошел, будто к капризному ребенку:

— Так вы хотите знать всю правду или вас устроит лишь половина?

Но Мать-Тереза отринула все компромиссы:

— Меня интересует, почему вы не выполняете принятое решение?!

— Что ж, извольте. Только запомните, что вы напросились сами. Так вот, мы находимся в неуправляемом полете. Такой ответ вас устраивает?

На лице Тамары Сергеевны проявилось выражение неподдельного ужаса. Знаете, раньше так на бумаге проявлялось — постепенно — это если кто фотографией занимался.

— Вы хотите сказать, что мы попали в катастрофу? И вы с таким спокойствием заявляете мне об этом?

— Я не заявляю, я уж битый час вам об этом твержу, — хмыкнул Колька, — только вы понять никак не соизволите.

— Так сделайте же что-нибудь! Не стойте как пень! Что вы тут все разглагольствуете?

И как только Колька язык не стер отвечать на ее назойливость?

— Все что было можно уже сделано еще до того, как вы явили себя народу, — вступился я за него. — Наша задача — ждать, пока уляжется ветер.

— А может, он никогда не уляжется? — не унималась она.

Ну, тут уж даже наш молчаливый пилот не выдержал, обернулся от своих замысловатых приборов.

— То, что мы имеем на данный момент, является управляемой катастрофой, — назидательным тоном выговорил он. — Неприятно, но терпимо. Но если вы хоть словом обмолвитесь об этом в салоне, мы получим неуправляемую катастрофу. И тогда уже никто не поручится за нашу сохранность. Надеюсь, вас не нужно предупреждать об ответственности?

Наверное, именно этих слов ей и не хватало. Она сразу же сникла, сдулась, как воздушный розовый шарик, который прокололи хулиганы-мальчишки. Колька мог вздохнуть теперь полной грудью. Неожданная «помеха справа», как любил он говаривать, была ликвидирована. Невдомек нам было тогда, что это еще цветочки, что случаются штуки и пострашнее. Что женщина, во что бы то ни стало возжелавшая купить благодать, это смертельно опасная угроза.

Но пока было спокойно. В салоне и не догадывались о наших трудностях, там все еще не утихал спор о том, сколько стоит идея.

— Идея это вообще самая дорогая часть любого изделия, — доказывал Игорек Котляревский. — Можно не производить ничего кроме идей и жить припеваючи.

Но в этом споре у него был весьма серьезный оппонент — Вера Сторожева.

— Идея не может являться товаром, — утверждала она. — Автор любой идеи — Господь Бог, а потому любая идея это откровение. Кошунственно торговать откровением, потому что через тебя оно принадлежит всем. Человек всего лишь проводник идеи и только.

Две такие непримиримые позиции открывали широкое поле для дискуссий.

— Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать, — подлил масла в огонь Колька, вернувшись из кабины пилота.

— Вот видишь?! — подпрыгнул Игорек. — Продать можно! Пушкин разрешает!

— Пушкин о рукописи говорит, не об идее! Рукопись еще написать надо, а это труд.

— Много ты понимаешь в рукописях! Это всего лишь воплощенная идея и только. Платят-то за идею, не за рукопись.

— А вот так и не должно быть! — горячилась Вера. — Платить надо за материалы: за бумагу, за краски, а не делать из каждого писателя-изобретателя миллионера. Гении должны трудиться за такую же, как у всех, зарплату.

— Ага! Ты это Биллу Гейтсу расскажешь, когда на ворованной винде попадешься!

Честно говоря, слушать все это было влом, и я опять усталился в окошко. Там хоть изредка показывали озерца, маленькие речушки или какие-то лесные проплешины — не «Клуб путешественников», конечно, или там «Непутевые заметки» с Димой Крыловым, но все развлечение. А еще подумалось, не дай бог, тут идти придется! Это кто же из деток выдюжит? Разве что Ленька Феклистов. Ни на кого другого я бы не положился. Да хоть и Кольку того же взять: он с виду, может, и крепок, а тоже пешком не ходит — все больше за рулем, за рулем. Короче, невеселенькая перспектива!

— Юрий Иванович, а что это вы там все разглядываете? — раздалось за моей спиной.

Я обернулся. На соседнее место под села черноокая Кира.

— Да вот прикидываю, каково через такую тайгу пробираться. Из вас-то никто б и не смог, пожалуй. Феклистов разве что?

— Ленька-то? — хмыкнула Кира. — Ленчик сможет!

— Вот что значит спорт! Это тебе не сосиской болтаться на перекладине с накрашенными ногтями!

А она смеется:

— Да и вы, наверное, сможете, правда?

— Ну, обо мне-то, — говорю, — чего беспокоиться? Я старый солдат!

— И не знаю слов любви, — ляпнула ни с того ни с сего Кира.

— Чего-чего не знаю?! — переспросил я.

— Это из «Здравствуйте, я ваша тетя» реплика, — хихикнула она, — там ее Михаил Козаков произносит. Не помните? Правда, вы мне больше Брюса Уиллиса напоминаете.

Я усмехнулся:

— Такой же тупой то есть?

— Ну, я бы так не сказала. Хотя некоторым идет. А вы, кстати, не замужем?

— Замужем, замужем, — говорю, — за Робертино Лоретти. И даже дети имеются.

— Ой! Извините. Я не то хотела сказать! Вы женаты? А то я могла бы предложить вам свою руку.

Я хмыкнул:

— И только-то? Помнится, раньше мне посущественней предложения делали.

И тут — кому не пропасть? — эта старая ведьма влезла! Мать-Тереза, то есть.

— Как вы себе позволяете с детьми разговаривать?! — спрашивает, а саму трясет аж под двести двадцать. — А еще учитель! Безобразие!

— Как-как? — говорю. — Как меня спрашивают, так и позволяю. Вам-то себе «не позволять» без надобности.

Только фыркнула старая перечница! Тоже мне детишек нашла! Эти детки еще тебя саму поучат всяким там камасутрам. В общем, все мечты обломала мымра!

Ну а после Киры и вовсе тоскливо стало, да и нудный дождь еще зарядил по стеклам. Колька, гляжу, тоже закис от своих непонятных заметок, взял гитару. С ним это случалось порой от безделья.

«Дождусь я тепленьких денечков,

Надену старый макинтош...»

И где он только таких песенок набирался? А деткам понравилось вроде. Притихли. Даже споры свои забросили.

Вот так и летели до самого вечера. Напоследок еще солнышко из-за туч подмигнуло, чтоб не отчаивались. Мол, завтра опять на востоке взойду.

А утром гляжу, в Колькином кресле Сергей развалился — чудеса! Кто ж управляет, думаю, ну, и в кабину тотчас подался. А там уже Колька рулит вовсю, мать честная! Куда нам, с косыми-то рылами?!

Оно наутро-то все и началось, после шоколада с изюмом. Сперва пионеры дымок заметили. Потом Мать-Тереза своим наметанным глазом церковку разглядела, и давай ей непременно туда! Колька растолкал Сергея. Посовеща-

лись. Ветер, по их ученым понятиям, стих. Ну и бросили якорь. Благо, тут и полянка какая-то, и коровки не遠деке пасутся.

Сергея еще какой-то хитрый маневр совершил, сыночка своего кликнул. Тот, едва до второго этажа опустились, выпрыгнул, носовой трос за дерево уцепил — встали!

Больше всех ребятишки радовались. Они хоть и не ведали наших страхов, но шутка ли — сутки в пути! В поезде-то надоест, где станции. Пляшут себе на полянке, веселятся. А пастух как нас заметил, сразу стадо в деревню погнал — неприветливый пастух оказался.

Построила Мать-Тереза всех кое-как, повела, словно бы в город на экскурсию. Народец дорогой шуточки всякие отпускает про коровьи лепешки, цветочки срывает и, конечно, дебильники на всю мочь, у кого батарейки не сели. Еще и речевку свою затеяли:

Если ты сегодня с нами,
Повезло тебе с друзьями,
Мы кого угодно свалим,
Город на уши поставим.
Смело!
За дело!
Бей врагов умело!

В общем — выход спартаковских фанов на колхозный субботник. А возле самой деревни мужичонка встречает сухонький как таракан — в чем только душа держится? — этакая соломина сгорбленная, и волосы как у Майкла Джексона по плечам. Только седые, не крашенные. «Кто такие? — интересуется. — Мы гостей не ждали».

— А мы, — говорит Мать-Тереза, — специально из города к вам прилетели. Так сказать, приобщиться истинной веры.

— И много ли вас будет? — прищурился тот.

— Да все тут, со мною.

Старичок удовлетворенно хмыкнул:

— Ладно. Отец Порфирий меня зовите.

— Так вы батюшка? — всплеснула руками Мать-Тереза. — Вот радость-то! Вот радость!

— Вроде того, — кашлянул старичок и ткнул скрюченным пальцем: — А почему у вас девки в портках? Непорядок! И музыка бесовская!

Это он еще мягко выразился про наш разноцветный зверинец. Особенно если учесть, что Кира принадлежала к классу млекопитающих эмо — в общем, кто не знает, с ног до головы черно-розовая, а Шурик — к готам. Нам-то уже приелось, а на свежий взгляд сельского жителя — впечатляет, наверное.

— Исправим! Исправим, батюшка! — заохала наша предводительница. — Мы ведь и прилетели за тем — приобщиться истинной веры!

И обернулась, зацывкала зло на своих бестолочей.

— Вера наша строгая! — бормотал старец: — Работа, работа и еще раз — работа! Кто работает — получает свою пайку, кто не работает — не получает. Церковь только по выходным. Пределы лагеря в одиночку не покидать, выход только строем. Шаг влево, шаг вправо... в общем, карается епитимьей.

А пока он это все выговаривал, вышагивая впереди, я едва голову не отвинтил от любопытства. Не знаю кому как, а мне эта деревушка сразу не глянулась. Забор какой-то покосившийся с воротами, надпись вырезанными из

железа буквами: «Вера есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». За ним трелевочный трактор, беспомощно ткнулся мордой в канаву. Съеденная ржавчиной покореженная рельса узкоколейки. Площадь пустая квадратом, церковка деревянная посреди, а по сторонам домики прилепились неказистые — окошки, как бойницы для пулеметов. И ни тебе зелени толковой, ни огородов. Да и народ все больше угрюмый, смотрит из-под бровей...

— А вот тут у нас клуб, — перебил свои поучения старец, — заходите, ознакомьтесь.

Внутри все оказалось так же тоскливо, как и снаружи. Дошатая некрашенная трибуна, колченогие табуреты, по стенам агитация, намалеванная от руки. Я со срочной службы, с «боевых листов» в нашей роте такого убожества не видал: «Доярка Авдотья Чалая подняла удои молока с коровы на 1,5 литра», «Конюх Евсей Переверзев в одиночку отбил табун от стаи волков». И далее в том же духе.

— Вот, смотрите, изучайте, — напутствовал нас старец, — а сестра Тамара пока пройдет со мной.

Мать-Тереза бросила на нас свой горделивый взгляд и... щелк! — дверь за ними захлопнулась на щеколду, и еще какая-то ржавая засовина проскрипела.

— Чего?! — ринулся к выходу Шурик Леонтьев, но дверь в ответ даже не дрогнула.

— Кажись, нас заперли, — хмыкнул Игорек, — интересно, на каком основании? Неплохо бы послать за адвокатом.

А Колька в ответ натужно вздохнул:

— Что ж, запасемся терпением. Пока что ничего экстраординарного не случилось. Ну, не любят местные граждане вашу музыку и ваш облик им не по душе. Так постарайтесь понять их опасения.

Ждать пришлось долго; время я не засекал, но часа два, не меньше. Народ натурально соскучился по удобствам. Туалет-то в итоге мы обнаружили в углу за печкой — доска с прорезью, а под ней здоровенное проржавевшее ведро. Непривычно, а куда денешься? Не биде же, в самом деле, тут ожидать. А вот насчет там умыться или попить, это, извините, налить забыли.

Наконец, когда терпение у всех уже иссякло и пятая точка устала протирать штаны табуретом, дверь, заскрипев, отворилась. И предстал нам, как шутил потом Колька, некий воплощенный образ Самсона, только не библейского, а на русский манер.

— Брат Иван, — представился он, глянув на нас по привычке здешних аборигенов исподлобья. — Граждане задержанные, — начал он и костяшкой указательного пальца поправил свои жесткие рыжие усы.

— Какие мы вам задержанные?! — вскочил ему навстречу Котляревский. — Это на каком основании?!

Но тот лишь легонько ткнул его пальцем в грудь, и Игорек опять повалился на свой табурет.

— Граждане задержанные, — повторил свое обращение верзила. — Отца Порфирия величать батюшкой или — гражданин начальник. Ему всяко сподобно. Всех иных — братьями либо сестрами. Праздно не шататься, блюсти порядок. Слов поганных не говорить, музыки бесовской не слушать. За послушание епитимья. Тут будет женская половина, — ткнул он рукой, — тут мужская, чтобы сраму не иметь. Старостой вашей по всем делам будет сестра Тамара, ее слушаться. Во все дни работа, по воскресеньям церковь. Крест кладут справа налево, а не наоборот, как литовцы, — поучал он...

Ну дикость же, дикость, ей-богу! — все сильнее закипал я, слушая его бред. Это в двадцать-то первом веке! И чего это наша новоявленная сестра затеяла, какую еще пионерскую игру? Перед кем выслужиться хочет? Совсем с тормозов слетела! Между прочим, я с шефом только на четыре дня договаривался, а нам еще целые сутки обратно пилить, и то при попутном ветре! А если опять случится чего, какая-нибудь очередная катастрофа? Я им что, летчик-испытатель, что ли? Так я примерно рассуждал, но Колька, как оказалось, смотрел на вещи еще мрачнее.

— А позвольте спросить, — осторожно проговорил он, не вставая с места — впечатлил, наверное, пример Игорька. — Позвольте спросить, до каких пор вы собираетесь нас удерживать?

— А до таких... покуда не вразумитесь, — брат Иван вроде как даже опешил от такого смешного вопроса. — Да от нас и не уходят по доброй воле. Прежде бывало, а теперь нет. Все мы тут одной общиной живем — братья и сестры, всем нравится...

Тут на него обрушился целый град вопросов, кричали все наперебой, но звонче всех и заливистей получилось у Тани Ткачевой:

— А если мы убежим?

— Да куда ж вы побегнете?! — расплылся в улыбке брат Иван от такой ее детской наивности, даже усы в запальчивости растормошил. — Кругом тайга, звери, болота да комары! А часовой на вышке? — припомнил он самое главное, — на колокольне, то есть. Дед Митяй целит метко. Белке глаз вышибает, как я дверь кулаком.

— А мы на дирижабле!

— Энто шарик-то ваш? — хмыкнул Иван. — А мне сказывали, он сломался давеча. Мол, сестра Тамара и не нарадовалась, когда на грешную землю опять ступила!

Ребятки это известие насторожило, да чего там — просто в ступор вогнало! Кулибин-младший перекинулся многозначительным взглядом с Кулибиным-старшим, мол, как же так, батя?! И ты мне ничего не сказал?! А тот в свою очередь ответил ему таким же ученым манером, то есть многозначительно развел руками. Ну и остальные все тоже озаботились собственной неосведомленностью.

Иван же по-своему истолковал наше мычание:

— Вот видите, бежать вам некуда. Да вы и не печалуйтесь! — добродушно махнул он рукой. — Обвыкнете! Еще и благодарить за науку станете.

— Так я не понял, мы к вам в плен, что ли, попали?! — опять вскочил с табурета Игорек.

Но на сей раз брат Иван великодушно его простил.

— Зачем же в плен? — опять растянул он улыбку. — Мы ни с кем не воюем. Сестра Тамара привела вас всех добровольно.

Влипли мы, короче, в историю. А вот брат Николай (тьфу ты, черт! — Колька, конечно же!) даже заинтересовался.

— Это же настоящая древнерусская община, натуральное хозяйство! — обрадовался он словно какой-нибудь идиот, — такого больше нигде не встретишь! Прямо настоящий рай для историка!

— Ага, рай! Как же! — всполошился Шурик на его тираду. — У меня братан полтора года отсидел в таком раю у черносливов. Вернулся — кожа да кости, килограммов шестьдесят в зиндане оставил!

— Ну, тут тебе не чехи какие-то. Тут тебя черной икрой будут откармливать, — хмыкнул в ответ Ленька.

— Черная икра не для белого человека, понимаешь ли, — назидательно произнес Шурик, и как показало время, он был абсолютно прав.

Но обо всем по порядку.

Следом за Иваном явилась сестра Агафья с двумя мужиками. Те соорудили вдоль клуба перегородку, разделив его надвое, а из части табуреток сколотили нары. Сестра же увела наших девчонок с собой, набивать тюфяки соломой. Вернулись они нескоро, причем всех уже переодели в какое-то жалкое рубище, будто кино собирались снимать про Александра Невского. Может, оно у них и не рубище вовсе. Может, какое-то другое название имелось, но выглядело уж больно забавно!

Чуть позже появился и обед. Ну, еда это отдельная песня. Наверное, мяса в этой богадельне вообще не подавали. Может, правда, и сами не ели? А принесли нам постные щи, кашу непонятного происхождения и такой же невнятный кисель. После шоколадного завтрака самое то! Как стометровка на опохмелку. Наши юные леди и джентльмены, естественно, отказались, разве что ложки деревянные пустили поплавать забавы ради. А мы — трое взрослых — снизошли, оценили богатую витаминами пищу предков. И ничего... вроде даже жить захотелось и бороться против вегетарианского засилья.

О борьбе весьма кстати, потому как после обеда предполагалась работа, а по работу и того смешней получилось.

Вот вы держали в руках настоящий крестьянский инструмент? Косу там, вилы или лопату, или еще чего, может? Про себя скажу честно: пару раз привелось топором рубануть. Богатый опыт, правда? А что с наших деток спрашивать, которые ни с чем тяжелее клавиатуры и не сталкивались? И главное, как объяснить это тем, кто про эту самую клавиатуру и слыхом не слыхивал? Я бы не смог. И сам господь не смог бы, наверное.

Пришлось по этому поводу целое совещание с Колькой устроить, и Серега подключился тоже. Благо, все мы служили в армии и понимали друг дружку с полуслова.

Короче говоря, перед самым выходом на работу я объявил ребятам:

— Сегодня принимаю зачет по ходьбе гусиным шагом. Надеюсь, никто еще не забыл упражнение? Ну, а им-то долго объяснять не надо. Дай лишний раз приколоться.

Выходили мы вперевалочку прямо из дверей клуба. Аборигены сперва за шапки схватились. «Ишь, как их бесы-то крутят!» — кричали. А потом — с детворы началось — и сами животы надорвали со смеху. Шли мы строго цепочкой, я спереди самый медленный темп задавал, так чтобы вся деревня поглазеть успела. А шли мы, надо сказать, на самую простую работу — ворошить сено, и потому у каждого на плечах были такие легкие деревянные грабельки. Должно быть, со стороны мы смахивали на компанию полуросликов, отправившихся на поиски клада, только вряд ли вот здешние жители читали когда-нибудь Хоббита.

Местные собаки вообще пришли в неистовство, а корова, попавшаяся нам на пути, с мычанием сорвалась с привязи, когда мы неожиданно появились из травы прямо перед ее носом. После хозяйка жаловалась, что она даже доиться перестала.

То же самое повторилось и при нашем возвращении, только теперь уж крестьяне заранее собрались на потеху.

Вечером нас пришла увещевать Мать-Тереза, то бишь сестра Тамара.

— Ну... и кому нужно это ваше паясничество? Кого вы тут собрались удивить? Считаете себя самыми умными? Да поймите же, что по вашему поведению судят обо всех горожанах!

Но никто, даже Колька не считал нужным ей ответить.

— И чего б еще ждать от Белозерцевой? — ворчал он после отбоя. — Раньше на партсобрание впереди всех бежала, теперь в церковь. Представляешь, завтра опять коммунисты вернутся, бога отменят? Первой же и закричит: «Я так и знала! Так и знала! Всегда догадывалась, что они в святое причастие самогона подмешивают!» Вот хохма-то будет!

— Николай Иванович, — откликнулась из-за тонкой перегородки Вера Сторожева, — а допустимо ли потешаться над верой? Это ведь личное дело каждого. Правда?

— А кто здесь сказал слово «вера»? Это тебе слышалось через стенку.

— Ну, пусть не вера, пусть убеждения. Разве человек обязан всю жизнь придерживаться одних и тех же убеждений, разве не вправе их поменять?

— Поменять убеждения?.. Вправе. Конечно же, вправе! И убеждения может свои поменять, и даже веру! Только Тамара Сергеевна их не меняла — ни то, ни другое. Вот ведь в чем штука!

Тут даже я не выдержал, сорвался:

— Как это так, не меняла?! Что значит, не меняла? Ты уж как-нибудь это... поясни поподробнее.

А Колька заворчался, зашуршал своим тюфяком, как мышь — ну точно подвох какой-то готовил.

— Помнишь, старик, — говорит, — такой документик был в наше время — «Моральный кодекс строителя коммунизма» назывался?

Как не помнить, когда меня по нему всем райкомом гоняли?! Дело было после очередной студенческой пьянки. Мы тогда под обкомом партии здоровенными буквами вытоптали на свежем снегу: «Брежнев — босс!» — чтоб с утра товарищи прямо из окошек своих прочитали. И как нас только нашли, интересно — по почерку, что ли, вычислили?

— Ну да, — говорю, — было что-то такое...

Тут Колька подозрительно так затих, наверное, свил уже себе гнездышко из соломы, и говорит:

— Легенда такая есть. А может, и не легенда вовсе... Собрал у себя как-то на даче Хрущев политологов-пропагандистов и задание дал: прописать моральный портрет человека будущего. Такой, чтоб огнем сверкал! Чтобы ни пятнышка, ни червоточинки...

— Чтобы прямо в сироп! — пискнула из-за стенки Кира Черкасская. — Это как в рекламе про яблоко, да?

— Ну... в общем... Рекламы, правда, тогда не было. Так вот, дал им Хрущев задание, а времени — до утра. С утра уже съезд открывается. Схватились товарищи за репу: что делать? Один одно предлагает, другой — другое, и никакой цельности. И тут кого-то из них осенило — а чего, мол, париться? Возьмем за основу заветы Христа или там Моисея... не важно! Пару слов поменять да поповские интонации исправить — всех и делов-то!

— Неужто правда?! — восторженно воскликнула Танечка.

— Истинный крест! — Колька даже опять зашуршал в углу. Перекрестился, что ли? — Так что в окончательной редакции по сути произошла лишь одна замена. Всего лишь одна, понимаете? Сможете отгадать, какая? Пятерку по истории гарантирую на вечные времена. Итак, что на что заменили?

Тут поднялся форменный переполох и у нас, и за стенкой, кто только чего не предлагал.

— Обезьяну на человека! — ляпнул первым свою версию Шурик Леонтьев.

— Скажешь тоже! — опешил от такого неожиданного варианта Колька. — Во-первых, про обезьяну в Евангелиях ничего не сказано. А во-вторых, и Дарвин тогда еще не родился.

— Иуду на Ирода? — рискнул Игорек.

— Час от часу не легче! А эти-то тут при чем?

— А может быть, бога заменили на Хрущева? — осторожно так предложила медалистка Катенька.

Колька прыснул.

— Ну, знаешь ли! Хрущев, конечно, отличался некоторым красованием, мог при случае и каблуком настучать, но не до такой же степени!

— Тогда Иисуса Христа на Маркса, — выдвинула свою гипотезу Вера Сторожева.

— А вот это уже теплее! — обрадовался Колька. — Ну... есть еще варианты? Смелее...

Но детки почему-то затихли, больше никто не спешил блеснуть эрудицией.

— Эх, вы! — осерчал Колька, — скисли! Куда уж вам супротив Белозерцевой, коли такой простоты не знаете! Да «царствие Божие» они заменили на «коммунизм» — вот и все! И вся недолга! Никите Сергеевичу уж больно это понравилось. А что? Так сказать, в русле народных чаяний. То какое-то царствие поповское, понимаешь ли, да еще после воскресения, да и будет ли? А тут — прямо на грешной земле — пожалте! Можно даже сроки его указать! Только трудитесь да ведите себя достойно, как Христос завещал — в смысле, как «Кодекс» учит.

— И что, в самом деле так просто? — откликнулся из своего угла наш авиатор.

— Ну да, — хмыкнул Колька, — разумеется. Чего ж тут сложного? А вы — вера! Православие! Убеждения! Заладили тоже... А ей и менять ничего не пришлось.

В следующий раз вести с нами душеспасительные беседы нацелился брат Иван. Очевидно, надежды на Мать-Терезу не оправдались.

— Вы бы, — говорит, — ребятки, по-доброму, тогда и к вам с любовью. Вы эту дурь-то городскую повыбросьте. От нее ваши беды.

Колька прям-таки живейший интерес проявил к его словам.

— А какие наши беды? — спрашивает.

— Бога не знаете, без Бога живете — вот какие! Сестра Тамара много чего сказывала. И про убийства, и про разбой, и про бездомных. Вся, мол, жизнь враз перевернулась, народ будто с цепи сорвался.

— Ну, а своих-то вы, видать, на цепь посадили? — поддел его Колька.

— На цепь — не на цепь, а порядок знают. Без баловства.

— Со снайпером на колокольне порядок, конечно, будет, — убедительно кивнув, согласился Колька, — без вопросов!

Брат Иван вроде даже опешил сперва, усы подергал, а после хмыкнул:

— Дед Митяй это так... для острастки больше. Мало ли кто на добро позарится. Эт-те не прежние времена, когда он на вышке кукарекал.

Колька в ответ ухмыльнулся, растянул улыбочку:

— А что, и такое бывало?

— Как не быть?! Знаю дело, бывало! Тут ить прежде лагерь стоял, ну и всяко приходилось караулить. А караул, он что? Стреляет без предупреждения!

— А потом?

— А что потом? Потом, как лагеря разогнали, кто домой подался, а кто тут... к вере крестьянской припал. На земле-то у вас срам начался великий, слышать, а тут ничего... Тут благодать, как в прежние времена, значит. Отец Порфирий сам церковку заложил, вместе рубили. Народ-то наш шибко отходчивый, зла не держит, так его и выбрали.

— Что значит выбрали? А раньше он кем был?

— Известно кем! Здешним начальником и был в энтот самом лагере. Нам, говорит, новую жизнь теперь строить, чтоб как прежде. Чтоб с Богом! Как в старые времена, значит. Первым делом все антенны срубил, чтоб срама не слушать, а потом уж и церковку вот. Нам, говорит, никто не указ кроме Бога нашего Иисуса Христа. А мы чего? — почесал он в усах. — Мы Порфирию верим.

— Да-а-а!.. — протянул Колька, даже и присвистнул от удивления. — Но мир-то ведь далеко вперед шагнул. Убежал, не догонишь.

— Знамо, куда он побежал — за Антихристом. Нам того не надобно.

— Вот поди-ка, поговори с таким! — распалился после этого разговора Колька. — У нас своя правда, и ничего ты нам не докажешь! Церковка вот своя и свой Христос, а твоего нам не надобно!

Парни молчали, не лезли в разговор. С некоторых пор они затеяли план побега и шушукались по углам, даже от нас таились, от старших. Больше всех Игорек злился. Мне, говорит, документы до первого июля успеть подать, а тут еще староверы всякие навалились! И Катенька ему поддакивала. Мол, лучше уж в петлю, чем в этой рванине ходить. Представляешь, говорит, сидеть в этой дыре до конца жизни?!

— Ну уж нет! Скажешь тоже! — бесился Игорек. — Еще день, два, и валим отсюда!

А вот Верку, ну, Сторожеву то есть, разговор заинтересовал.

— А что, — говорит, — Николай Иванович, вы им доказать хотите? Что прогресс лучше регресса? Так это недоказуемо. Скажете, на автомобиле ездить лучше чем на коне? Или, например, в машине стирать — чем в речке? Допустим. А что при этом высвобождается? Труд и время. Так ведь? Насчет первого очень большие сомнения в полезности. Ну, освободили человека от труда, а он в фитнес-клуб побежал мышцы свои качать на всяких там тренажерах, чтобы в амебу не превратиться. В итоге те же самые физические затраты выходят! А время ему так и вообще без надобности! Он все равно его убьет где-нибудь — в боулинге том же, в казино или за бутылкой с друзьями.

Вот такую тираду она ему закатила.

— Да ничего я не собираюсь доказывать, Верочка! — взмолился он своим вкрадчивым голосом. — Но смешно же, ей-богу, топтаться на месте, когда другие вприпрыжку мимо бегут. А потом пойми, жизнь это соревнование, деточка. Так уж она устроена. Не выиграл, значит проиграл. Не первый, значит второй, третий, последний. А в хвосте цивилизации всегда одно и то же: очередь за пособием, за гуманитарной помощью, за бесплатным обедом... Можно, разуме-

ется, обидеться на весь мир — мы, мол, такие кондовые, себе на уме, но рано или поздно тебя обнаружат и начнут помогать, к себе подтягивать, подкармливать. Обидно же, правда?

Но Вера и не думала сдаваться.

— Насколько я понимаю христианских философов, развитие человека это всегда путь к Богу, к просветлению. Но развитие цивилизации имеет совсем противоположную направленность. Оттого что бежишь вслед за ней, ближе к Богу не станешь.

— Оттого что стоишь на месте — тоже, — парировал Колька.

Нелегко было с ним спорить, тем большее восхищение вызывала Верка.

— Но они же не просто на месте стоят, они ищут истоки русской духовности, — возразила она. — Церковь, глядите, построили, о нравственности пекутся...

— А по-моему, так просто выживают. Глянем вот в воскресенье, чего они такого особенного здесь разыскивают.

Но мне-то с самого начала ясно было, что ни в какие их поиски он ни капли не верит. И ребяток настроил заранее, срежессировал, меня не предупредив даже. Хотя, чего предупреждать? Наши планы на ближайшее будущее не менялись.

— А поймут ли? — сомневалась Танечка. — Они же в английском ни бум-бум.

— Да по барабану! — крикнул Шурик.

— Вот и мне фиолетово! Поймут, не поймут? — скривила губки красавица Катенька. — Надоело уже торчать в этой дыре!

— Главное, чтобы мы понимали, — такую вот жирную точку поставил в разногласиях Колька.

Представляете себе стадион-сорокатысячник, заполненный до отказа? Ну так чтоб без фанов половина на половину, а просто пестрая толпа собралась? И особняком сидит человек триста, но сплоченных, обученных, и в какой-то момент песенку свою заводят, речевку, все такое... Да они же на уши поставят всю публику! Натурально плакать заставят, что купили билеты.

Не сказать чтобы в церкви была толчея, но народу стояло плотно. Нам как раз позади досталось, с краю, где столы для всяких там подношений: выпечка домашняя разная, яйца, масло, колбаски. Шурик Леонтьев уже, было, лапищу свою протянул — мол, не та бурда, какой нас кормят! И у меня тоже живот подтянуло. Но Колька притормозил, качнул внушительно увесистым кулаком — «Жрать мы сюда пришли, разве?!»

Не знаю, что там насчет службы — по правилам, не по правилам — старичок какой-то бубнил и по книжке читал долго. А сам Порфирий в сторонке стоял наособицу, но тоже в хламиде церковной, и смотрел не на священника больше, а поглядывал строго на собравшихся. И где-то в толпе, к алтарю поближе Мать-Тереза, смотрю, в платочке. Раз только глазом стрельнула в нашу сторону и опять отвернулась, будто вовсе не знает. Стыдно, наверное, за нас перед новым хозяином.

А священник все бубнит что-то свое, и народ поминутно крестится. Ну, мне-то чего? На мне и креста нет. Из наших лишь Колька да Вера Сторожева крестом себя осеняют, другие зевают больше. Часа два так стояли, в ногах загудело. Шурка исподтишка все колбасу норовил стырить. И Ленька тоже хорош: уставился на соседку — девчонку местную, глаз от ее груди не отводит. Аж в краску ее вогнал, бедную.

Наконец старикашка закончил, и тут Порфирий на середку выходит.

— Братья и сестры! — начал он. — Мы прожили с вами еще одну нелегкую неделю во многих трудах и молитвах. Не воровали, не сквернословили, не обижали ближнего своего и свято блюли заповеди Господа нашего Иисуса Христа. А значит, поднялись еще на одну ступеньку в постижении его бесконечной благодати. Тайна ее велика есть и не всякому дано к ней приблизиться. Многие тщатся плодов сих, не ведая, что плоды сии суть запретны. Но, не имея вкусить истины, желчь и горечь они источают тем, кто этой тайны уже приобщился. Глупцы! В помутнении своем они жаждут собрать то, что не сеяли. Они не разумеют ниспосланного нам откровения: спасемся либо все скопом, либо никто! К Господу поодиночке не ходят. Они же в гордыне своей вознамерились припасть к этому алтарю наособицу. Несть сырых и нищих, несть богатых и тучных, но есть все мы агнцы Божьи, помышляющие ниже по себе, чем по стаду.

Тут он перевел дух, кинул пылающий взор в толпу и продолжил:

— Но велика есть мудрость Божья, умом не объять. Для испытания нашего, для проверки крепости духа ниспослал он на нас воинство, о котором не знали, силу, о которой не ведали. Все вы видели новоприбывших, а кто не видел, так посмотрите. Вот они тут стоят перед вами, — и ткнул в нас пальцем, как когда-то Вий в беднягу Хому — «Вот он! Держите!»

И все, кто был в церкви, невольно обернулись, разинув рты, будто мы и впрямь стояли в шлемах и латах, готовые обрушить на них всю мощь нашего оружия. Но Колька уже успел дать знак, и вместо палашей и дротиков на их головы полились разудалые куплеты детской песенки.

— Ten green bottles hanging on the wall, — старательно выводил наш двенадцатиголосый хор.

— Ten green bottles hanging on the wall, — подхватывало эхо, отражаясь от сводов.

— And if one green bottle should accidentally fall, — звонким голосом солировала Танюша, неожиданно вставляя в конце строки незапланированное «дзинь!», как тут же снова ударял во всю мощь наш окрепший и набравший силы в паузе хор:

— There'll be nine green bottles hanging on the wall!

Так вот и пели, не прерываясь, куплет за куплетом, откуда последовательно не упали и не разбились все десять бутылок, а отец Порфирий, не имевший ни сил перебить нас, ни возможности прекратить нашу песню, вынужден был выслушать до конца. Закончив, мы развернулись и дружно вышли из церкви как со стадиона.

Пока к выходу протискивались, пока пятились, у меня аж мурашки по телу. Ну, думаю, как взлетит сейчас Мать-Тереза вроде той панночки во гробе! Как бросится догонять! Такая вот ерунда представлялась, но ничего... обошлось. А ребятки наоборот — живо обсуждали дорогой.

— Николай Иванович, надо было песенку под двенадцать бутылок переделать, — обернулась на ходу Кира.

— Это зачем же? — удивился Колька.

— Так ведь нас-то двенадцать. Поэтому.

— Это чтоб упасть и разбиться? Нет уж, спасибо! Какие-то дурные у тебя ассоциации. Тогда уж лучше про двенадцать апостолов.

И Игорек его поддержал:

— Не... классно все получилось! Этот старикашка аж язык проглотил от горя!

Но проглотил, наверное, ненадолго, потому что и часа не прошло после службы, как он появился на пару со своим телохранителем — братом Иваном. И даже переодеться успел во вполне цивильный костюмчик.

— Не думайте, — говорит, — я не потерплю у себя этого безобразия!

— А какого безобразия? — прикинулся дурачком Колька. — Это вы про песенку, что ли? Так это ж безобидная детская песенка: «Жил-был у бабушки серенький козлик».

— В церкви нельзя петь песен.

— Правда?! — изумился Колька. — Грустных или веселых?

— Никаких! — отрезал Порфирий.

— Тогда мы будем петь на паперти.

— И на паперти тоже нельзя, — вмешался брат Иван.

Колька хмыкнул.

— А раньше с паперти даже нищих не гоняли.

— У нас нищих нет, у нас все работой обеспечены.

А отец Порфирий отрезал:

— Больше вы не будете петь, я запрещаю. Запрещаю петь, запрещаю каким-либо иным образом веселить и потешать граждан. Вам понятно? Или вы будете жить и работать как все, или...

— Или? — перебил его Колька. — Расстреливать будете?

В ответ этот седой таракан так сощурился, что, наверное, всю злобу выдавил из себя, как из тюбика.

— Зачем же расстреливать? Я всю службу тут оттрубил — от звонка до звонка. У меня богатый опыт в перевоспитании. И не таких обламывал.

В общем, матерый волк оказался, той еще, старой закалки. Гвозди из них там, что ли, делали, как сказал, не помню какой поэт.

Говорю Кольке:

— Бесполезно все это, все наши игры. Валить надо отсюда и чем быстрее, тем лучше. А он:

— погоди еще. Еще поборемся.

Святая наивность!

Но плохо ж я знал Кольку! Вернее сказать, я его вообще не знал. То есть я-то думал, пижон, ну, так... почудить, пофилософствовать на досуге. Всякому полезно. И вы, наверное, так про него подумали. Впрочем, и неудивительно. В школе всегда куча дел — то, да се... много ли о человеке узнаешь? А по юности мы и не пересекались почти — только что в одном институте и в одно и то же время.

Вот он мне и говорит:

— Понимаешь, строем к Богу никогда не прийти. Строем только в галюн ходят или там в столовую для начала. Мутит их этот старик, а они и рады, уши развесили. А все потому что свой, лагерный.

— Тебе-то, — говорю, — что с того? Прийти — не прийти, какая разница? Может, это их местная особенность такая — строем ходить. Нам-то с тобой не все ли равно?

А он меня и не слышит вовсе. Запал на свою древнюю историю.

— Понимаешь, — говорит, — русского мужика упрямее нет и не было. Шуточками да песенками его не проймешь. Ухмыльнется и опять за свое. Я,

мол, и неказист, а в своем деле мастер. А ты, белая кость, и к корове-то не знаешь, как подойти. Чтобы его упрямство перешибить, нужно на его поле выиграть. Тогда ты авторитет. Тогда тебя слушать станут. А иначе не суйся. И вообще, — говорит, — ближе надо к народу.

— И как же ты, — спрашиваю, — собираешься на его поле выигрывать?

— Посмотрим, — уклончиво хмыкнул Колька.

И вот на другое утро на клубе и на церкви появилось странное объявление. Яркой губной помадой на нем красовалось:

Брат Николай вызывает любого на состязание по крестьянскому искусству. Орудие /пила, топор, коса и т.д./ выбирает сам претендент.

Конечно, это были те самые «боевые листки» из клуба, перевернутые наизнанку, а помада, разумеется — Катеньки Лактионовой.

А народ собирался, подходил, вчитывался и, посмеиваясь, тыкал пальцами в нашу сторону.

— И кто это у вас умелец-то, ась? Это очкарик-то, что ли? — крикнул один рябой из толпы. — Нехай придет, моейну козу подоит. А я евовные стекла пока подержу.

— Подоить он ее, как же! А посла она у яво в клубе пропишется, — отвечал ему другой без передних зубов и с подбитым глазом.

— Велика потеря! — хмыкнул первый. — Я яму и Клавку отдам в придачу, все одно — сносились.

И это были еще самые безобидные шуточки.

— Вот уж батюшка-то задаст вам, охальники! — ругалась на них хромая старуха, грозясь крючковой палкой.

Но дальше этих хихонек дело не шло. Никто не спешил принять дерзкий вызов заезжего гастролера.

И вот в самый разгар калорийного, как всегда, обеда, в котором к шам из куриной требухи полагался насыщенный морковный чай а-ля каркаде, на пороге нашего клуба выросла знакомая фигура местного Самсона.

— Хлеб да соль! — приветствовал наше застолье брат Иван и, обернувшись к Кольке, пробасил: — Завтра с утра косить пойдем. Выбирай себе струмент, паря!

— Косить не копать, — хмыкнул себе под нос Колька и опять уткнулся в свою тарелку.

А вечером мы с ним на пару отправились по домам выбирать косу. И вот ведь странное дело, никто не спешил поделиться с нами своим «струментом». Домах в пяти-шести нам не то чтоб отказали, а даже и разговаривать с нами не стали, и лишь в следующем сжалились.

— К Чубайсу ступайте. Он даст, — ответила нам та самая хромая старуха, что утром ругалась у церкви. Сперва-то мы с Колькой подумали, это издевательство такое изощренное — не надо ли, мол, прошлогоднего снега? К какому, мол, такому Чубайсу? Но старуха ткнула своей палкой, указывая на дом, и мы с Колькой отправились к тезке известного экономиста.

— Какой я вам Чубайс?! Семеном меня звать, — обиделся тот. — Как есть Семен Иноземцев. А они учудят глупость всякую и давай ржать, еще и других науськивают.

— А чего вдруг — Чубайс? Не рыжий вроде бы, — полюбопытствовал Колька.

— А!.. Пес их знает! — нехотя отозвался тот. — Сами-то почто явились?

Колька коротко изложил суть дела, посетовав на то, что все ему отказали.

— Жаль мне тебя, паря, — сморщил улыбку Семен. — Ты косу-то в руках держал ли?

— Приходилось как-то, — пожал плечами Колька.

— Как-то! Как-то! — ворчливо передразнил Семен. — Есть у меня одна «литовка» хорошая — бритва! Сам правил! — похвалился он. — Мы вроде бы одного росточка, так тебе сподручно. Но смотри, загадишь!

— Две верну! — побожился Колька.

— Пошто мне две? Двумя-то косить не станешь! А таких уж теперь и не сыщешь, теперь все новодел... Штамповка! — презрительно сплюнул он.

А я все на Кольку поглядывал, все поверить не мог — всерьез он это затеял, что ли? Может, опять подвох какой-нибудь?

Утро задалось гнилое, туманное. В кустах скрипела какая-то пичуга, а на опушке выстукивал мелкую дробь дятел.

— Самое то для дуэлей! — подмигнул, потянувшись, Колька. Он еще с подъема взбадривал себя такой ерундой: «...пистолетов пара, две пули — больше ничего — вдруг разрешат судьбу его» или «Он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета».

Вся деревня без малого высыпала на поле. И как ни пытался Порфирий их разогнать — «Нечего тут глазеть! Ишь, собрались бездельники!» — у каждого находилось поблизости какое-либо занятие: корову там подвязать или собрать зверобой для заварки. Ну, и наши, конечно же, тоже пришли поболеть за родного учителя. А брат Иван уже рядышком похаживает, Кольку в упор не замечает. И сам весь при параде — в яловых, натурально дембельских сапожках, и коса у него на плече как секира.

Кинули жребий. Начинать выпало этому псевдо-Самсону. Колька, значит, правее встал, ждет. Тот начал. Колька выждал маленько, дал тому метра два и пошел следом. И гляжу, косит, косит — как ручкой в блокноте строчит! Не отстает! Вот мать честная! Где ж ты, думаю, выучился? А ребяташки наши визжат от радости, речевку на ходу заложили:

Коля, давай, давай!

Коля, не отставай!

Взялся!

Собрался!

Сразу оторвался!

Ну какой он им Коля, в самом-то деле? А с другой стороны, что им, Николай Иванович кричать, что ли? И крестьяне вокруг возбудились, тоже орут!

И тут смотрю — глазам не верю, гонит его Колька-то наш! Гонит! «Поберегись! — кричит. — Пятки подрежу!» А тот запыхался, сачковать стал — там не скосит, там травка торчит — а не оторваться! И косить еще метров сто, не меньше. Но упрямится, черт здоровый, не уступает. Так и пришли вместе.

Порфирий сразу же руками замахал, скомандовал, мол, все, баста! Давайте, мол, расходитесь! Но народ-то ведь не дурак, не проведешь; он все видит. Кричат — пусть теперь тот наперед станет! Ивану-то, видать, больно уж не хотелось, а куда денешься? Надо сызнова все начинать! Косу бил правилом, аж искры летели!

И вот встали опять, пошли. Тут уж наш Колька-то его и уделал по первое число, по самое некуда! Метров на тридцать вперед ушел — не догнать! Встал на

конце, ухмыляется, а тот еще минут пять до него докашивал. «Коса, — говорит, — не того строя попалась, не отбитая. Заточки не держит». Ну, где ж там! Плохому танцору всегда что-то мешает! А свои посмеиваются. Обглядел, мол, тебя, Ванька, глазастый-то! Посноровистей тебя будет!

Порфирий, тот сразу сбежал, не дожидаясь развязки. Должно быть, еще какую угрозу затеял. А мужики уважительно обступили, и Чубайс вместе с ними.

— Не гадал, что ты Ваньку обскачешь, — честно признался он. — До конца овинника бы дошел, думаю.

— Коса уж больно хороша попалась, — лукаво ухмыльнулся Колька.

— К косе-то еще и руки нужны, паря, — ответил Семен.

— Ну! — согласился Колька. — А к тулову — голова! — и кивнул с усмешкой в сторону деревеньки.

Мужики оценили намек, загудели.

— Нам самим этот Порфирий во где! — резанул один ладонью по горлу, — а куды денешься?

Он плюнул, выругался и махнул безнадежно рукой.

— Простое лето на заготпункт нас погнал за мукою, — вступился другой, — сыру с собою дал, меду в обмен. А там семьдесят верст, да жара! Все вскипело!

— Ну, я-то тебя сразу раскусил! — подошел третий, тот, что козу предлагал подоить у церкви. — Я еще давеча Клавке своей докладывал, мол, тока очки сыми, и сейчас за трактор — нашенский! — и осклабился. — А нету ли, мужики, покурить чего? Второй год одну картофельную ботву смолю, будь она неладна!

Запасливый Серега, который один у нас и курил, вынул пачку. И опять все вокруг загалдели, потянули крючковатые пальцы.

— Я ведь ему еще давно сказывал, уходить надо отсюда! — оторвался от первой затяжки Семен. — Деловой лес свели давно, остались так... слезы. Чего тут делать? Разбирай узкоколейку помалу да гоняй дрезиной. Тут энтото железа в тайге... на миллионы! А он мне — Чубайс! Чубайс! С той поры и повелось.

Он затанулся, уныло мотнул головой и закончил:

— А тапера чего? Заглохла вся дорога вконец и следов не сыщешь...

Мы сидели в клубе, слушали Колькин рассказ про его деревенское детство: про сенокос, про пасеку, про то, как ставили они с отцом новый дом, клали печку...

— Понимаешь, — говорил Колька, — косить не шибко мудреное дело — тут все в сноровке. А вот сушить, стоговать, да так чтоб не развалилось, не сгнило, чтоб до весны дотянуть, до первой зелени — тут опыт нужен! Практика! Только кому бы это теперь пригодилось? Вчерашним хлебом сегодня не насытишься...

— Как это, кому?! — спохватилась Верка. — Нам, людям и нужно! Чтобы знали! Чтоб помнили как это все было. Ну, вроде действующего музея под открытым небом.

— Разве что! — хмыкнул Колька. — Вроде нашего дирижабля. Летать-то — летает, только не знаешь, куда прилетишь.

И вот в самый разгар беседы, этих почти семейных воспоминаний вдруг бац! Дверь снаружи захлопнулась на щеколду как в наш первый приход, а в оконце просунула голову Мать-Тереза.

— Что, допрыгались?! Доигрались?! Говорила я вам, ведите себя как люди!

Говорила? Вот теперь дождались! — и улыбочку такую ехидную соорудила, — развели тут политику, понимаешь! Это ж надо — мужиков подбивать! Не выйдет! Посидите теперь, голуби, под арестом, подумайте! Может и поумнеете с голодухи. Узнаете как ваши деды не доедали, не допивали — жизнь счастливую строили.

Выпала она это, значит, скороговоркой и обратно голову шаст! — как черепаха. Мало ли, мол, чего от этих школьников дожидаться? Вспомнилось, наверное, как однажды на кнопку уселась в подозрительно притихшем классе.

А мы сидим истуканами.

— Ну... и чего будем делать? — спрашиваю. — Революцию в этом колхозе дожидаться?

Ребятки молчат, насупились, а Колька с Сергеем перекинулись выразительным таким взглядом, будто все уж давно порешили.

— Как ты, Серега? Не передумал еще? — мотнул головой Колька. — Не бросать же их тут на произвол?

А тот зашептал что-то на ухо сыну, обернулся.

— Нет, — говорит, — все нормально. Останусь. Тракторок — без проблем — починим! И дорога не так уж и заросла. Выберемся!

Тут до меня наконец дошли их военные тайны, а ребята глазами хлопают, не понимают ни слова:

— А мы как же?

— А мы с вами ту-ту... полетим нынче ночью, — заговорщически подмигнул Колька. — Кстати, и ветерок нам попутный — на запад.

— Так дирижабль же сломался?

Колька даже рассмеялся в ответ:

— Это кто ж вам сказал, что сломался? Кому вы поверили?

— Просто мы взяли на борт лишнего пассажира, — пояснил я.

— Не того пассажира, — уточнил Колька.

В общем, дождались мы темной ночи, подняли меня на плечи мужики, я потолочную доску и вышиб — недаром же Лев Захарович меня посылал. А дальше через чердак наружу и огородами, как Котовский. Ищи ветра в поле! Даже ни одна собака не тявкнула! А Мать-Тереза с носом осталась — осталась покупать свою лестницу в небо, как пошутил Колька.

И с дирижаблем проблем не возникло. Толик, то есть Кулибин-младший, Кольке во всем помогал. Да Колька и сам не дурак в технике. Сколько помню, у него всегда «копейка» была. И как дожила только до нынешних дней? Не понимаю.

Колька гений — не я! А у меня всей техники — лыжи. Друзья мне всю жизнь советуют, купи лыжероллеры, освоишь! Но там же винтики, колесики, подшипники разные, смазка... Там же думать чего-то надо. На простых-то куда привычнее! Вот и жду не дожусь каждый год зимы, как манны небесной. Все в окошко поглядываю: не пошел ли уже снежок?

Санджар Янышев

Творог и Масло

Рассказ

Анатолию Найману

Автобус навсегда покинул Теплое озеро (озеро, кстати, было морем, а вода в нем холодна, как рыба кровь) и уже семь часов из пятнадцати ползползполз... Горы все больше походили на гигантские, в несколько слоев, лепешки животного происхождения. Ночь приняла форму ползущего сарая, смешавшись с настоящей духотой вкуса козьего молока.

Любимый артист, за пластинку которого меня шельмовал однажды мой иракский дядюшка («То, что ты купил, знаешь, как называется? Фуфло!») — все равно любимый — на повторяющихся трех нотах выкликал женщин с опереточными именами, пахнущими, как клумбовые цветы.

Автобус пошел в гору; после «Мюзетты, Жаннетты, Жоржетты» большегрузный водитель, не дождавшись итоговой «ах, Мурьетты», проявил солидарность с дядюшкой и чуть смазанным щелчком учредил ташкентские новости. Силы были неравны, всюду ночь, прости нас, любимый артист, приеду домой, все поправлю...

Нас — то есть меня с братом (он рядом, всегда рядом) и маму (она сзади дремлет, всегда дремлет, никогда не спит).

Если обернуться в черную перспективу межкресельного прохода, то по диагонали от мамы также не спит красивая женщина с длинными, похожими на проволочный лабиринт волосами. Она давно уловила этими антеннками мой интерес — я чувствую связь, хотя и младше ее вдвое. Ей, наверно, тридцать — в этом возрасте нас родила мама, эта цифра навсегда — магический компас: раз в тридцать лет стрелка принимает исходную позицию под названием «кто ты?». Когда мне будет тридцать, я спущусь в Аид, в шестьдесят похороню Главного Человека, в девяносто похоронят меня и так далее.

На Горячем озере мы познакомились с двумя тридцатилетними подругами из Кемерово: у одной хозяйки жили, на пляж ходили вместе, в бадминтон играли; я вообразил, как мы с братом на них женились, но сперва вызвали на дуэль их тридцатилетних мужей и убили в неравном поединке. Я как начинающий Шекспир прожил эту сцену и все следовавшие, я увидел всех героев и яркий, спустя тридцать лет, финал.

Санджар Янышев — поэт, переводчик, сценарист. Автор пяти книг стихов, составитель антологий и альманахов, посвященных современной литературе Узбекистана. Публикуемый рассказ — из готовящейся к изданию книги «Умр».

И вот я еду в автобусе домой и сравниваю собственную задумку с тем, что произойдет *на самом деле*.

Я сыграю на московской сцене роль Клавдия; брат сделает предложение моей третьей жене; а потомственный алкоголик Упырь, чем-то прельстивший малолетку Вику, проживающую над нами со своим дедом, сделает ей ребенка, внедрится со своей мамашей-упырихой в ее жилплощадь, на место отравленного внучкой деда, и они станут ждать, когда подрастет ребенок, чтоб избавиться уже от Вики; и упыренок действительно подрастет, зарежет и папу, и бабушку — не из мести за маму, а ради той же самой жилплощади — или просто так. «Шекспиру и в голову не пришел бы такой сюжетец».

Слева от меня — зеркально, через проход — Карлик (туловище большое, ножки короткие) в тюбетейке, с мокрым носовым платком, расправленным и прилепленным к шее, словно пластырь. Он ведет свою речь давно, он вкладывает ее рыхло-творожными комочками в помятый приемник того, кто еще левее, кто целиком нам не виден — только большое увядшее ухо... Оно, впрочем, также сокрыто ночью — можно лишь догадываться о его частичном присутствии. *Слухом брата* я сосредоточен на еле сочащихся радионовостях, но *своего* мне сейчас достаточно, чтобы разгрузить незримого слушателя: все сказанное должно быть услышано, все услышанное — забыто.

«Ка-анечно, ты жаловайся. Горбачеву. Пугачеву. Аллаху. Ой-бо!.. Положи это сюда, я не возьму. Ты когда последний раз кушал? Два часа? Уже надо. Не хочешь? Смотри... Басня Крылов знаешь? Попрыгунья-попрыгай... Лета красный пел? Пел. Ахборот¹ смотрел? Смотрел. Чай-лепешка кушал? Кушал. Тамара Ханум² слушал? Слушал. Вот теперь меня послушай».

Спрашивая и отвечая, Карлик, должно быть, похлопывает собеседника по внешней стороне ладони и пяткой потирает себе пятку, в память о карликовых сандалетах в спертой темноте подошвенного уровня.

«Твой праблем-маблем — это тьфу! Забудь. Ты чистоганский урус? Ну, русский, татар? А-а-а. Иссык-Куль отдыхал? Хоп, слушай. Если че непонятно скажу, спроси, хоп?»

Есть женщина, Асаль, мед. Женщина хорошая, красивый, аспирантур кончила медицинский. Хочешь, отдам тебе, будет твоя жена? Уже надо — ты мужчин или нет?.. Только ты делай, что я скажу — и тип-хоп... Разный нитка идет к Асаль. Вот за один нитка потяну, смотри что будет.

Отец у нее сволочь, скотина, только хуже, всем плохо делал, себе одному хорошо, людей убивал, сам стрелял, в 37-й, 38-й, война был — тоже стрелял, своих, не чужих, пытал, потом стрелял: особист был, враг искал, мно-о-ого... Имя — Эмас³.

Один выстрел Эмас сделал хороший: Асаль, — но тоже, *анаиньски*⁴: сначала ее мама украл, у хороший человек украл. Как украл? Слушай, интересно.

Был девушка, Мухае, в Бекабад жил; был парень, Ким⁵, Мухае любил, жениться хотел, все правильно сделал, к ее отец Искандар-акя пришел, рука

¹ Ахборот — новости (узб.).

² Тамара Ханум — советская танцовщица, певица, народная артистка Узбекской ССР.

³ Эмас — отрицательная частица «не», «ни» (узб.).

⁴ Нецензурное узбекское пожелание (родственное русскому «...твою мать»).

⁵ Ким — кто (узб.).

просил, отец сказал: по узбекский обычай женись — тогда даю тебе Мухае. Ким — механизатор, Искандар-акя — тоже механизатор. Хоп, по руки ударили, назад дорогу нет, только вперед.

А тут — опске! — Эмас, брат Ким (папа общий, мама разный), он тоже Мухае жениться хочет, пришел:

— Дайте мне Мухае.

Искандар-акя говорит:

— Как я тебе даю Мухае? Она Ким невеста, Ким твой брат.

— Э, какой он мой брат, пол-брат, почти не брат, дай Мухае!

— Поздно, назад дорогу нет.

Никох¹, все правильно сделали, мулла позвали. Потом все в один дом жили: Ким, Мухае, Эмас, папа общий, мама разный.

Один день Эмас пришел, мешок принес, тяжелый.

— Бери, Ким, мешок, дай мне Мухае!

— Это чо-о-о такое?

— Это земля, хороший, мягкий, как масла, ке, смотри...»

Автобус пошел под уклон; сейчас он катился, будто на одной инерции — мотора я больше не слышал, барахтающегося слева бубнежа — тоже. Я слышал мамино еле-ельное дыхание (почему спят всегда громко, а дремлют тихо? — наоборот должно быть!), я слышал мелкий порошок колес под дымящимся металлом. Все радионовости — и свежие, и вчерашние — свернулись в узкую трубочку, прицелившуюся свободным концом в сторону задних кресел (и красивой женщины с проволочными волосами). Поэтому к вещанию Карлика я подключен теперь *слухом брата*. На сей раз контрабанда разворачивающегося сюжета — как подтаявшее масло, без единого комочка; ухо адресата лоснится и капает в подставленный платок.

«...Открыл Ким тот мешок, в мешке и впрямь — земля: черная, жирная.

— Зачем мне земля?

— Придет время — она превратится в золото.

— Брат, мне не нужно золото.

— А чем со мной расплачиваться будешь, когда срок настанет?

— Какой срок?

— Увидишь.

Ушел Эмас, уехал в Ташкент, сделался большой начальник, стал врагов республики преследовать. Эмас в Ташкенте служит, а в Бекабаде исчезают люди. Каждую ночь кто-нибудь пропадает бесследно. Пропал Кимов друг Фархад. Искандар-акя, отец Мухае, пропал, словно в небо улетел. Два брата Мухае исчезли, словно под землю провалились. Алексей Гамлетович, Кимов дядя по матери, ушел на работу — не вернулся. Мать Кима поехала его искать в Ташкент — две недели нету от нее вестей...

Собрался Ким. Поцеловал Мухае, взвалил себе на плечи мешок с землей и отправился в столицу.

Больше его никто не видел. На следующий день приехал в Бекабад Эмас и объявил оставшимся жителям, что пропал его брат героически, что ушел в

¹ Никох — узбекская свадьба.

никуда, поэтому не вернется ниоткуда. И он, Эмас, принимает на себя жену своего брата — по законам человеческим и небесным.

И увез Эмас, большой начальник, Мухае в Ташкент. И стали возвращаться в Бекабад пропавшие люди: мать Кима, дядя Кима, два брата Мухае, отец Мухае, единственный друг Кима...

Спустя годы, в 57-м, уже старухой родила Мухае близнецов: мальчика и девочку. И вот какая странность. Мальчик был похож — и лицом, и фигурой — на Эмаса, девочка — статью и красотой — на Кима, сводного брата Эмаса. И назвала Мухае дочку — Асаль, что означает “мед”. И назвал Эмас сына...

Автобус остановился. Но прежде, покуда Карлик лил свое масло, из черноты салона вышла женщина, *та самая*. Она проплыла, как медуза, едва коснувшись меня узкой полоской прохлады. Весь оставшийся воздух забрали наэлектризованные волосы, образовавшие за спиной женщины черную устойчивую пену. Она что-то сказала водителю, и спустя полминуты автобус встал, двери раздвинулись облегченно.

Выпустив женщину, большерукий водитель впервые повернулся лицом к салону и оказался латышским актером Лицитисом из жуткого фильма «Акванавты». Наверное, он хотел предложить пассажирам прогуляться, но, чуть помедлив, вышел сам. Я прокрался к выходу, оставив позади маму, брата и притворившегося спящим Карлика. Женщины нигде не было.

Мы стояли в степи, на обочине мира: даже рисунок звезд был иным, нежели тот, который я выжигал на фанере раскаленной заколкой для волос. «Ирак!» — кольнуло под нижним ребром. Дырявая крышка чуть приподнялась, в узкой щелке показался день другого места, другого мира — видение было почти случайным, ничего не стоило его отнять как неоплаченное...

И тут я услышал знакомый, с комочками, голос.

«Попрыгунья-попрыгай... Вот здесь чисто граница, а я знаешь кто? Натуральский пограничник. Хужайин. Здесь — мой закон, понимаешь? А на тебе тридцать живой человек. Пока живой...»

Карлик! Я вижу три силуэта. Водитель и еще кто-то третий, самый высокий, почти вдвое против Карлика. Видимо, его сосед по автобусу, Промасленное Ухо. Что-то важное решается, нужно обойти автобус, нужно спрятаться за ним, пока еще это возможно. Нет, к автобусу не подойти, меня увидят, меня окликнут, и я навсегда останусь в этой степи, в этой ночи, никто не хватится до самого Ташкента. Мама хватится, она не спит, она дремлет. Опасно для мамы.

Ядвигаюсь в обратном от автобуса направлении, я делаю большой круг, я несколько раз проваливаюсь в какие-то норы. И вот — горячая стена автобуса, мое прикрытие. Можно попробовать войти в салон, но там я ничего не пойму. А здесь я вижу всех троих — и не только вижу. Все сказанное должно быть услышано. Говорит снова Карлик.

Карлик: Э, хурматли, уважаемый, хоп, да? Мне лично — чо надо? Вот этот человек — мой лучший друг, ему жениться надо. А он нищий, как ободранный кукуруза. Студент — чо ты хочешь.

Студент: Расул Эмасович, я...

Карлик щипает лучшего друга пониже спины, тот задумывается.

Карлик: Ему жениться, а у невеста брат — жадный, просит бакшиш. Много просит, тебе столько не спать. Двадцать мешков золота просит. Деятнадцать я

даю. Один — ты дай. Или твой автобус, знаешь, в Ташкент не успе-е-ет. По дорога мелкий камень на колесо, обрыв попадешь, и от глупый муравьешка будет плоский лепешка, да? Давай, назад дорогу нет, только вперед.

Все-таки — в салон, закрыть двери, запереться, попробовать завести мотор. Разбудить пассажиров? Откуда у водителя мешок золота? Подкрасться к Карлику и — камнем его по огромной голове? А если в автобусе — сообщники?

Карлик: Я тебе что, ты думаешь, обманываю? Я тебе щас невеста покажу. Асаль, опске, Асаль!

Медленно, словно под водой, мимо меня проходит Женщина с проволочными волосами. Где она все это время была? Пряталась за колесом, приняв карликовые формы, а теперь с каждым шагом становится выше... Она меня не видит — где я?..

Асаль приближается к Студенту и берет его за руку. Студент закрывает глаза; он готов на все. На все готов и большерукий латыш. Живая невеста — это аргумент. Что тут поделаешь? Нужно доставать бакшиш.

«Один мешок давай. Девятнадцать я даю», — напоминает Расул Эмасович.

Латыш идет к автобусу, восходит к своему водительскому креслу, из-под нижнего пуфика извлекает тяжелый мешок и протягивает его оседлавшему нижнюю ступеньку по-хозяйски проворному Карлику. «Малядесь, ай, малядесь, щас дорога будет чисто масла, два часа Ташкент будешь... Нет — один час. Гарантия!»

Спустя полминуты я вижу всех троих на фоне рассветного экрана, они торжественно удаляются прочь: Женщина, Студент и Карлик с мешком. (Задача от нашего физика Гришани: что больше весит — килограмм золота или килограмм хлопка?) Проворный Карлик даже не заглянул в мешок.

Какой опасности мы избегли — рабства в гнилой яме, среди чужих языков, мучительной или мгновенной смерти... Никто не поверит, даже брат.

«Мальчик, эй, мальчик, ты с нами?»

Лицитис заводит мотор, через стекло судорожно сжавшихся створок я пытаюсь еще провожать прекрасную троицу, но машина совершает разворот — пора занять свое место.

С наступлением света приходит озноб. Как ни странно, мама давно (судя по напряжению во взгляде) бодрствует. Неужели она видела?.. и слышала?.. Нет, она видела другое, она слышала по радио новость, которая отменяет все, что со мной только что, этой ночью, этим летом, произошло. Отменяет Карлика с его роковой сестрицей, коварного папашу, бекабадских родственников и даже злосчастного Кима...

Я бужу слух брата, потому что сказанное мамой предназначается нам обоим. Я прошу ее повторить и слушаю странную, непостижимую, первую в своем роде, касающуюся каждого (и даже иракского дядюшку) новость — *всеми четырьмя ушами*.

«Умер Андрей Миронов».

Ольга Постникова

Крепкий прошив хребта

* * *

Мы проходим, ненужные нашей стране,
Этой жирной земле, плодородной, безбожной,
Той, что в предначертанье несёт осторожно
Крепкий прошив хребта на невинной спине.

Памяти Ильи Рубина

«Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым»

Н.А. Некрасов

Когда б ни умер, не жалею его —
От сахарной болезни ли, тромбоза ль
И даже от читинского мороза...
Жаль только эти белые берёзы.
Т а м белого не будет ничего.

«Но ощутимы будут свет и мрак
На уровне молекул после жизни», —
Так верил он в своём материализме.
В день февраля на языке отчизны
Мне, предпоследней, подаёт он знак,
Чтоб мы с тобой не плакали над ним:
Навеки он остался молодым.

Постникова Ольга Николаевна — поэт, прозаик. Доцент кафедры реставрации РГГУ. Реставратор стен и башен Кремля, Большого Кремлевского дворца, Архангельского собора и других храмов, античных сооружений Крыма. Автор книг стихов «Високосный год» (М., 1984), «Fegum» (М., 1998) и др. и романа «Радуйся!» (М., 2010). Лауреат литературной премии Фонда А. Тепфера (1994, Германия). Живет в Москве.

* * *

Ты знаешь слова «Никогда»
Почти органное звучанье,
Моё прощальное молчанье,
Любви несказанное «Да».

Словам не долететь сюда.
Твоим чертам во тьме распасться,
Твоих мне не касаться пальцев,
Не просыпаться никогда.

Так этот мир тебе сродни,
Что ты совсем уйти не сможешь —
Держи в зрачках, на шёлке кожи
Клеймо России сохрани.

Моя стопа в твой влажный след
Не попадёт в траве высокой,
Не ляжет из подвальных окон
На нас осенний млечный свет.

Но ты не слышишь ничего.
И я, оставшись, немею.
Твои глаза, они темнее,
Черней топаза моего.

Любые, вечные года, —
Но чтоб на миг увидеть снова,
Сказать с тобой хотя бы слово,
Хотя бы слово «Никогда»!

* * *

Меня здесь нет, в твоих стихах последних,
Ты стиль сменил, ты имя пропустил,
В который раз ты все стихи, все бредни
Любви новой перепосвятил!

А я тебя когда-то упрекала:
На улице меня не узнаёшь!
А лампочка светила вполнакала,
А юность пропадала ни за грош.

К средневековым авторам Китая
Питая ненормальный интерес,
Был обречён ты как рождённый в мае
Намаяться по графику небес.

И в том краю, где олеандр и туя,
В безгрешном верещаньи райских птах
Ты вечно молод, и к тебе иду я
Старухой в заплаканных очках.

* * *

Возле церкви в селе Городня
Никогда не положат меня.

В светлый день, неизвестно который,
В этот серый пустой крематорий
На машине свезут, как в гараж,
Где казённая плёнка долдонит,
Хризантемы мне вложат в ладони.
Как ты мерзок, подземный этаж!

После этой возни похоронной
Только серые будут вороны
Ликовать от весны и кричать,
Потому что я так их любила,
Словно что-то родное мне было
В их носках, и прыжках, и речах.

* * *

Больше уже не могу, пощадите меня,
Больше уже не хочу этой работы.
Руки мои чернее день ото дня,
Просто с лесов упаду, не доживу до субботы.

Зеркала я боюсь — там с опухшим лицом,
Точно в картине Целкова, себя увижу —
Квадратноплечим, квадратнощёким бабцом,
Не до искусства мне, не до Парижа.

Тем, что горело внутри, сама себя изожгла.
Похоронила уже и отца своего, и мужа.
Сколько живёт во мне этих слов нелюбви и зла!
Я изнутри еще страшней, чем снаружи.

Как я устала! Всё! — положите меня во гроб!
Столько ещё пережить — не соглашаюсь.
Венчик бумажный пусть мне положат на лоб.
Вот как хочу, чтоб это решалось.

Нищие дети идут по вагонам, и сердце болит...
Только сама с собой говорю, сама с собою...
Но должно до холодов вычинить и побелить
Южный фасад (успеть!) Архангельского собора...

Украина

1

Не межи, не заборы, а растёт конопля,
и грозди висят воробьёв.
Ни прута, ни доски,
только стебли подсолнечника,
из них в огородах летом —
шалаша для детей, «халабуды»,
где у каждого —
полная жменя семечек.

Украинский язык — низы и визги,
а среднего регистра нет.
О, хохлацкая кровь,
из тебя это низменное любование жизнью!

2

Одиноким подсолнухом
в поле стоять перепаханном
на потребу полевым воробьям.
Воробьиные заеды, чёрное семя расклёвано,
сладкие крошечные семядоли.

Облегчилась моя голова,
достоявши до времени,
когда весна звенит
воробьиным тремоло совокуплений.

Алишер Файз

Дипломат

Рассказ

Мы сидели в чайхане недалеко от мавзолея Амира Темура в Самарканде и наслаждались вкусом ароматного зеленого чая. Скоро должны были принести знаменитый самаркандский плов, который специально для нас готовил местный повар. Нас было четверо туристов из Англии, все мы являлись студентами Оксфордского университета, изучали языки и этнографию стран Центральной Азии. Лично я неплохо владел узбекским и русским языками, что позволяло мне свободно общаться со здешними людьми.

Попивая чай, неторопливо беседуя и шутя, мы радовались тому, что университет оплачивал нашу двухнедельную поездку по странам Центральной Азии с целью изучения языков и обычаев. Вокруг все было тихо, мирно, размеренно, и люди, одетые в традиционной манере, вели себя весьма учтиво. Никто никуда не торопился. Мы будто оказались в средневековом восточном городе.

Но вдруг вся чайхана засуетилась, работники стали бегать туда-сюда. Мы, естественно, спросили, в чем дело.

— Срочно готовят помещение для дипломата, — последовал невнятный ответ Бахрама, подростка, обслуживавшего нас.

— Для какого дипломата? — удивились мы.

Бахрам взялся было рассказать о дипломате, но на секунду задумался и, по-видимому, поняв тщетность своих усилий, куда-то быстро убежал.

Ну, ладно, дипломат так дипломат. Что тут удивительного? Ведь древнюю столицу Тамерлана посещают не только обычные туристы, но и дипломаты из разных стран, и даже главы иностранных государств. Между прочим, и мой отец был дипломатом. В прошлом году он вышел на пенсию, а до того работал во многих государствах, в основном восточных, включая и Узбекистан. Я учился в школе-интернате в Англии, когда он служил в этой стране, поэтому мне лишь однажды довелось навестить здесь отца, всего на несколько дней. Но он очень хотел, чтобы я увидел Самарканд, Бухару и Хиву.

— Ты много нового откроешь для себя, — говорил он.

Алишер Файз (Файзуллаев) — ученый, писатель и бывший дипломат. Автор шести книг, в том числе двух сборников прозы. Его рассказы печатались в России, США, Узбекистане и Южной Корее. Живет в Ташкенте.

Мы вернулись к своему разговору и продолжили терпеливо ждать заказанный плов.

Но плова все не было, и парень куда-то исчез, видимо, готовясь встретить загадочного дипломата. Я сам подумывал стать дипломатом, и родители поддерживали эту идею, но из-за неудобств, причиненных нам неизвестным дипломатом в самаркандской чайхане, в тот момент я ощутил чувство неприязни к дипломатической профессии.

— Что за ерунда, почему мы должны терпеть эту идиотскую ситуацию из-за каких-то там дипломатов? — возмутился Дэвид.

— Вот увидишь, сейчас сюда подкатит шестисотый «мерседес» и встанет вон там, — ехидно заметил Тони. — И загородит всем проход. Как говорится, дипломатическое решение проблем.

— Интересно, откуда он? Американец, наверное, — предположила Лиз.

Я промолчал, почему-то вспомнив о британских дипломатах Артуре Коннолли и Чарльзе Стоддарте, которых обвинили в шпионаже и казнили по приказу бухарского эмира Насруллы в 1841 году в разгар «Большой игры» — британо-русского противостояния в Центральной Азии за господство в этом регионе.

Между тем сумбурные приготовления в чайхане продолжались. Быстро освободили центральное и, по-видимому, самое хорошее помещение, привели его в порядок, выставили какие-то яства, напитки и даже свежие цветы.

— Ишь ты, и виски откуда-то раздобыли, — отметил Дэвид, наблюдавший за процессом сквозь единственное окно нашего «отсека».

— Небось, и бабу держат наготове, — буркнул Тони.

— Эй, выбирай выражения, — Лиз неодобрительно посмотрела на него.

Хотя мы изрядно проголодались, нам стало даже интересно. Мы все чаще поглядывали в окно, ожидая увидеть красочную церемонию прибытия важного посланника. Я представил посещение дворца Темура в Самарканде послом Кастилии Руем Гонсалесом де Клавихо в начале пятнадцатого века, ибо накануне читал его воспоминания на русском языке.

Но время проходило, а дипломата все не было.

Наконец Бахрам принес плов.

— А где же ваш дипломат? — спросил я у него. — Еще долго будете ждать? Парень сначала не понял, а потом, сообразив, ответил:

— Так он уже сидит в соседней комнате, но скоро, наверное, уйдет.

— Как? А где же его машина, свита? И как он зашел туда так незаметно? Парень улыбнулся.

— Он всегда ходит незаметно, и с виду никто не скажет, что это важный человек.

— А из какой он страны? — поинтересовался Дэвид.

— Как из какой? Наш он, самаркандский.

Мы удивились.

— Что, он родился здесь и теперь служит в Министерстве иностранных дел Узбекистана?

— Да нет, какое там министерство? Я же говорю: наш он, здешний, и зовут его Ибрагим, вернее, Ибрагим-ака.

— Почему же вы зовете его дипломатом?

— А он и есть дипломат, но только не работает в министерстве, — сказал Бахрам и, схватив пустой чайник, быстро выбежал из комнаты.

Мы озадаченно помолчали.

— Может, у него кличка «дипломат», и он главарь местной мафии? — высказал наконец догадку Тони.

— А что строить догадки, может, посмотрим на него? — предложил Дэвид.

— Ребята, давайте сначала съедим плов, а потом делайте что хотите, — тонким, но решительным голосом сказала Лиз.

Мы согласились и приступили к трапезе.

Однако мои мысли все время возвращались к дипломату. Не доев, я встал и направился к выходу.

— Ты куда, Майкл?

— Сейчас вернусь.

Я подошел к соседней комнате, тихо открыл дверь, сунул голову внутрь, а затем медленно вошел. На мое удивление, в комнате никого не было. На столе стояли фрукты, чайник и пиалы, в углу валялась неоткрытая бутылка шотландского виски «Glenfiddich» (18-летней выдержки!). Обескураженный, я вышел и увидел Бахрама.

— Где же дипломат? — спросил я.

— Он только что ушел, — невозмутимо ответил он.

— Как? — Это было странно, ибо не только я, но и мои друзья все время поглядывали в окно, желая увидеть пресловутого гостя.

— Его срочно позвали в другую чайхану. Для важного дела.

— Для какого важного дела?

— Не знаю, сказали, что его там ждет какая-то зарубежная делегация. Возможно, даже английская. — Бахрам как всегда внезапно исчез.

Теперь этот так называемый дипломат заинтересовал меня по-настоящему. Я вернулся к друзьям, рассказал о случившемся и заявил, что собираюсь найти «самаркандского дипломата».

— Где же ты его найдешь? — удивился Дэвид.

— И зачем его находить? — пожал плечами Тони. — Кому он нужен?

— Нам завтра ехать в Бухару, а через три дня возвращаться в Лондон, — заметила Лиз.

— Ребята, не знаю, как вам, но мне чертовски хочется взглянуть на этого человека. Сам не знаю почему, но хочется, — ответил я.

— И что ты собираешься делать?

— Пойду, поспрошаю у людей, попробую отыскать его следы.

Друзья с явным неодобрением восприняли мое намерение.

— Да ты не знаешь города, тебя могут обмануть, обобрать! И ради чего?

Чем больше пытались меня отговорить, тем сильнее мне хотелось найти дипломата. Наконец друзья махнули рукой и пошли на очередную экскурсию, а я направился к Бахраму.

— Бахрам, мне очень хочется встретиться с вашим дипломатом, помоги, пожалуйста, — попросил я, следя, чтобы парень вдруг не исчез.

Бахрам внимательно посмотрел на меня.

— У тебя есть важное дело к нему?

— Да, — решил соврать я. — У меня к нему очень важное дело.

— Не обманываешь? — глаза парня сверкнули.

— Нет, не обманываю, — твердо солгал я.

Впрочем, в тот момент я верил себе. В конце концов, я же собирался стать

дипломатом, и мне было ужасно любопытно. С профессиональной, если хотите, точки зрения.

— Хорошо, подожди тут, — парень куда-то ушел.

Минут через десять он появился вместе с седым человеком в тюбетейке.

— Это мой отец, — представил его Бахрам. — Он тут самый главный.

— Я вас слушаю, — любезно произнес старик.

Взгляд у него был хитрый. Или мне так показалось?

— Мне бы хотелось встретиться с дипломатом, — сказал я. — Помогите, пожалуйста, буду очень благодарен.

— Позвольте узнать: зачем? — Чувствовалось, что человек в тюбетейке не доверяет мне.

— У меня к нему дело.

— Какое, если не секрет?

— Об этом я могу говорить только с ним, — увильнул я от прямого ответа и задумался: о чем же я действительно буду говорить с дипломатом, если вдруг увижу его?

После некоторой паузы мужчина произнес:

— Вам, должно быть, известно, что дипломат очень занятый человек и его нельзя беспокоить по пустякам?

Я утвердительно кивнул.

— Не могу ничего обещать, но переговорю с одним человеком, который, возможно, будет полезен.

Я благодарно улыбнулся, но подумал про себя: «Хитрец, явно что-то замышляет!»

Незнакомец указал мне на стул и куда-то ушел вместе с Бахрамом.

Я сел и стал ждать. Было послеобеденное время, почти все посетители ушли, два-три работника занимались уборкой помещения. Прошло полчаса, никто ко мне не подходил.

Я достал из рюкзака книгу Клавиho — полное ее название звучало так: «Жизнь и деяния великого Тамерлана с описанием земель его империи и зависимых, созданное Руи Гонсалесом де Клавиho, камергером великого и могущественного сеньора Энрике Третьего, короля Кастилии и Леона, с записями всего случившегося во время посольства, отправленного вышеупомянутым королем к названному князю, известному под другим именем Тимурбек, в год от Рождества Христова тысяча четыреста третий». Перевод И.С. Мироковой — и стал читать:

«Город Самарканте расположен на равнине и окружен земляным валом и очень глубокими рвами. Он немного больше города Севильи, того, что внутри [городской стены], а за городом выстроено много домов, примыкающих [к нему] с разных сторон как предместья. Весь город окружен садами и виноградниками, которые тянутся в иных местах на полторы лиги, а в других — на две. А город стоит среди них. Между этими садами пролегают улицы и площади, очень населенные, где живет много народа и где продается хлеб, мясо и многое другое. Так что то, что находится за валом, более населено [чем сам город]. В этих загородных садах много больших и знаменитых построек, и у самого сеньора там есть дворцы и главные погреба. Кроме того, у знатных горожан есть в этих садах свои дома и помещения. И столько этих садов и виноградников вокруг города, что когда подъезжаешь к нему, то кажется, что приближаешься к [целому] лесу

высоких деревьев и посередине его [стоит] сам город. А через город и эти сады проложено множество оросительных каналов; в этих садах выращивают [также] много дынь и хлопка».

Наконец показался какой-то длинный и тощий старик в тюрбане, с белой бородкой. «Местный Дон Кихот», — подумал я.

— Это вы спрашивали дипломата?

— Да, — вздохнул я с облегчением.

— Что вы хотите от него? — в голосе Дон Кихота звучала та же нотка недоверчивости.

— Мне нужно, очень нужно повидаться с ним.

Далее опять были расспросы, я вновь отвечал в общей форме, говорил, что более конкретно могу рассказать обо всем лишь самому дипломату.

Старик оказался въедливым и настойчивым, и мои мысли о простом и наивном Дон Кихоте постепенно улетучились. Не ленись, он разузнал, откуда я, кто мои родители, где учусь и с какой целью прибыл в Самарканд. «Инквизитор какой-то», — пришло мне в голову. Наконец старик пригласил меня в одну из машин, стоявших возле чайханы. Это был допотопный советский автомобиль марки «жигули».

На миг я даже засомневался, идти или нет. А что, если это ловушка? Я не знал этого старика, понятия не имел, куда он повезет меня, кто там окажется и что со мной могут сделать. Заметив мое сомнение, старик усмехнулся:

— Ну что, передумали ехать?

Я тут же взял себя в руки и ответил:

— Нет-нет, едем!

Лишь сев в машину, я заметил, что водитель — лысый бородач лет тридцати — уже сидел за рулем. Лысый с улыбкой посмотрел на меня, обнажив множество золотых зубов. «Палач!» — мелькнула невеселая мысль.

— Good, very good, — комично произнес золотозубый. Видимо, хотел произвести впечатление.

Мне уже было не до разговора с ним, я почти дрожал, увидев плачевное состояние машины. Старик уселся рядом. Лицо у него было серьезное и сосредоточенное, но понять, что у него на уме, возможным не представлялось.

Происходящее не предвещало ничего хорошего. Куда меня везут? Мелькнула спасительная мысль: может, эта развалюха не заведется?

Увы, машина довольно легко тронулась и поехала в неизвестном направлении. Мы двигались явно не в центр города, а куда-то на окраину. Попутчики молчали, водитель время от времени поглядывал на меня и улыбался, сверкая золотом. Минут через двадцать мы подъехали к какому-то подозрительному зданию, на фасаде которого красовалась надпись «Чайхана». Не успела машина остановиться, как к нам подбежал парень с большим желтым конвертом и длинным тонким ножом в руках. Я насторожился. Парень начал что-то шептать на ухо старику, явно указывая на меня. Старик молча взял конверт, нож и отошел в сторону. Затем неторопливо, изящным движением открыл конверт, достал оттуда плотную голубую бумагу и внимательно прочел ее.

— Можно вас? — обратился он ко мне.

— Да, конечно, — я нерешительно подошел.

— Тут, понимаете, такое дело, — начал старик издалека. «Будь осторожен!» —

звенело у меня в голове. — Дипломата срочно пригласили в другое важное место, и он был вынужден покинуть эту чайхану.

— Как же так, мы ведь столько ехали! — Новость не обрадовала меня, но я немного успокоился: по крайней мере, никто не собирается на меня нападать, однако бдительность терять не следует, подумал я, глядя на острый нож.

— Да, жаль, конечно, но что поделаешь? — старик пожал плечами. — Реальность может оказаться сильнее человеческих желаний и ожиданий.

— А он что, действительно такой важный человек?

— Кто? — старик, кажется, был расстроен не меньше меня.

— Дипломат.

— А, ну да, очень важный. Он всем нужен.

— Чем же он занимается?

Старик не ответил. Немного помолчав, он вытащил из большого конверта маленький красный и протянул его мне.

— Это вам от дипломата.

— Мне? — я взял красный конверт, запечатанный сургучом.

— Да. Уезжая, он велел передать его вам.

— А у меня будет другая возможность встретиться с ним?

— Вы пока побудьте здесь, постараюсь разузнать, — сказал старик и вошел в чайхану.

Я раскрыл конверт и достал из него благоухающий голубой листок бумаги, на котором каллиграфическим почерком было написано: «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ВЕЖЛИВ».

Дипломат просил меня быть вежливым? С кем? И почему? Или в этой фразе крылось что-то другое?

Появился старик, рядом с ним шел крупный мужчина средних лет, одетый в традиционный халат.

— Это Акбар, чайханщик, — представил старик мужчину. — Сейчас трудно сказать, появится ли у вас возможность увидеться с дипломатом, но, если хотите, можете побыть здесь и подождать.

— Что означает «подождать»? — спросил я.

— Это означает, что вы будете ждать возможной встречи с дипломатом или весточки от него. Но никто из нас, разумеется, не может гарантировать, что встреча состоится, — сказал чайханщик, глядя мне в глаза.

«А взгляд у него, как у колдуна, — пронеслось у меня в голове. — Острый, будто просвечивает душу насквозь».

Надо было решать, остаться тут или вернуться в город. Время приближалось к четырем. Ребята ждут, беспокоятся. Я решил поблагодарить собеседников и отказаться от дальнейших попыток, но к собственному удивлению вслух произнес:

— Конечно, буду ждать. — И, вспомнив записку про вежливость, добавил: — Я хотел бы поблагодарить вас за потраченное на меня время и оказанную мне честь. Было очень приятно познакомиться с такими отзывчивыми людьми, как вы. Надеюсь, мое присутствие не создаст неудобств для вас и посетителей этой замечательной чайханы. — Для верности я, чуть склонив голову, поднес правую руку к сердцу.

Кажется, собеседники одобрили мои действия. В ответ они тоже произнесли какие-то формулы вежливости и любезно пригласили войти в помещение.

Там меня угостили отличным зеленым чаем, горячей лепешкой и потрясающим виноградом. Неужели это из-за моей вежливости? Или потому, что сам дипломат обратил на меня внимание? Как бы там ни было, я устроился на топчане, по-восточному скрестив ноги и ожидая, что будет дальше.

Тем временем старик, сопровождавший меня, тепло попрощался и сел в «жигули». Золотозубый вышел из машины и помахал мне рукой:

— Good bye!

Я улыбнулся ему и тоже помахал.

Меня непрерывно угощали чаем, сам чайханщик Акбар постоянно навевался и спрашивал, не нужно ли мне чего. Принес красиво нарезанную дыню и настоятельно рекомендовал попробовать.

— Таких дынь вы нигде в мире не найдете, — с гордостью сказал он.

Я поблагодарил чайханщика, попробовал дыню и похвалил ее великолепный вкус и аромат. Затем достал из рюкзака Клавиho и прочел вслух:

«А дыни в этой земле обильны и превосходны. До Рождества у них бывает столько дынь и винограда, что удивительно; каждый день приходят верблюды, нагруженные дынями в таком количестве, что нельзя не удивляться, как они раскупаются и потребляются. В селах их столько, что их сушат и хранят, как инжир, из года в год. А сохраняют их таким образом: режут поперек большими кусками, снимают корку и кладут на солнце, и когда высушат, все собирают, кладут в мешки и так хранят годами».

— Интересно. Будто о наших краях написано, — сказал чайханщик.

— Именно так, Акбар-ака! Это написано в пятнадцатом веке испанским послом при дворе Амира Темура. — Я немного рассказал чайханщику про Клавиho.

— Видно, хорошим дипломатом был, — сказал Акбар и ушел по своим делам.

Я задумался: что означает «хороший дипломат»? Дома у нас была большая библиотека, часть которой относилась к дипломатии и дипломатам. С детства я любил читать мемуары дипломатов. Помню, что писал в своей знаменитой книге «Дипломатия» друг моего деда, известный английский дипломат и исследователь сэр Гарольд Николсон. Идеального дипломата, по его мнению, должны отличать *правдивость, аккуратность, спокойствие, терпеливость, хороший характер, скромность и лояльность*. Тут же вспомнились строки из его книги:

«Но, может возразить читатель, вы забыли интеллект, знания, разум, благоразумие, гостеприимство, харизму, трудолюбие, храбрость и даже такт. Я не забыл про эти качества. Я воспринимаю их как само собой разумеющиеся свойства для дипломата».

Порой я спорил с отцом, пытаясь доказать, что времена великих дипломатов типа герцога Талейрана или даже доктора Киссинджера прошли. Помню, однажды я даже посмеялся над высказыванием Оттавио Магги, взятым из той же книги Гарольда Николсона:

«Посол должен хорошо знать труды Аристотеля и Платона, мгновенно решать самые абстрактные проблемы в правильной диалектической форме, быть экспертом в математике, архитектуре, музыке, физике, гражданском и религиозном праве. Он должен говорить и писать на латыни, хорошо знать греческий, испанский, французский, немецкий и турецкий языки. Будучи знатоком классических наук, истории, географии, экспертом в военных науках, он также должен

иметь развитый вкус к поэзии. Но прежде всего он должен быть прекрасным семьянином, состоятельным и наделенным отличными физическими данными».

— Хотел бы я увидеть современного дипломата, который хоть на пять процентов соответствовал этому описанию, — съязвил я тогда, беседуя с отцом.

Отец молча встал, подошел к своему письменному столу, вытащил из тумбочки какие-то бумаги и вернулся.

— А что ты скажешь по поводу вот этих соображений? Вот послушай:

«Послом следует назначать человека, служившего у государей, смелого в речах, повидавшего мир, мудрого, с хорошей памятью, совестливого и с приятной внешностью. Он должен быть храбрым, воспитанным, уметь пользоваться оружием, ездить на коне, быть величавым, непьющим, не склонным к клоунаде, не играющим в азартные игры, немногословным и мудрым. Хорошо, если он почтенного возраста и человек ученый — тогда посол будет пользоваться доверием».

— Ну, это из той же оперы, — заметил я.

— А заметил, что здесь говорится о таких качествах, как смелость, храбрость, совестливость и мудрость? — спросил отец.

— Восток, по-видимому, — сказал я, зная, что отец был любителем восточной философии, поэзии, мудрости и считал именно Восток родиной дипломатии.

— Ты прав. Это отрывок из книги «Сиясатнаме» Низомулмулка, ученого и визирия сельджукских султанов. Книга написана в 1091 году.

— Сиясатнаме — это что-то вроде политологии?

— Это наука о государственной политике. Книга представляет собой некий восточный вариант «Государя» Никколо Макиавелли. Вернее, книга Макиавелли представляет собой своеобразный западный вариант «Сиясатнаме», ибо написана на четыре с половиной века позже. А теперь вот это послушай:

«Посол должен обладать знаниями, сообразительностью, зрелостью, спокойствием, красноречием, предприимчивостью, мудростью, хорошей памятью, приятным внешним видом, правильной осанкой. Он обязан быть лояльным, верным, искренним, начитанным, чутким, находчивым, непьющим, открытым, храбрым. Ему следует знать поэзию, математику, геометрию, нарды, шахматы, различные языки и письма, каллиграфию, все искусства и ремесла. Посол должен уметь говорить приятные слова, ездить на коне, стрелять, охотиться и владеть собой».

— Это отрывок из книги «Кутадгу Билиг» (в переводе: «Благодатное знание») Юсуфа Хас Хаджиба, жившего в том же одиннадцатом веке в городе Кашгар в государстве Караханидов, — сказал отец.

— Одиннадцатому веку — респект!

— И последнее: небольшой кусочек трактата Ходжа Самандара Термизий «Дастур ул-мулк», что можно перевести как «Назидание государям». Труд написан в 1695 г. в Бухаре при династии Аштарханидов:

«Посол должен обладать красноречием, открытым лицом, умением общаться, говорить приятные вещи и нравиться, быть храбрым, мудрым, умелым и способным пользоваться успехом у людей. Будучи лояльным к государю, он должен заботиться о чести и славе своего государства, а также быть бдительным в отношении возможного коварства врага».

— Мудрость, храбрость, моральные, интеллектуальные, коммуникативные и другие многочисленные и великолепные свойства послов — это, конечно, замечательно, но они, мне кажется, существовали и продолжают существовать в

основном в головах отдельных авторов, довольно далеко оторванных от реальной жизни. В современном мире дипломат, даже посол одной великой державы в другой могущественной стране, — это прежде всего обыкновенный бюрократ, заурядный чиновник, — продолжал стоять на своем я.

У меня были определенные основания так заявить, потому что иногда отец в разговорах с мамой говорил нелестные слова о правительственной бюрократии и своем сопротивлении попыткам превратить его в обычного чиновника. Но отец не согласился со мной, считая, что дипломатия дает отличную возможность для раскрытия потенциала личности, индивидуальных особенностей человека. Деда не было в живых, но он, как мне казалось, своим важным видом на большом портрете в гостиной поддерживал позицию моего отца.

— В конце концов, хорошим дипломатом человек может стать, и не работая на дипломатическом поприще, — произнес отец. — Ведь дипломатом надо быть и в повседневной жизни, не так ли?

В таких беседах я чаще всего не соглашался с отцом, но постепенно, под его влиянием, начал интересоваться Востоком и даже изучать восточные языки.

Время шло, пока я вспоминал деда и отца, сидя в неизвестной чайхане, а вестей от самаркандского дипломата все не было. Прошло часа два, и я почувствовал, что мое терпение иссякает. Только собрался пойти поговорить с Акбаром, как он сам прибежал и быстро проговорил:

— Майкл, к сожалению, дипломат вынужден был срочно уехать в одно горное селение, поэтому не сможет с вами встретиться сегодня.

Я не знал, что сказать. Получалось, что я полдня потратил впустую.

Акбар был смущен.

— Майкл, не расстраивайтесь, — сказал он, опустив голову. — Дипломат просит прощения за неудобства, но он не мог не отправиться в горы — туда должны прибыть делегации двух враждующих селений из соседней страны. Там его помощь очень нужна.

— А почему делегации прибывают в горы, а не в Ташкент или Самарканд?

— Мне это неизвестно. Возможно, для безопасности. Или это было условием дипломата, — Акбар пожал плечами и добавил: — Цена ваш интерес к нему, а также в знак глубокого уважения к британскому народу дипломат любезно предложил вам посмотреть на этот потолок.

Вслед за ним я невольно взглянул на потолок. Он был незамысловато отделан фанерой и окрашен в белый цвет. Потолок как потолок, ничего особенного.

— И что? — удивился я.

— Взгляните, пожалуйста, внимательно, и вы, возможно, увидите то, что хотел сказать вам дипломат.

Я вновь направил взор вверх и теперь не торопился опустить глаза. Вдруг я увидел в одном из углов слова: «УМЕЙ АНАЛИЗИРОВАТЬ». Я долго вглядывался в эту запись на кириллице, а потом опустил голову и стал размышлять. Акбар тихо вышел из комнаты. Я воспринял эти слова как призыв к анализу ситуации, в которую попал. «Я ведь говорил неправду, когда утверждал, что имею важное дело к дипломату. Может быть, они почувствовали это и поэтому не торопятся организовать нашу встречу? Но теперь, кажется, я и в самом деле нуждаюсь во встрече с ним».

Обман, обман... Помню, как-то у нас в университете выступал один бывший посол, который спросил у студентов: надо ли дипломату владеть искусством обмана? Почти все ответили утвердительно, потому что считали, что обман и дипломатия — понятия неразлучные. Но посол возразил, сказав, что хороший дипломат не должен прибегать к лжи, поскольку обман рано или поздно обнаружится и никто не захочет больше иметь дело с обманщиком. Другое дело: дипломат не должен выбалтывать все, что знает, а должен хранить доверенные ему тайны. Короче, дипломат не обязан говорить всю правду. Тогда посол сослался на Франсуа де Кальера, известного французского дипломата восемнадцатого века и автора знаменитой книги «О способах ведения переговоров с государями», который считал, что обман является проявлением умственного убожества, и рекомендовал дипломатам находить средства к достижению целей справедливыми и разумными путями.

Вдруг подумалось: «Если на этом потолке есть таинственные слова, значит, они могут быть и в других комнатах. Возможно, они помогут мне».

По квадратному периметру двора располагалось комнат десять-двенадцать. Я вышел и открыл ближайшую дверь. Там никого не было, я смело вошел и стал изучать потолок. Опять на первый взгляд ничего необычного. Тем не менее, через несколько минут проявились слова: «УМЕЙ БЕСЕДОВАТЬ, РАСПОЛАГАТЬ К СЕБЕ».

Я перебежал в следующую комнату. В ней на двух матрасах по обе стороны низкого стола спали двое мужчин. Я не стал обращать на них внимания, взглянул на потолок и сразу увидел новую запись: «И УБЕЖДАТЬ».

Ага, сначала меня просили быть внимательным и вежливым. Затем обратили внимание на умение анализировать, беседовать, располагать к себе и убеждать. Напоминает постулаты дипломатического искусства.

Дальше была комната, в которой сидело несколько человек. Первым моим порывом было сразу посмотреть на потолок. Но я решил быть внимательным, вежливым, проанализировать и понять ситуацию, побеседовать с ними, расположить к себе и высказать им то, что меня интересует.

— Ассаламу-алейкум! — поприветствовал я незнакомцев, придав голосу учтивость.

— Вуаляйкум-ассалам! — прозвучал вежливый ответ.

— Извините, что нарушил ваш покой, но я из далекой Англии и хотел поздороваться с вами.

— А что вас привело в наши края?

«Анализируй, анализируй», — твердил я себе. И тут заметил, что на одном из моих собеседников была спортивная майка с изображением необычного здания в форме человеческого тела. Под рисунком красовалась надпись: «ДУХ — ЭТО ВНУТРЕННИЙ КАРКАС». «Интересно, на что это намек? Может быть, на необходимость иметь внутреннюю силу?» — блеснуло в сознании.

— Видите ли, я интересуюсь связью символов древней архитектуры с символикой обычных жилых и нежилых помещений, — придумав сходу, но тут же понял, что тема мне действительно интересна и я давно шел к ней. — Собеседники не шелохнулись. — Говоря более конкретно, находят ли отражение великолепные символы архитектурных памятников древнего Самарканда в обычных помещениях, например, в комнатах чайханы. «Умей беседовать, умей располагать к себе, умей убеждать», — твердил я про себя. — И старайся не

обманывать». — Вот, например, взгляните на потолок этой комнаты, — продолжил я ровным голосом. — Все подняли головы. — Что вы видите?

— Давно не ремонтировали, — заметил кто-то. — Краска уже отшелушилась.

— А вы сами что видите? — спросил другой, решив, по-видимому, немного облегчить мою задачу.

— На мой взгляд, каждый узор несет в себе какой-то смысл, порой его можно почувствовать, а порой явственно увидеть или даже прочесть, — сказал я и тут же увидел на потолке новую фразу: «УМЕЙ ДОГОВАРИВАТЬСЯ».

— Пустой потолок, ничего примечательного, — заметил кто-то из собеседников.

— Ну, еще раз прошу прощения, было очень приятно познакомиться с вами, — сказал я.

Присутствовавшие, наверное, подумали, что я немного свихнутый.

— А как там ваша королева? — неожиданно спросил один из них.

— С ней все в порядке, благодарю вас.

— Передайте ей привет.

— Обязательно постараюсь.

Выйдя из комнаты, я увидел Акбара.

— А я вас ищу, — многозначительно улыбнулся он. — Скоро тут будет полно народу, все помещения заказаны на вечер. Поэтому хотел спросить, останетесь ли вы здесь ночевать или вас доставить в город?

— Спасибо, Акбар-ака, мне пора вернуться. Могу ли я тут поймать такси?

— Конечно. Вон машина стоит. Можно сказать, ждет вас. Водитель — мой двоюродный брат. Он готов отвезти вас в гостиницу.

— Спасибо. Не стоило беспокоиться.

— Ну что вы! Вы же, можно сказать, гость дипломата!

— Еще раз благодарю вас. Если будут вести от дипломата, меня можно найти в гостинице «Афрасиаб». Но буду я там только до завтрашнего утра.

— Хорошо. Приезжайте еще, будем рады.

Покончив с любезностями, мы попрощались как старые друзья. Затем я подошел к единственному такси, стоявшему у чайханы, и поздоровался с таксистом. Темноволосый мужчина лет сорока лишь слегка кивнул, потом тихо добавил:

— Джеймс.

— Джеймс? — переспросил я.

— Да, Джеймс. Вернее, Джамшид, но можно и Джеймс, — голос у таксиста был хриплый.

Я улыбнулся и спросил:

— Сколько времени нам ехать до гостиницы «Афрасиаб»?

Джеймс что-то невнятно промямлил, и это мне не очень понравилось.

— Так как долго нам ехать? — более настойчиво повторил я.

— Все зависит от того, какой дорогой ехать.

Я внимательно посмотрел на таксиста. На нем были великолепный белый костюм, безукоризненная синяя рубашка и отличный шелковый галстук. Никогда раньше не видел таких таксистов.

— А какой дорогой поедет мы?

— Это зависит от пробок на дорогах.

«Какие, черт побери, тут пробки?» — мысленно возмутился я, но тут же вспомнил о советах дипломата.

Джеймс медленно повернул ко мне голову, посмотрел на меня в упор и тихо произнес:

— Сейчас пробки нет, но это не значит, что она не может возникнуть.

Я заподозрил неладное. Попросить остановиться? Но вокруг — пустырь. Машина ехала уже полчаса, однако мы так и не приблизились к центру Самарканда. Мне почудился явный подвох. Террористы? Меня хотят ограбить? Похитить? Почему он так торжественно одет? Чтобы, убив меня, сделать заявление на You Tube? Зря я сказал тому старику, что мой отец — бывший британский посол.

Наконец машина остановилась у невзрачной одиноко стоящей халупы с разбитыми окнами. Ближайший дом находился в метрах тридцати.

— Нам надо заправиться, — сказал Джеймс. — Можете пока выйти из машины.

Выходить или нет? Выйду — а вдруг там засада? Останусь в машине — тоже могут напасть. И тут я заметил небольшой листок бумаги на сиденье рядом. Большими буквами на нем было написано: «НИКОГДА НЕ ТЕРЯЙ САМООБЛАДАНИЯ И ДОСТОИНСТВА».

Я сделал глубокий вдох, расслабил мышцы спины, помассировал лицо и, кажется, немного успокоился. Решил выйти из машины, подышать свежим воздухом. Чтобы почувствовать большую уверенность, распрямил плечи. Пока я осматривался, из дома показались двое неизвестных парней в джинсах и темных футболках. Один был усатый, у второго на голове красовалась техасская шляпа с широкими полями.

— Закурить найдется? — обратился ко мне усатый.

«Известный прием грабителей», — пронеслось в голове. В рюкзаке у меня было около двухсот фунтов наличными, немного местной валюты, книга Клавихо, туристическая карта Самарканда, паспорт и две кредитные карточки.

— Никак не могу начать курить, — решил пошутить я.

— Что?!

— Увы, в моем возрасте даже старания порой не помогают.

Парень в шляпе произнес:

— А вот мне не удастся бросить.

— Марк Твен говорил, что бросить курить очень легко: он, например, делал это сотни раз, — продолжил я шутить.

— Кто-кто это говорил? — спросил усатый.

— Марк Твен, американский писатель. Слышали, наверное? — Шутить-то я шутил, но на самом деле очень волновался. Где я? Куда исчез таксист? Чего на самом деле хотят эти типы?

— Да, сюда всякие забредают, — сказал усатый, доставая из кармана длинную сигару.

— Недавно даже из Техаса заехали, — дотронулся второй до своей шляпы. — Хорошие были люди, — добавил он как-то уныло.

— А почему были? Что с ними стало? — не удержался я.

В это время появился таксист. В одной руке он держал канистру с бензином, в другой — какой-то предмет, обернутый в газету.

— Подержите, пожалуйста, — протянул он мне сверток.

Я осторожно взятого и стал наблюдать, как водитель переливает бензин в бензобак. И тут мне бросилась в глаза набранная большими буквами фраза на газетной обертке: «СТАРАЙСЯ ПОНЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ. ВНИКАЙ В ИХ ЧУВСТВА».

Опять послание дипломата? Или все это мне мерещится?

— Друзья, а что вы тут делаете? — обратился я к незнакомцам бодрым голосом.

— Мы-то тут живем, а вот что вы тут делаете?

— Я — турист из Англии, интересуюсь Самаркандом и его жителями, — я постарался вновь перевести разговор на собеседников. — Как у вас тут жизнь?

— Жизнь как жизнь, ничего особенного, помаленьку продаем бензин. В Англии, наверно, тоже есть такие, как мы?

— Не знаю. Мне недоводилось встречать людей, продающих бензин дома.

— Это еще не значит, что в Англии таких людей нет, не правда ли?

— Конечно, — согласился я.

Перекладывая сверток в другую руку, я заметил еще одну фразу, подчеркнутую красным карандашом: «НАЙДИ ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВАС». Но что могло объединить меня с этими странными людьми? Один из них — какой-то чудной и скрытный водитель, а двое — незаконно, как я подозревал, торговали опасным и легковоспламеняющимся продуктом.

Водитель закончил переливать бензин.

— Может, зайдете к нам, посидим, а? — обратился ко мне парень в шляпе. — В карты можем сыграть. В покер, например. Ведь в Англии, наверно, тоже играют в карты?

— Конечно, играют, еще как! Мы вообще любим играть. Например, в футбол или теннис. Мне кажется, это то, что объединяет нас с людьми во всем мире.

— Хотел бы я попасть на матч английской премьер-лиги, — вздохнул усатый.

— Вы любите футбол? — спросил я. — А за кого болеете?

— Я — за «Манчестер Юнайтед», а вот он — за «Барселону».

— А я — за мадридский «Реал», — включился в разговор таксист.

— Как поклонник «Арсенала», хотел бы предложить вам пари, — сказал я. — Если в этом году Лигу чемпионов выиграет команда, за которую болеете вы, я отправлю вам из Англии фирменную майку вашей команды. А если выиграет моя команда, то вы устроите мне плов в чайхане в следующий мой приезд в Самарканд. Идет? Давайте обменяемся координатами.

— По рукам! Но Лигу чемпионов все равно выиграет «Манчестер Юнайтед».

— Да какой там, «Барселона», конечно!

— «Реал», только «Реал»!

Мы обменялись адресами, и наша машина продолжила путь.

Таксист вел себя спокойно, что-то напевал себе под нос. И вдруг я различил знакомые строки английского поэта Джеймса Элроя Флекера, жившего в конце девятнадцатого — начале двадцатого века.

«Сладко идти вперед вечером от источников,
Когда тени движутся рядом и каждая — словно гигант.
И мягко сквозь тишину раздается звон колокольчиков
Вдоль всей Золотой Дороги на Самарканд».

Невероятно! Какой-то таксист в далеком Самарканде напевал стихотворение Флекера «Золотое путешествие в Самарканд»! Я невольно подхватил:

Мы путешествуем не только ради наживы.
Горячие ветры странствий настроили нас на свой лад.
Жаждой познать, что познать не дано, мы живы.
Мы совершаем Золотое путешествие в Самарканд.

Таксист даже не посмотрел на меня, продолжая что-то бурчать. А может, мне послышалось, что он пел стихи Флекера? Я еще раз внимательно взглянул на него и неожиданно уловил в нем черты самого Флекера. По крайней мере, у него были такие же густые брови, большие уши, пухлые губы и прическа, как у маститого английского поэта. «И у обоих имя Джеймс. Все, с ума схожу!» — подумал я в отчаянии.

Наконец мы доехали до гостиницы. Таксист категорически отверг мои попытки расплатиться.

— За ваш проезд уже заплатили.

— Кто?

— Не имеет значения. До свидания, Майкл.

— Джеймс, но могу ли я хоть подарить вам книгу Клавиho?

— Не откажусь. Давно хотел перечитать, — невозмутимо ответил таксист. — В ответ я бы тоже хотел подарить вам книжку, в ней много любопытного, — Джеймс достал из сумки томик и протянул его мне.

— Кристофер Марло! Вы и его читали? — С трудом верилось, что таксист знаком с произведениями английского драматурга, жившего в шестнадцатом веке.

— Хотите сказать, что и вы читали Марло? — дерзко ответил он.

— Нет. То есть, да. То есть, спасибо.

Я вышел из такси и направился в свой гостиничный номер, с одной стороны, испытывая облегчение, поскольку вернулся в гостиницу живым и невредимым. Но с другой — таксист и его подарок меня совсем озадачили. Приняв ванну, я сел на диван и наугад открыл томик Марло:

От песен плясовых и острословья,
От выходок фигляров балаганных
Мы уведем вас в скифские шатры;
Там перед вами Тамерлан предстанет,
Чьи речи шлют надменный вызов миру,
Чей меч карает царства и царей.
В трагическом зеркале отраженный,
Он, может быть, взволнует вас сердца¹.

Это был пролог к первой части знаменитой пьесы Кристофера Марло «Тамерлан великий». В изложении Марло Тамерлан был скифским пастухом, ставшим благодаря своей доблести могущественным, но несчастным императором.

Интересно. Амир Темур, вернее его дух, явно присутствовал в моей самаркандской жизни. Пастух, завоеватель... Какое отношение это может иметь

¹ Перевод Э. Линецкой.

ко мне? Не создаю ли я себе проблемы, пытаюсь понять загадку самаркандского дипломата? Гулял бы себе с друзьями, как обычный турист...

Постепенно я углубился в размышления о том, что произошло в течение дня. Чем дольше думал, тем больше убеждался, что я встречался с нормальными, хорошими людьми. Никто ничего плохого не сделал мне, не сказал. Но меня почему-то все время сопровождали опасения. Чего же я опасался? Неужели этих людей? Нет, кажется, я опасался самого себя. Опасался того, что поведу себя неадекватно, не найду общего языка с собеседниками, которые были не похожи на меня. Я был не уверен в себе, слаб. Какая-то бравада была во мне, возмнившем себя веселым и могучим парнем из Оксфорда! Сильные люди ведут себя мирно, потому что им нет необходимости доказывать свою силу. А я был внутренне напряжен и интересовался людьми постольку, поскольку ситуация диктовала мне это. Как бы повел себя мой отец в такой ситуации? А самаркандский дипломат?

Мое настроение совсем испортилось. Возможно, я сгущал краски, но беспокойно было на душе. Может быть, это имело отношение к моему выбору профессии? Поскольку мой дед и отец были дипломатами, все ожидали, что и я стану дипломатом. И я действительно принял решение выбрать дипломатическую службу. Однако это решение было каким-то механическим, я это чувствовал. Тем более, что больше всего на свете я любил сочинять: писать репортажи, очерки и рассказы. В последнее время взялся и за повесть. И не зря я был редактором студенческой газеты. Мне это доставляло большое удовольствие, и некоторые из моих друзей считали, что я должен стать журналистом и писателем, а не дипломатом. Так кем же я хочу стать? Вдруг перед глазами возник образ пастуха-сочинителя, сидящего с карандашом и бумагой на поляне под деревом, а затем — образ дипломата-политика, участвующего в международной конференции. Первый был в джинсах, рубашке и заурядных кроссовках, второй носил строгий темный костюм, шелковый галстук и черные лакированные туфли. Куда же мне идти?

Раздался стук в дверь.

— Кто там?

— Вам посылка.

Открыв, я увидел молодого человека с картонной коробкой в руке.

— Что это? Кто передал?

— Не знаю, мое дело — доставка.

Я взял коробку, осторожно положил ее на стол и стал думать. Может, бомба? Но любопытство возобладало, и я открыл ее. Внутри оказалась небольшая пластмассовая статуэтка какой-то мифической, как мне показалось, птицы. На миниатюрном металлическом постаменте было начертано: «ГОВОРИ ТОЛЬКО ПРАВДУ, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЮ».

Что это могло означать? Опять этот восточный символизм! Правда — это миф? Или миф — это правда? А может: не путай правду с мифом?

В это время в комнату ворвались друзья и стали расспрашивать, где я был, чем занимался, увиделся ли с дипломатом? И почему я такой грустный?

Я вкратце рассказал, но говорить о разбросанных на моем пути фразах не стал — мне все равно бы не поверили. Словом, я говорил правду, но не выкладывал всю информацию.

— Майкл, тебе надо было улавливать детали, понимать, что стоит за ними, — сказал Дэвид.

«УЛАВЛИВАЙ ДЕТАЛИ И ПОНИМАЙ, ЧТО СТОИТ ЗА НИМИ»?

Это новое послание от дипломата? Неужели и Дэвид его человек?

Я внимательно взгляделся в Дэвида и остальных своих друзей. Всех их я знал уже несколько лет, мы вместе учились и жили в общежитии, и казалось, не было ничего такого, чего мы не знали бы друг о друге. Но вдруг я увидел на лице Дэвида незнакомые мне доселе родинки, а также морщинки. Бедный, ведь у него недавно была семейная драма: родители попали в аварию, отец умер, а мать до сих пор страдает от полученных травм.

А Лиз? У нее произошел болезненный разрыв с парнем, с которым она встречалась два года. Но она молодец, хорошо держалась. Хотя... у нее появился нервный тик, порой она стала грызть ногти. Надо бы быть к ней повнимательней.

Тони похудел как-то. Ах да, у него трудности с оплатой учебы. Надо спросить, нужна ли помощь.

Как же невнимателен я был к друзьям! А сам? Все время мечусь между различными желаниями, строю взаимоисключающие планы. Не знаю, чего хочу на самом деле. Бываю импульсивным, люблю спорить, даже если знаю, что неправ. Порой могу обидеть близких людей, правда, потом очень переживаю. Иногда мне кажется, что могу многого добиться в жизни, но подчас воспринимаю себя как никчемное существо.

Пока я размышлял, в комнату постучали. Дэвид открыл дверь.

— Пиццу заказывали? — спросил долговязый парень.

— Я — нет. А вы? — Дэвид обратился к остальным.

Мы все отрицательно покачали головой.

Парень с пиццей недоуменно стоял в дверях.

И тут я заметил надпись на коробке с пиццей: «Дипломат». Подойдя поближе, увидел на коробке знакомую картинку: прием Амиром Темуром посла Клавихо! Похоже, я уловил новое послание от дипломата: он советовал мне пойти к гробнице великого полководца.

— Пицца «Дипломат»? — обратился я к парню.

— Да, это наша лучшая марка, — ответил он.

— Ну что ж, спасибо.

— Нет, ты что! Там может быть взрывчатка, — забеспокоился Тони.

Я попросил парня показать содержимое коробки. Тот открыл ее. Внутри была ничем не примечательная пицца. Я заплатил, и парень удалился.

— Угощайтесь! — предложил я.

— Что-то не хочется, — сказала Лиз и направилась к дверям. — Пойду к себе.

— И мне надо собираться. — Дэвид последовал за Лиз.

— Я, пожалуй, тоже удалюсь, завтра рано выезжаем, — сказал Тони.

Оставшись один, я надел лучшую свою одежду и торопливо вышел из гостиницы. Почему-то я был убежден, что меня ждет встреча с дипломатом. Через несколько минут я уже стоял у мавзолея Гур-Эмир. К моему огорчению, ворота были закрыты. Вокруг ни души. Однако я не спешил уходить.

Прошло полчаса, мое терпение стало иссякать. Неужели предчувствие обмануло меня? И тут я вспомнил: Клавихо же писал в своем дневнике, что

Темур не сразу принимал иностранных послов. Его люди оказывали послам знаки внимания, заботились о них. Но послы должны были ждать несколько дней, прежде чем их приглашали во дворец Темура. Возможно, он это делал для того, чтобы послы осмотрелись, лучше узнали, с кем имеют дело, сосредоточились и подготовились. Неужели и меня готовили?

Но самаркандский дипломат, которого я хотел увидеть, не является властелином, а я, конечно же, не посол, и даже не младший дипломат. Тем не менее, дипломат тут явно пользуется большим авторитетом, решает важные дела, с ним советуются даже по «международным» проблемам. А я, как ни крути, в некоторой степени все же будущий дипломат. Может, в этом и есть смысл происходящего?

Анализировать, анализировать, как советовал тот же дипломат. Не упускать из виду даже мелкие детали. Оглядываться, пытаться увидеть, что происходит вокруг, понять чужую среду.

Подождав еще немного, я наконец решил вернуться в гостиницу и тут только заметил одинокого старика, сидевшего на каком-то выступе. Возможно, он уже давно наблюдал за мной.

— Ассаляму-алейкум! — поздоровался я.

— Вуаляйкум-ассалям!

— Не могли бы вы подсказать, как мне войти во двор мавзолея? — спросил я.

— А зачем?

— Ну, посмотреть, поклониться праху великого полководца.

— Вы уверены, что хотите этого в такое время? А главное, захочет ли его дух?

«А тебе какое дело?» — раздраженно пронеслось в голове. Но тут я вспомнил, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года — на следующий день после того, как специальная экспедиция вскрыла гробницу Амира Темура. Конечно, я не собирался вновь вскрывать эту гробницу, но меня охватил ужас от того, что я могу потревожить дух великого человека в неподобающее время.

— Простите, могу ли спросить: вы имеете отношение к мавзолею? — вежливо поинтересовался я.

— Все, кто находятся здесь, имеют к нему отношение, — ответил старик.

Я вновь почувствовал раздражение. Незнакомец подошел поближе и улыбнулся.

— Раздражительность — не лучшее состояние для человека, намеревающегося поклониться праху Амира Темура, — тихо сказал он. — Знаете почему иностранные послы должны были ждать несколько дней, чтобы попасть на прием к Амиру Темуру? Чтобы привести свое душевное состояние в соответствие с состоянием нового окружения.

— Принцип гомеостаза? — спросил я иронически. — Или тюнинг?

— Можно и так сказать, — спокойно ответил старик. — Кстати, ответ на вопрос может быть странным и даже глупым, но это не значит, что таков и вопрос, — добавил он вполне дружелюбно.

Пока я размышлял над смыслом фразы, старик исчез. Походив вокруг еще минут пятнадцать, я направился в сторону гостиницы. Кем же был этот старик? Неужели он и был дипломатом? Но почему тогда не сказал об этом мне? Или что-то во мне разочаровало его? Вопросы, вопросы, вопросы... Я вспомнил:

вопросы не должны быть глупыми. И до меня дошло: многие мои вопросы были не самыми уместными. Их можно было и не задавать или самому найти ответы. Многие не любят прилагать умственные усилия и стараются идти по легкому пути, надеясь получить от других готовые ответы. Возможно, одна из задач дипломата — помочь другим найти нужные вопросы, чтобы затем попытаться самим же найти и ответы на них? Если так, то этому старику-дипломату удалось стимулировать в моем мозгу многие значимые для меня вопросы.

Но дипломат ли он, тот старик? Хотя, какое теперь это имеет значение? Да разве не все мы призваны быть дипломатами? Разве человек, живущий среди людей, не должен обладать определенными дипломатическими способностями? Ставить нужные вопросы и находить нужные ответы? Иными словами, думать и брать ответственность на себя?

Я почти подошел к своей гостинице, но мозг мой продолжал усиленно работать. Я стал думать о том, что, возможно, все это устроил мне отец — ведь у него здесь остались весьма обширные связи. Чтобы я разобрался в себе, определился, принял сознательное решение. А может, у меня, начитавшегося Клавихо, Марло, Флекера и других равнодушных к Востоку авторов, галлюцинации? Опять вопросы, возможно, глупые. Нет, вопросы не бывают глупыми, если они заставляют думать.

Надо было собираться, на завтра отъезд предстоял рано.

Проходя мимо памятника Амиру Темуру, я заметил большой туристический автобус, отъезжавший от гостиницы. На правом боку у него красовалась надпись: «ЕСЛИ НЕТ МИРА В ДУШЕ, НЕ БУДЕТ МИРА И СНАРУЖИ». Я чуть не ахнул, увидев за рулем водителя, как две капли воды похожего на старика возле мавзолея Гур-Эмир.

— Эй, остановитесь! Мне надо поговорить с вами! — Я побежал вслед за автобусом. Но автобус плавно свернул влево и выехал на дорогу. Теперь я увидел на его левом боку еще одну надпись: «ДИПЛОМАТОМ НАДО БЫТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧИТЬ МИР С СОБОЙ». В этот момент старик-водитель заметил меня и весело помахал рукой. Мне оставалось лишь ответить тем же.

И вдруг я почувствовал, что Амир Темура, восседающий монументом на троне в нескольких шагах от меня, внимательно наблюдает за происходящим. Я мысленно поклонился ему, вручил воображаемые верительные грамоты и... почувствовал себя настоящим дипломатом. Да не просто дипломатом, а дипломатом и писателем, как Руй Гонсалес де Клавихо.

Я закрыл глаза, постоял немного, размышляя о своей миссии, и с улыбкой направился... записать то, что вы сейчас читаете.

Дмитрий Ищенко

Три рассказа

Крабы

Суровое северное море бьется о прибрежные скалы. Ветер больно хлещет в лицо снежной крошкой и холодными брызгами. Луна изредка прорывается сквозь спешно бегущие по небу облака.

Такую атмосферу можно назвать романтической. Ее любили Джек Лондон и еще кто-то такого же склада характера. Но сейчас не до них и не до романтики. Три жителя села Териберка готовятся выйти в море на старой лодке.

Сказать по правде, в такую погоду местные в море не ходят. Но вчера они поставили у берега крабовые ловушки и теперь, если их не собрать, ловушки унесет в море, не говоря уже про добычу — крабов.

Чтобы сделать новые краболовки, будут нужны деньги, которых всегда не хватает. А чтобы получить деньги, нужны крабы. Такой замкнутый круг. А значит, трое здоровых мужиков идут неизвестно куда в короткое прибрежное плавание.

Короткое — потому что вскоре лодка перевернется, и трое мужиков бесполезно сгинут в октябрьском урагане Баренцева моря.

Разобраться в происшедшем в Териберку приезжает молоденький следователь прокуратуры. В силу его возраста командировка в далекое село на побережье ему тоже кажется романтической. Кто знает, возможно, именно здесь он, отличник столичной юридической академии, получит шанс проявить все свои таланты и показать себя с наилучшей стороны.

Рейсовый автобус ходит в село один раз в день, и вот сейчас он все дальше и дальше уезжает от областного центра и цивилизации.

Снег еще не успел толком лечь на землю и прикрыть грунтовую дорогу, по которой трясется автобус. За окном серое небо, того и гляди пойдет дождь. В автобусе — несколько человек: уставшая женщина с уставшим ребенком; девушка, отводящая взгляд при малейшей попытке всмотреться в ее глаза; кто-то еще. Компания умеренно выпивших пива подростков разместилась в хвосте

Дмитрий Ищенко — журналист, сценарист, продюсер. Родился в городе Апатиты. Окончил Московский государственный университет печати. Вошел в шорт-лист Премии им И. П. Белкина (2013). Живет в Мурманске. В «ДН» печатается впервые.

автобуса. Изредка оттуда доносятся грубый смех и матерные словечки. Севший за водителем следователь не может понять со своего места: просто так смеется шпана или над его новенькой формой, которой он хотел поразить местных начальников. А потому сидит и просто злится.

Автобус останавливается на центральном пятачке. Скрипят двери, люди молча расходятся в разные стороны, даже компания, которую растрясло на грунтовке.

Стороны — это несколько кривых улиц. По обочинам — убогие двухэтажные бараки без окон и без постояльцев. Люди живут где-то дальше, в «хрущевках» под сопками. Там, по крайней мере, есть вода и санузлы в квартирах.

Прокурорский остается один. Он не знает, куда идти.

Значит, решает, — в администрацию, над которой развевается полинявший российский флаг.

Женщины в поселковой администрации вежливо улыбаются и охотно показывают, как пройти к главе.

Глава — тоже женщина, немолодая, уставшая, но все равно энергичная.

Разговор получается странный.

Прокурор:

— Только давайте правду, — и погоня блещет.

— Хорошо, правду так правду...

— Итак, почему утонули трое рыбаков?

— Вопрос не по адресу. Портнадзор местный упразднили... И теперь смотреть за морем некому. Это была их обязанность.

— Я не верю, что это все, что вы можете сказать.

— Ну, знаю, что ловили крабов...

— Те трое?

— Да.

— Значит, браконьеры?

— Если так рассуждать... — пауза, — тут все браконьеры.

— То есть?

— Ну, как-то жить здесь надо.

— А куда же вы смотрите? Да еще и так спокойно обо всем говорите...

— Нашли с кого спросить... Вы ведь правду хотели. Вот я вам ее и высказала... Почему браконьеры — не моего ума дело. Да и, в конце концов, я же людям голову не приделаю на место. Сели на лодку и пошли в море.

В общем, попрепирались немного — на том и расстались.

Пока прокурорский ходил по семьям погибших, увидел: а) горы крабовых панцирей, сваленных на обочинах, б) застывшую на морозе жижу под ногами вместо дорог, в) несколько пьяных мужиков, плевавших на мороз. А еще нищету.

Хотя не везде. Стеклопакеты в окнах тоже видел. Дома старые, а стекла новые...

И подумал, что это достижение цивилизации тоже, наверное, куплено за счет крабов.

Говорить с прокурорским особо никто не хочет. Родственники или плачут, или все валят на несчастный случай, а еще про безнадегу говорят... Пограничники (есть тут у них контрольный пункт) отмалчиваются, или на дурацкие законы ссылаются, которые нужно исполнять, или на то, что их тут сократили и сил за всем усмотреть не хватает.

За весь день прокурорский так толком и не успел блеснуть своими талантами, но понял, что само по себе дело не стоит ломаного гроша. Что те, на лодке, сами виноваты, потому что перевернулись, а уж почему они туда пошли, про безрадостную жизнь и браконьерство — это к делу не пришьешь.

И захотел прокурорский поскорее уехать отсюда. Вот только автобус придет лишь завтра после обеда. Надо как-то дотянуть до этого времени.

Гостиницы в Териберке нет, комнату на ночь прокурору дали в одной из «хрущевок».

После долгого дня он помылся ржавой водой, вскипятил воду из бутылки, выпил чаю с чем-то, забрался под одеяло. И тут за стеной началась пьяная возня и крики.

Через полчаса пришлось встать, натянуть спортивный костюм и пойти разбираться.

Дверь в соседнюю квартиру чуть открыта, оттуда — пьяные песни. Рядом, на лестничной клетке — ребенок лет семи, в трусах и майке.

— Дяденька, можно я у вас посплю, пока?.. — прокурорский пригляделся: кажется, тот самый парнишка из автобуса.

Для начала он отвел ребенка к себе, постелил ему на соседней кровати, закутал мальчика в одеяло. Сам отправился к соседям.

Там, в принципе, ничего необычного. Пьяные мужики на кухне, еще молодые. Плачущая женщина в ванной.

Попытался вмешаться, так вышло себе же дороже.

Наутро у прокурорского — синяк под глазом. Чтобы не совался куда не надо.

Ужасно все как-то глупо получилось. Теперь даже приходится оправдываться перед главой администрации. Но она и не такое видывала: дала какое-то лекарство, кремом помазала, потом — пудрой. Вроде и ничего вышло, теперь, по крайней мере, перед людьми не стыдно появиться.

За этими хлопотами наступил полдень. Можно идти на остановку. Глава администрации пожелала прокурорскому доброго пути домой.

На остановке — промозглый противный ветер. Спрятаться не получается даже за щитами. Они только болтаются и скрипят противно.

Рядом с прокурорским сидит еще один человек, мужик лет сорока. Курит спокойно, точно и ветра нет. Наверное, уже смирился, что от непогоды все равно никуда не деться, так зачем и прятаться.

Первым, глядя перед собой, заговорил этот мужик с сигаретой:

— Все уже выяснили? Возвращаетесь?

Вопрос прокурорскому не понравился. Вроде, и без злобы произнесен, но

как-то он прозвучал осуждающе. Потому и промолчал в ответ. Мужик с сигаретой продолжил:

— А вот нам ехать некуда. Где и кому мы нужны... Ехать в город... в бандиты — время уже не то, или на стройку — тоже не выход, подышать с кирпичами в зубах... И тут плохо, и там — неизвестно что...

Автобус пришел совсем пустой. Только водитель передал мужику с сигаретой посылку из города и сказал прокурорскому, что отправление через час.

— Можно я в автобусе посижу? — спросил прокурорский. Но поскольку он был не по форме (из-за бланша под глазом), то водитель сказал, что нельзя.

— Я сейчас пойду обедать, и автобус должен закрыть.

Прокурорский опять остался на ветру. Мужик с сигаретой, не прощаясь, пошел по кривой улице с посылкой под мышкой.

Прокурорский с тоской посмотрел ему вслед.

Посмотрел-посмотрел и пошел следом.

Узнал прокурорский, где живет парень, потом вернулся в магазин, купил водки и вернулся к той же двери. Она была незаперта, но он вежливо постучал, прежде чем войти.

Мужик, похоже, не удивился.

— Поговорим? — спросил прокурорский и показал в руке бутылку. — Без протокола.

Мужик коротко кивнул.

После бутылки водки выяснилось, что год назад у мужика с сигаретой погибла жена. Обварилась кипятком из чана, в котором готовила крабовое мясо. Опрокинулся чан, и спасти женщину не успели.

— А страховка, помощь, труднадзор?

Мужик даже не посмотрел на прокурорского:

— Здесь все на честном слове, то есть без бумаг. Ходят, ловят крабов на свой страх и риск, потом сдают их, крабов варят и отдают нужным людям. Все держится без договоров и обязательств. Расплачиваются наличными, без документов. Бедно, но на жизнь хватает, пусть и такую, убогую...

— А по-честному не пробовали?

— Что значит по-честному? Хотя понимаю... Но тогда будешь враг всему поселку, да еще и без денег останешься, здесь другим и не заработать.

— А власти куда смотрят?

— Они дыры латают. Крыши, ЖКХ, детский сад, школа... Все остальное — не их компетенция. Хотя, по большому счету, здесь все давно развалилось. Только полторы тысячи привидений живут, как могут, и никому до них нет дела. Ползаем, как крабы, лишь бы кто не выловил. Вот и ты приехал и уехал, а на людей тебе наплевать, лишь бы все по бумажкам сходилась.

— Ну, так и кто вам жить по-другому мешает?

— Как по-другому? Здесь людей стреляют, топят из-за этих крабов, а милиция за сто километров отсюда. Никто и не узнает. А ты говоришь, законы...

— Хреново, — резюмировал следователь и выпил еще стакан водки.

Утром погода оказалась неожиданно спокойной. Даже над прибрежными сопками ненадолго взошло оранжевое солнце. И похмелья почти не было.

Разговор продолжили так, словно и не прерывали:

— Хорошо, — произнес прокурорский, глядя в окно, — но кто-то же за эту жизнь отвечает. Не на бумаге, а на деле, кто держит здесь порядок, дает работу. Есть такой?

— Есть. Его суда в море бегают, вся квота на крабов у него, да и на треску тоже, ему все мясо сдают, он расплачивается, и все довольны.

— И он сам?

— Конечно, он крабов втридорога продаст в Москве и будет очень доволен. Плюс уважение и почет... А то, что местечковое все это — так оно только после большого города так кажется, а по сути все то же самое...

— А как мне с ним встретиться? — окончательно протрезвев, спросил прокурорский.

На проходной портопункта никто не поверил, что прокурорский действительно из прокуратуры: запах перегара, под глазом бланш. Пришлось показать документ. Удивились, но пропустили.

Тот, что из портопункта, был вежлив, почти воспитан, предложил кофе, коньяк и еще — свой джип для разъездов. Даже предложил обратно в город на нем отвезти.

Но прокурорский от всего отказался. Мужик из порта улыбнулся в ответ:

— Зря стараетесь, — произнес он вполне миролюбиво, — у нас все по закону, есть квота, документы. Все по правилам.

— Ну, в этом я и не сомневаюсь... Как же без этого. А про тех троих, что погибли, что-нибудь можете сказать?

— Что тут можно сказать? Пошли за крабом и утонули. Какой же умный пойдет в такую погоду в море...

— А краба кому они везли?

— Откуда я знаю. Может, себе...

Прокурорский чуть помедлил, а потом задал вопрос в лоб:

— А может, вам?

Портовского вопрос не удивил:

— А где документы, что мне?... У меня с ними договора не было...

— У вас ни с кем договоров нет, но краба здесь вы держите, и об этом все знают.

Мужик из порта прошелся по кабинету:

— Все знают — это не аргумент... Но я понимаю, куда вы клоните... — он выдержал паузу. — Доказать не получится. Кто были те трое, я не знаю. Куда и что они везли — тоже. И вообще, я с браконьерами не работаю, молодой человек.

— Ну, что ж, понятно.

— Вот и хорошо, что понятно, — портовской улыбнулся и подчеркнуто выразительно осмотрел прокурорского с ног до головы.

«Все-таки помятый у меня видок», — подумал следователь, выходя из кабинета, не сказав «до свидания»...

— Ну, как? Комар носу не подточит? — спросил мужик с сигаретой.

Следователь хмуро промолчал.

— А теперь пойдем, я тебе что-то покажу, — предложил мужик.

Шли они долго, не на джипе же: по камням, плохим дорогам, — а под конец, чтобы срезать — и вовсе по сопкам, где нет даже намека на дорогу.

Когда вышли на берег, было уже почти темно.

— Может быть, объяснишь? — спросил следователь.

— Сейчас объясню.

Из-под одного из валунов мужик вытащил скомканную резину.

— Что это?

— Та лодка, на которой те трое утонули. Все думали, что ее в море унесло, а ее к берегу прибило.

— Что нам это дает?

— Да ничего, общее представление. Пойдем дальше.

— Погоди, я резину возьму.

— Тяжелая... Лучше здесь под валуном оставь, вряд ли куда денется.

Уже в темноте шли обратно, по вымершему поселку. У одного из домов мужик остановился. Что-то покрутил в дверном замке, надавил и открыл дверь.

После щелчка выключателя тускло замигала лампочка.

— Вот тут варят крабов. Вот чаны, передники, вот инструмент.

Прокурорский осмотрел грязное помещение, где готовят деликатес для московских ресторанов, жирные вещи, кафельный пол, покосившиеся и облупившиеся стены.

— Сегодня, похоже, не варили, — предположил прокурорский.

— Конечно. Ты же здесь... — немного помолчал, потом добавил:

— Вот тут на нее чан опрокинулся с кипятком... Кирпичи съехали... Умерла, пока ехала «скорая»...

Потом мужик с сигаретой показал прокурорскому причал, откуда машины увозят неучтенное мясо, разбитую колею, брошенные европоддоны.

— А номеров машин у тебя нет?

— Почему нет, конечно, есть. Естественно, если они тебе действительно нужны...

— Нужны, — буркнул себе под нос прокурорский.

Через неделю следователь положил на стол своему начальству отчет с подробным рассказом о том, где и как браконьерничают в Териберке.

Доклад начальству понравился. Дали ход. Осиное гнездо разворошили.

Хотя того мужика из портопункта взять не удалось: не при делах он там оказался, вроде как в стороне.

А еще через неделю следователю позвонили из поселка. Сказали, что погиб тот самый мужик, у которого он останавливался. Говорят, утонул. А тело не нашли.

Скрываться в поселке глупо — все равно узнают, но на этот раз следователь приехал уже без погон, не по форме. Взял с собой теплые болотные сапоги, комбинезон, походный комплект в рюкзаке и даже палатку. А еще ему машину дали и водителя — в помощь.

Не теряя времени, следователь приехал на то самое место, где пару недель

назад они оставили пробитую резиновую лодку, в которой утонули те трое. Чувствовал, что искать надо здесь. И не ошибся.

Нашел отброшенную в сторону шапку, которую видел на своем знакомом.

Водитель оказался человеком дельным. Хоть и не следователь, но сразу смекнул, о чем речь.

— Течение сюда подходит и дальше идет, направо, по берегу. Если искать, то в той стороне. Туда и надо на лодке идти.

От предложения остаться в машине водитель отказался:

— Что тут с машиной будет? С прокуратурской-то? А в море помощь может понадобиться, да еще и на берегу неизвестно что ждет.

— Хорошо, прикрывать будешь.

Вдоль берега шли километров двадцать, на старенькой моторной лодке — прилично. И только потом, уже под вечер, увидели огонек среди сопок. Тут и вышли на берег.

На камнях — полупритопленный карбас. Пробоина в днище.

От него вверх идет что-то вроде тропки.

Заслышав шаги, в доме свет погасили, а после щелкнуло что-то холодное. Следователь сделал несколько шагов и остановился. Потом громко произнес:

— Мы из прокуратуры. Я — следователь. Сейчас я войду в дом...

— Заходи, прокурорский, тебе можно... — раздался из домика знакомый голос мужика с сигаретой.

Войдя в избу, следователь разглядел на кровати своего знакомого. Он — полураздетый, укрытый старым одеялом и полушубком, и с ружьем в руках.

— Живой? А мне сказали, что погиб, — улыбнулся следователь.

— Хрен им в карман, а не погиб, — и пояснил: — они-то думали, что добились меня, и лодку пробили, а потом решили, что я в море сгину. Но я сюда добрался, вот теперь раны зализываю...

— Узнаешь тех, кто нападал?

— С закрытыми глазами.

— Его люди?..

— Они...

— Похоже, теперь и его можно брать. Как думаешь?

Дальше все было как в американском кино. Ночной обстрел местных бандитов с эффектно выбитыми стеклами и досками, погоня по скалам, рев тяжелого северного моря.

Помогли пограничники. Ведь это ж непорядок, когда палят в погранзоне. Они даже вертолет подняли.

И уже из вертушки прокурорский увидел, как хозяин порта пытался скрыться по грунтовой дороге. А когда она завела его в тупик, он бросил свой джип и побежал по северной тундре, обдирая руки на скалах, надрывая дыхание морозным воздухом и проваливаясь в холодные болотца.

Пусть у этой истории будет оптимистичный финал.

Траулер

Этому рыболовному траулеру можно дать любое реальное имя. Например, «Севрыба». Или «Изумруд». Они будут звучать нейтрально.

Или «Кренометр». В честь прибора, который измеряет крен. Звучит более иронично. Каждый, кто оказывается на борту судна, тут же переименовывает «Кренометр» в «Хренометр».

Можно придумать что-нибудь более символическое. Что-то вроде «Млечный путь». Или «Стела поляре». Но по большому счету, все это не имеет никакого значения. Пусть в нашей истории он будет просто Траулер.

Экипаж Траулера — пятьдесят человек. Сорок — русских, десять — норвежцев. Хотя их можно и не называть норвежцами. Для нашей истории это тоже не важно. Важно — что они другие. Не русские.

И еще важно то, что и у тех, и у других так много обоюдных претензий. Но обо всем по порядку.

В среде российских рыбаков из всяких «Рыбпромов», «Тралфлотов» и прочих развалившихся компаний попасть на Траулер считается огромной удачей. Зарботки здесь не сравнить с теми, что получаешь на российских судах.

И дело тут все — в снабжении. Оно не наше, норвежское. Или английское. Или канадское. В общем, не наше. Иностранное.

Объяснение этому тоже простое.

Траулер — новый. Можно сказать, нулевой. Заточен под западный рынок. Рыбфабрика на борту такая, что окупиться может только, если будет делать филе для ресторанов в Мадриде, Берлине или Будапеште. Между прочим, из нашей рыбы. Но нам сейчас это тоже неважно.

Так что, Траулер, в принципе, конечно, наш, ходит под российским флагом, но работает только для заграницы. А чтобы там брали нашу рыбу, чтобы Траулер давал еврокачество, то и снабжение судна и экипажа должно быть евро. Правила у них такие. Иначе, говорят, человек хорошо работать не сможет. Как тут с ними не согласиться?

А еще комсостав там должен быть тоже не наш. Например, норвежский. Не весь, конечно, но процентов на восемьдесят как минимум. Должен же кто-то качество обеспечивать. У самих-то не получается. Да и не доверяют нам.

Не правда ли, хорошие предпосылки для «голоса крови», который всегда начинает звучать как раз в таких ситуациях?..

Траулер, хоть и ходит под российским флагом, но в наших портах никогда не был. Владельцы говорят, что налоги у нас неправильные, дорого и неудобно. Поэтому российская часть экипажа едет на подмену через границу из Мурманска в Киркенес на автобусе. Впереди два месяца рейса, моря, шторма и все такое. Тяжело, конечно, зато потом будут деньги.

А пока в дороге — самое время выпить, чтобы заглушить расставание с домом. Потому и царит в автобусе чуть надрывное веселье.

На границе дотошно проверяют наши сумки. Сначала — российские пограничники, потом — норвежские. Но особого криминала не находят: водка, которая могла бы пойти на продажу, уже выпита в пути.

Российские офицеры из комсостава тому особо не противятся. Во-первых, сами сделаны из того же теста. Во-вторых, понимают: чем больше выпьем сейчас, тем меньше проблем будет потом, в море. С собой-то все равно много не возьмешь, а за бугром алкоголь дорог. Да и нельзя. Норвежцы не просто могут с рейса снять, так еще и по его итогам на каждого пишут характеристику. Как в советских парткомах. Будет плохая бумага — в следующий рейс на Траулер не возьмут, спишут на какое-нибудь российское корыто. А там — какие заработки?.. И все это понимают. Потому и напиваются перед рейсом.

В море уходим под вечер. Траулер движется по узкому фьорду. Норвежский лоцман дает короткие указания капитану и проводит по узкостям. Потом желает хорошего рейса и пересаживается на катер. Он возвращается к светящимся огонькам маленького города. А перед нами — черное холодное море.

Какой-то особой притирки двух частей экипажа — нашей и не нашей — вроде бы, даже и не происходит. Норвежцы не знают русского, русские — норвежского. Английский язык и у тех, и у других тот еще... Хотя этот самый английский бывает здесь очень даже нужен. И не только для морских переговоров.

Про американку Глен Мэйхолланд разговор особый.

Пару лет назад она приехала из США в Норвегию следом за своей любовью. Любовь ходила в море на небольшом рыбачке. Глен — за ним.

Потом любовь куда-то делась. А Глен в море осталась. Так и ходит на разных судах в качестве стюарда. Говорит, что такая жизнь ей пока нравится.

Кстати, выглядит она вполне ничего. Не сравнить с нашими судовыми женщинами, про которых только и скажешь, что жизнь на берегу не задалась.

Но то, что Глен — ничего, это-то как раз еще и хуже. В море у мужиков от любых женщин крышу сносит.

Нет, все-таки про притирку команды.

В этом рейсе вышло хуже, чем обычно.

Шеф-повар оказался не просто норвежцем, а вообще — фарерцем. Есть там у них где-то такие Фарерские острова. Сами норвежцы над фарерцами смеются, как мы раньше над чукчами.

Так вот, мало того, что норвежская еда для нашего брюха непривычна (копченостей в ней много), так эта фарерская стряпня непривычна вдвойне.

После того, как он приготовил в Рождество бараньи мозги в жире, чуть до мордобоя не дошло.

Он-то хотел деликатесом угостить, а наши решили, что кок издевается. Специально эту гадость сделал. Плюс еще эта ужасная качка наложилась на мозги с жиром, так вообще погано вышло. А от качки даже опытный народ вповалку может лежать. От нее в море никто не спрячется.

В общем, после бараньих мозгов еле разняли команду. Но дальше — хуже.

Норвежцы-то только командуют, а на палубе мы корячимся. Даже под

Новый год они дали команду трал ставить. Они же за то и отвечают, чтобы простоев не было.

Сами посмотрели, как мы работаем, и пиво пошли тянуть безалкогольное. Праздник все-таки.

А мы — сначала на палубе, потом — на рыбной фабрике.

Хреновая ситуация, но за баксы миримся. Но знаем точно, что у норвежцев контракты в три-четыре раза дороже наших. Хотя их бумаги, конечно, никто и в глаза не видел.

Зато знаем, что они все время за нами приглядывают. То с мостика — на палубу. То на рыбфабрику заходят. Мы эту фабрику, к слову, валютным станком называем. Она же нам деньги приносит.

Норвежцы частенько недовольны тем, как мы рыбу разделяем. Говорят, брак даем.

Технолог наш вроде пытается что-то возражать, но как-то неубедительно. Мы на него за это тоже зуб имеем.

Хотя, с другой стороны, зуб-то зубом, а вот когда сдавали на транспорт замороженное филе, его действительно забраковали. Цену сбили чуть ли не в два раза из-за каких-то подрывов на спинках трески. Технолог потом сутки в каюте отсиживался.

Филе, конечно, не пропадет. Продадут не норвежцам, а в ту же Россию, но и деньги будут уже не те, на которые рассчитывали.

Вышло, что норвежцы были правы. Но нам-то от этого не легче.

В общем, чего тут горлопанить. Постояли, повозмущались — и опять за трал.

Тянем мы его, тянем. Молчим. Хоть так и подмывает с норвежским тралмейстером пособачиться. Море все-таки, напряжение растет.

Кстати, у тех же норвегов, если человек провел в рейсе больше тридцати суток, его даже в суде в качестве свидетеля допрашивать нельзя. Считается, что он может неправильно воспринимать реальность. А у нас-то раньше рейсы и по девять, и по двенадцать месяцев были...

Но уж больно эти норвежцы все любят делать по правилам. Правила-то у них, может, и хорошие, но только для своих. Не для нас.

Поставили мы, значит, трал. Злые на норвежцев, на себя, на весь мир.

А еще рыбалка хреновая. Ну, не идет рыба и все тут!

Но вот, вроде, подфартило. Чувствуем, трал тяжелый. Тонн на пять, не меньше.

Тянем мы его, тянем. И вытянули, блин.

Выкатился на палубу в мешке огромный валун. А на нем масляной краской выведено: «Поебались мы, поебитесь и вы!»

Мы очень смеялись, когда прочитали. Очень.

А норвежцы только плечами пожали и разошлись по каютам. Шуток не понимают.

Да еще приказали валун поближе к рифам скинуть, чтобы он больше в тралы не попадал.

С американкой все тоже непросто.

Она, вроде, и нашему старпому улыбается, и, вроде, с норвежским вторым помощником у нее что-то есть.

Вот у мужиков нервы и не выдержали.

Опять же в кают-компании поцапались из-за того, кому она первому обед подаст.

У них до кулаков дошло, ну и мы тут стенка на стенку пошли.

Задним умом понимаешь, что поганая ситуация, но как же, «голос крови», своих бьют...

Хорошо еще, что тут два капитана ворвались, наш и норвежский. С матом всех по углам раскидали, от поножовщины удержали, от греха.

Капитаны потом сели у себя в каюте, прикинули, решили рейс закрыть. Им-то сейчас уже делать нечего — людей бы спасти, да корабль наш, Траулер. Но если бы все было так просто. Море ведь непредсказуемо. Ждали мы штормов, но не таких. Кувырком летали и мы, и норвежцы. Перед стихией ведь все равны, какую национальность ни придумай.

Долго нас трепало. Чуть было на камни не вынесло. Чудом спаслись. Только немного фальшборт побило, но это не страшно.

Хуже, что наш старпом пропал. Мы это уже утром обнаружили, когда море улеглось. В каюте посмотрели, на мостике. Нигде нет.

Мы между собой сразу решили, что его за борт смыло. Или помогли ему. Или сам прыгнул. После драки. Ему же теперь в моря путь заказан. А такие деньги, как здесь, он вряд ли где найдет. Жизнь-то у человека одна, везде не успеешь. Вот, может, и поехала крыша.

Мы его, конечно, искали, другие корабли подтянулись в район промысла, но все без толку. Пропал человек. С концами.

Так и закончился наш рейс, досрочно.

На берегу потом нас еще какое-то время береговая охрана и полиция промариновала, но что тут скажешь. Куда старпом делся, все равно никто не знает.

В море такое случается.

После закрытия рейса экипаж весь расформировали. И нас, и норвежцев.

Думаю, русским членам команды теперь пойти в море на таких судах точно не светит. Зачем норвегам такой геморрой? Что же, они враги себе? Это ж не мы...

Норвежские ребята из рейса, думаю, не пропадут. Спишут все на диких русских, а сами подадутся куда-нибудь к берегам Перу или Африки. Найдут там работу. Они ведь своих вообще не бросают. И не подводят друг друга.

А у нас — кому как повезет. Без правил. Вроде и понимаем все, а удержаться не можем... От дурного зова «голоса крови».

Да, жене старпома про американку ничего говорить не стали. Все равно темная история.

Сказали просто, что за борт смыло, а найти не смогли. Получается, несчастный случай.

Черный копатель

Михаил Шуров и не заметил, как стал «черным копателем». Еще неделю назад был простым поисковиком, а теперь — «черный»...

Да, его старшие товарищи уже давно торговали старым оружием, орденами, амуницией, найденными на местах боев Второй мировой. Но он никогда в это не ввязывался. Хотя и понимал, что ценится больше всего.

А больше всего ценились немецкие боевые жетоны. Каждый был пронумерован и зарегистрирован, а потому и людей по ним искать было проще. И кроме того, в Европе за такие находки платили настоящей валютой. Просто медальон — 100-200 евро. Если удавалось по нему кого-то найти, то и цена вырастала в несколько раз.

Сказать по правде, раньше медальоны Мишка никогда не находил. Не везло. Но в этот раз копнул землю и сразу нашел останки человека. Словно они ждали именно его. Мишка наклонился, посмотрел, землю в стороны раскидал, и мелькнула между костей ржавая капсула.

Мишка достал ее и точно почувствовал, что взял в руки чью-то чужую судьбу. И вроде как выходило, что теперь Мишка за эту судьбу несет персональную ответственность.

— Он твой... — сказали подошедшие к Мишке товарищи, которые копали землю на соседних сопках. — Теперь есть чем торговать.

Они сказали. Он согласился. Так и стал «черным копателем».

Мишка повертел капсулу в руках, перекурил, сидя на валуне, и принялся перекладывать кости в мешок, пока красное солнце еще не село за оранжевые, уже осенние сопки.

Малгожата Крайнова — обычный представитель эпохи девяностых и даже нулевых. Польша вступила в Евросоюз, когда девочка заканчивала школу. Про советские войска под Лодзью она помнила разве что по рассказам матери да своим детским играм. Но сейчас всех советских, естественно, называла не иначе как оккупантами. Впрочем, говорила она об этом как-то без особой злобы. Скорее, за компанию с товарищами. В конце концов, давно все это было: Варшавский договор, война и все такое. По крайней мере, у нее все это ушло куда-то на периферию памяти.

Вот и сносить русский памятник на городском кладбище она пошла скорее из любопытства. Михалек позвал. Это ее парень. А делать все равно было нечего, вот и пошла. И кроме того, сейчас все говорят про избавление от наследия старого режима, так почему бы в этом не поучаствовать лично, раз уже все говорят?

Запаслись баллончиками с краской, монтировками и ломом. Погрузили все это в старый фургон и приехали на кладбище под покровом сумерек.

Хотели сразу все выгрузить, но Михалек приказал подождать, пока побольше стемнеет.

— Не будем наглеть... — рассудительно произнес он.

Пока сидели в фургоне в ожидании политической акции, дурачились и пили пиво. А когда стемнело, в военной части кладбища разбили несколько надгробий, у памятника неизвестному советскому солдату отбили голову, а потом разукрасили бетонные плиты разноцветными граффити.

Как удалось выяснить Мишке, найденный медальон принадлежал некоему Сигмунду Спелкьявику. Пришлось покопаться в архивах, изучить не одно дело, запросить справки из других городов и других стран, поторговаться за оказанные услуги. Так информация о Спелкьявике постепенно все больше становилась товаром. Сведения проверили и подтвердили, хотя и выглядело все немного странно. Да, был такой Сигмунд, поляк, воевал в частях вермахта, погиб где-то на полуострове Рыбачьем, под Мурманском, на хребте Муста-Тунтури в октябре 44-го.

Странно — потому что польских солдат в частях вермахта толком-то и не было. Тем более, на полуострове Рыбачий, где воевали в основном даже не немцы, а горные австрийские егеря. Как среди них оказался Сигмунд, Мишка так толком и не понял. Но в целом время не было потрачено напрасно. И в надежде на достойное вознаграждение он написал в Польшу.

Пробуждение после шабаша на кладбище у Малгожаты было малоприятным. От пива болела голова, тошнило, а тут еще и в полицию вызвали. Оказывается, там были установлены камеры видеонаблюдения, и по записям нашли погромщиков. Пришлось от похмелья мучиться в камере предварительного заключения. Хорошо еще, что там продержали недолго. Пожарили немного, составили протокол и отпустили.

А когда Малгожата пришла домой, в почтовом ящике лежало письмо из России.

Особого доверия письмо не вызвало. Какой-то русский утверждал, что нашел останки ее деда и говорил, что скоро приедет в Польшу по своим делам. Но заодно может встретиться с ней и обговорить цену вопроса.

Так и было написано «цену вопроса».

«Свои дела» в Польше у Мишки — это перегон автомобиля. Предложили — он согласился. Для пробы. Деньги-то все равно нужны.

Знакомые пообещали свести с надежными людьми, обеспечить поддержку и связи. Перед поездкой Мишку ввели в курс дел, рассказали, что, где, сколько. Что имеет смысл делать, а что — ни в коем случае. Объяснили, что машины идут в основном из Германии, но туда лучше не соваться. Брать надо то, что предлагают по цепочке уже в Польше. Навар здесь чуть меньше, но в Германии — своя мафия, а лишние конфликты никому ни к чему.

На письмо из России Малгожата не ответила. Замоталась, забегалась, да и особого желания не было. Тем сильнее удивилась, когда ей домой позвонил странный русский и на плохом английском еще раз рассказал про найденного деда. И предложил встретиться.

Малгожата подумала, чуть сомневаясь, а потом неожиданно согласилась.

— Хорошо, в три часа, на перекрестке Висловской и Солидарности...

Парень ее возраста подъехал к кафе на неновом «мерседесе» с немецкими транзитными номерами. С виду — вроде даже ничего, чуть смешной и рассеянный в непривычной для себя обстановке. Так что, когда он вошел в кафе, Малгожата подняла руку и подала ему знак.

Поначалу разговор шел как-то кисло. Поздоровались, обменялись фразами ни о чем.

Говорили по-английски. Малгожата подумала, что у парня произношение плохое, но болтает он почти свободно. И особо не стесняется.

Когда принесли кофе, она наконец-то спросила, что у него есть про деда.

Парень полез к себе в рюкзак, долго там копался, приговаривая что-то по-русски, и наконец-то достал папку ксерокопий.

Малгожата с трудом разбиралась в плохо пропечатанных листах. Парень помог ей.

— Сигмунд Спелкьявик, 1911 года рождения, родился в Познани, воевал в Армии Людовой, пропал без вести, возможно, перебежчик.

Большую часть Мишка читал по-русски, без перевода. Малгожата слушала молча, не прерывая.

Неожиданно он остановился и посмотрел на девушку:

— А это последнее письмо Сигмунда, неотправленное, нашел рядом с ним, в железной коробке. Считай, больше шестидесяти лет пролежало...

Он произнес это по-русски и заметил, что у девушки блестят глаза, а протянутая рука едва заметно дрожит. Так Мишка понял, что девушка вполне понимает по-русски.

«Дорогая моя Кристина, как тут холодно, если б ты знала! Ветер пробирает до костей, а полярная ночь висит над нами круглосуточно, точно колпак, из-под которого, кажется, не вырваться никогда.

У нас постоянные перестрелки с русскими. Они — по нам в пустоту, мы — по ним. У штабистов это называется позиционная война. Но я чувствую, скоро она закончится, нельзя же так вечно сидеть друг против друга. Я называю это холодной войной, или еще лучше — замороженной. У нас — уже нет сил идти вперед, у русских — пока нет сил, чтобы выбить нас отсюда. Но они у себя дома, и рано или поздно силы у них появятся. А пока мы сидим в окопах и мерзнем. И самое страшное — это осознание того, что в данной ситуации от тебя уже ничего не зависит. Ты не можешь сделать ни шага вперед, ни шага назад. И ты вынужден просто сидеть и ждать своего часа и уповать на небеса, которые только и могут тебя спасти.

Береги себя и Агнешку. Мне очень хочется увидеть вас, и я верю, что мы еще будем счастливы. И еще я все-таки верю, что при всей абсурдности происходящего во всем этом должен быть какой-то смысл. Нам он пока не понятен, но, возможно, ему суждено проявиться позже? Когда-нибудь. Может быть, уже в судьбах наших детей и внуков.

Береги наше будущее. Я верю в него, в наш разум и наше спасение.

Твой Сигмунд».

Пожалуй, только сейчас Малгожата поверила, что все это правда. Агнешка — ее бабка, Кристина — прабабка, Сигмунд — прадед, который пропал на войне.

— Вы знаете, как он погиб? — глядя перед собой, спросила девушка.

Мишка помолчал, подбирая слова:

— Мы сверили дату, указанную на последнем неотправленном письме, и ход боевых действий... Скорее всего, он погиб от шальной пули. Кто-то выстрелил наугад и попал в него... А может, это уже был штурм хребта Муста-Тунтури... — Потом зачем-то уточнил из курса истории: — Война приближалась к концу, а это был «десятый сталинский удар».

Потом подумал, что про «сталинский удар» Малгожата, пожалуй, не поняла.

На следующий день девушка перезвонила Мишке:

— Чего вы хотите?

Ее звонок застал Михаила в автомобильной мастерской, где ему перебивали номера на «мерседесе». Он видел, что происходит, но делал вид, что не понимает: в случае чего так будет проще находить общий язык с полицией.

Мишка вышел из ангара на улицу:

— Я могу передать все документы вам... Передать оригиналы... Можем организовать транспортировку останков. Если есть желание, можете приехать в Россию, на места боев...

Произнося эти слова, Мишка все не мог решить, как же сказать про деньги, которые он рассчитывал получить за работу. И в конце концов так их и не произнес.

Девушка выслушала молча, а потом решительно спросила:

— Сколько это будет стоить?

И опять Мишка точно обо что-то споткнулся:

— Там разберемся...

На том и договорились созвониться.

Малгожата положила трубку, и тут же раздался еще один звонок.

Это был Михалек. Сказал, что сегодня снова собирается совершить политическую акцию на кладбище и предложил Малгожате пойти с ними:

— А тебе не кажется, что кладбище — это странное место для политических акций?

— Нет, — ответил Михалек, — кладбище-то не наше, а «оккупантское». Мы ведь отстаиваем свои права и обязаны очистить свою землю от захватчиков...

Еще месяц назад Малгожата согласилась бы с ним про «захватчиков», но теперь ей стало как-то не по себе, и она отказалась идти куда-либо, сославшись на то, что плохо себя чувствует...

Потом она подошла к книжной полке, вытащила альбом старых фотографий и нашла портрет своей бабки Кристины. Она никогда не видела ее лично, и уж тем более не знала, где погиб ее дед. Хотя про экстравагантность деда была наслышана: про его упрямый характер, желание во всем добираться до конца, нежелание соглашаться ни с кем и ни в чем.

«Мерседес» оказался паленым. Паленым — по полной программе. По дороге домой на одной из заправок на Мишку напали крепкие ребята и сказали, что за машину недоплатили. Объяснения, что он не первый покупатель, не были приняты. Мишку избили и бросили в туалете. Когда он пришел в себя, машины на стоянке уже не было.

Работники станции вызвали «скорую» и полицию. Мишку забрали в участок, продержали там сорок восемь часов, а потом вывезли на границу Евросоюза.

В самый неподходящий момент, когда Мишку передавали в руки русским пограничникам, позвонила Малгожата. Она сказала, что согласна приехать за дедом.

«Хорошо, что я взял с собой только ксерокопии», — размышлял Мишка, когда его, словно посылку, передавали одни официальные службы другим. Они хоть и в разных формах, а психология у всех похожая...

Все документы у него отобрали, в том числе и те ксерокопии, что он привез Малгожате. Пусть теперь изучают, подумал про себя Мишка. Все равно им до Сигмунда без меня не добраться...

Спустя несколько дней Малгожата написала по электронной почте. Она сообщила, что собирается приехать через месяц, и задала несколько практических вопросов. Сможет ли она увидеть останки деда? Насколько реально посетить то место, где были найдены кости? Как это нужно оформить? Что нужно сделать, чтобы вывезти останки в Польшу? Сколько все это будет стоить?

С учетом неприятностей с машиной и повешенным на него долгом за паленый «мерседес» Мишка назвал свою цену, пять тысяч евро, и подписался под тем, что всю организацию он возьмет на себя.

Поначалу, приехав в Россию, Малгожата еще пыталась делать вид, что она является независимой женщиной и гордой представительницей Европейского союза.

В Москве ее аргументация еще работала, а вот по мере удаления от Садового кольца — все меньше и меньше. И постепенно российские вокзалы, дороги, такси и автобусы сами по себе стали нагнетать тоску. Особенно после чистенькой Европы.

Мороз казался ужасным, серый снег под ногами давно перепачкал ее замшевые сапожки и светлые джинсы, а чиновники требовали бумаг, о существовании которых Малгожата никогда даже не подозревала.

Когда она уехала за две тысячи километров от Москвы, выяснилось, что посетить место гибели деда невозможно из-за того, что там проходит пограничная зона, а для оформления пропуска в тот район необходимо возвращаться в Москву и ждать там как минимум два месяца.

В этот момент у нее окончательно опустились руки. Тогда Мишка взял у кого-то машину и повез Малгожату на Рыбачий своими путями. В конце концов, кому как не ему знать в сопках все дороги...

На хребте Муста-Тунтури гулял ужасный ветер, шел снег, а полярная ночь накрывала двух людей, точно колпаком. Возможно, именно в такую минуту много лет назад шальная пуля и унесла жизнь деда Малгожаты Сигмунда.

Она хотела плакать, но не получалось. Мороз пробирал до костей, словно проверяя Малгожату на прочность.

И тогда она попросила Михаила налить ей водки, выпила залпом и посмотрела на небо. Оно было все усыпано звездами.

Обратно, почти весь путь до оставленной на дороге машины, Михаил тащил Малгожату на плече. Время от времени он встряхивал ее, а она что-то смешно говорила по-польски. Даже ругалась, хотя у нее это получалось вполне нежно и невинно.

А еще за время пути она рассказала историю деда.

До революции граница между Россией и Польшей вообще была условной. За какие-то детские безобразия деда сослали на Украину. Потом гражданская война в стране Советов, передел территорий. Дед ни с кем не уживался, со всеми спорил и доказывал, что весь мир кругом сошел с ума.

Когда фашисты напали на Польшу в 39-м, бежал. Оказался на советской

территории. Там вступил в Армию Крайову, но задержался в ней ненадолго: вынужден был бежать из-за неудачной шутки в адрес Сталина.

Потом попал в плен к немцам. Там его поставили перед выбором: или расстрел — или на передовую. Пришлось надеть форму вермахта и лелеять надежду на очередной побег. Но совершить его не успел...

— А так, он был очень веселый, все время что-нибудь выдумывал... Говорят, мечтал быть архитектором, строить дома, города, но больше всего — мосты... А всю жизнь пришлось с кем-то бороться... — грустно дорассказала девушка.

Деда вывезли за границу почти нелегально. Для ускорения бумажной процедуры сначала дали взятку на российской границе, потом — на польской. Но Малгожата не обращала на это внимания. Главное, что она везла домой деда.

Когда после дикой России девушка приехала в родной город, памятник советским солдатам на городском кладбище снесли. Она проезжала мимо, когда там работали тракторы, а по обе стороны от огороженной территории стояли пикеты противников и сторонников этой акции.

Уже у дома таксист задал Малгожате один-единственный вопрос, что это у нее в ящике, который она отказалась поставить в багажник и всю дорогу держала в руках?

— Останки деда, везу из России, он там погиб в годы войны... — четко объяснила девушка.

— Там что? Тоже выкапывают наших? — удивился таксист и, не дожидаясь ответа, резюмировал: — совсем люди с ума сошли...

Малгожата промолчала. Что тут скажешь?..

Спустя несколько недель, по настоянию Михася, Малгожата сделала анализ ДНК привезенных останков. Результаты показали, что кости принадлежат не ее деду, а какому-то совсем другому человеку. И написала об этом Михаилу. По всему выходило, что он ее обманул — и с останками, и с документами, и с водкой под покровом полярной ночи.

В ответ Мишка написал, что в темноте просто перепутал пакеты, которые хранились в гараже у его знакомых. И добавил, что обязательно придет к ней и сам привезет останки деда.

«Может быть, в этом и есть тот смысл, про который писал дед перед тем, как уйти в другую жизнь. Ведь без него мы никогда не смогли бы встретиться, тем более еще один раз».

Малгожата не ответила на письмо: она не могла простить предательство, а в случайность она не верила.

Поначалу Мишка и сам думал, что обязательно привезет останки Сигмунда его внучке. Но так никогда не сделал этого.

После сноса памятника советским солдатам в родном городе Малгожаты он больше не хотел встречаться с ней и сдал кости деда-захватчика российским военным. Они написали официальное письмо с предложением вывезти останки деда. Но после скандала с советскими могилами никто по обе стороны границы не захотел этим заниматься.

А по прошествии года Сигмунд Спелкьявик был захоронен под Печенгой, на воинском кладбище бесполезно погибших в России воинов-егерей 112-го горного полка.

Вика Чембарцева

Катинка

Рассказ

Люди, чьи судьбы так или иначе вошли в нашу жизнь, иногда совершенно необъяснимым образом на долгие-долгие годы выпадают из нашей памяти. И, бывает, вдруг брошенная кем-то случайная фраза или обрывок мелодии начинают проявляться в цепляющихся друг за дружку мыслях — именами, лицами, событиями. Сначала неуверенно и блекло, потом все четче и яснее обрстая тугим объемом. Так в раскрытой книге приподнимаются под неожиданным порывом ветра листы кальки, беззащитно обнажая страницы, испещренные твердыми знаками судьбы. И как все книги в жизни — по своей дурацкой неистребимой привычке — мне захочется прочесть ее с последней страницы...

* * *

Мы ехали уже примерно час, а пейзаж за окном все так же томил зрение неизбежной однообразностью. Темный пробор дороги делил русоволосую степь надвое. От горизонта и до горизонта — сухой шершавый пергамент азиатской равнины, глубокая опрокинутая пиала неба и струящиеся солнечные ветра. Мои весенние сны о казахских степях сбывались до мелочей, с той лишь разницей, что запах дикой полыни невозможно было сновидеть так явственно.

— Понимаешь, я не считаю, что мне нужен посредник, когда я обращаюсь к Богу. Каким бы именем я его ни называла, я знаю, что он бережет меня. Как бы я к нему ни обращалась, я уверена, он меня услышит. Мне нет необходимости, следуя обрядам, ходить в церковь и исповедоваться в своих грехах. Если я искренна сама с собою, если я осозанна в каждом моменте своего существования, я уже говорю с Богом, и он уже слышит меня.

Женька, чуть опустив голову, посмотрел в зеркало заднего вида:

— Да нет же, Нинка! Это самообман, уловка. Ты просто пытаешься найти оправдание себе. И может, это просто твой стыд — ты не можешь озвучить перед чужим человеком то, в чем каешься сама перед собой.

Вика Чембарцева (настоящее имя — Виктория Чембарцева) — поэт, переводчик, прозаик. Родилась в 1973 г. в Кишиневе, в Молдавии. Окончила факультет маркетинга Экономической академии Молдовы и факультет психологии Института непрерывного образования. Автор книги стихов «Тебе...» (Кишинев, 2010). Участница форумов молодых писателей России (2009—2010). Лауреат международной литературной премии «Серебряный стрелец» (Лос-Анджелес, 2010), VIII международного литературного Волошинского конкурса (2010), V международного конкурса молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий» и др. Живет в Кишиневе.

Я протиснулась ближе к водительскому сиденью. Дина повернула ко мне голову:

— Я говорю ему то же самое.

— Блин! Да вы никак не можете понять, что именно в приходе в Храм, в исповеди и есть победа над гордыней. Человек отдает себя на суд другому. Тому, кто, пожурив для приличия — ну тут уж зависит от мудрости батюшки! — позаботится о твоей душе, обеспечив ей неподсудность на небесах.

— Да, да! Или наложит на тебя епитимью. И отлучит и от церкви, и — получается — от Бога? Зачем мне это нужно?! Зачем мне просить у Господа о здравии моих близких за деньги? Зачем мне просить приобщения к Богу крещением за определенную плату? Вымаливать его безусловную любовь. Ты думаешь, Бог лучше услышит меня, если я куплю себе посредника для общения с ним? Какой-то абсурдный алгоритм — бросил монетку, получи то, что заказывал, нет монетки — нет и прикупа. Аттракцион божественных услуг. Нет, Евгес, не понимаю я этого.

— Елки! Да ты же говоришь совсем не о том! Не путай религию с церковью.

— А я и не путаю. Это ты, кажется, уже не о том... Кстати, если уж говорить о церкви: в Ташкенте, в буддистском храме, нас приняли очень тепло. И чаем напоили. С конфетами, — я улыбнулась повернувшейся ко мне Дине. Она улыбнулась в ответ.

— Настоятель отдыхал, но вышел к нам и побеседовал. Он расспрашивал меня, почему мне так важно было пройти этот путь и найти храм, который и храмом-то не назовешь и о котором не знал никто из моих многочисленных знакомых ташкентцев. А я сказала, что, наверное, это было внутренней потребностью, которая вела меня и которую я и сама себе объяснить не смогу.

— Ну, вот. Точно такая же внутренняя потребность может быть и у христианского прихожанина.

— Да, Женьк, я согласна. Но только разговор с Богом, — который един ведь, да? — у меня происходил все-таки один на один. А настоятель просто дал мне свое благословение на пути к самой себе и к богу, пребывающему во всех нас. И кстати, ни за четки, ни за книги, ни за диски с духовной музыкой, ни за записки о здравии родных с нас с Юлдузкой не взяли ни одного сума¹.

— Да что ж ты снова! Нин-на-а! Ты все же с буддистским настоятелем говорила! Благословение от него получила! А он тоже — по-сред-ник.

— Да, но он не просил меня поделиться с ним своими грехами, — съязвила я.

— Вот дурында ехидосная!

— Знаешь, я просто немного изнутри знаю жизнь христианского священнослужителя. И он совершенно обычный человек. Такой же грешный, как ты и я. А может, даже больше. Для чего же мне нужны его услуги, раз мы с ним ничем не отличаемся? Зачем, если мои откровения нужны только мне и тому, кто над всеми нами?

— Ну ты и зануда! Ну, вот представь себе: человек ломает руку, у него дикие боли, и кость торчит наружу — куда он пойдет? Будет терпеть и сам перелом вправлять? Будет сам себе руку шить? Зачем, если есть путь правильнее и короче, если есть специалист, который сможет это сделать профессионально? Вот священник и есть тот врач, вправляющий душу.

— Ага, как писал мой любимый поэт: «...пытаясь вправить застарелый

вывих под несудьбой прогнувшейся души...» Только вот знаешь, Евгес, врач бывает хреновым. Порой просто как специалист, а порой и как человек. Правда, это уже его личные счеты с тем, кто присматривает за нами.

— Все, ты меня достала, Нинк.

— А ты меня.

— Значит, будем петь песни! Запевай! — он снова глянул в зеркало и, высунув язык, состроил мне коварную рожицу. Дина небожно шлепнула его по макушке.

— А-а-арле-е-екино, арлекино, нужно быть смешным для всех! А-а-арлекино, арлекино, есть одна награда — смех!

А степь все звенела своими сухими стеблями, все врывалась в раскрытое окно знойным полынным духом. И где-то у самой кромки горизонта одинокое дерево неожиданно нарушало эту монотонную плоскую геометрию пространства. И я вспомнила ее...

* * *

...И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его²...

Примерно в середине мая приходит черед дней, отмеченных какой-то особой значимостью. В них нет шумной суеты начала весны: разноголосицы снующих с ветки на ветку птиц, обустроивающих свои гнезда; ежедневно обновляющейся палитры красок и запахов торопящейся, набирающей силу жизни. К этому времени успевают распуститься и облететь последние лепестки с яблонь, и ржавеющая сирень, раскачиваемая сквозняком, уже не рвется настырно в ночное окно. Это время разливается ощущением какой-то вселенской трагической пустоты. Время, когда умирает весна. Противоречивая смертельная тяжесть внезапной свободы.

Печально ныл колокол. Нужно было собираться в церковь. Я ушла в сад. Там, упруго обхватив вспоротую темными бороздами жесткой коры ветку, болтались витые веревочные качели, с накрепко вросшим деревянным сиденьем. Еще те, мои каникулярные летние качели. Сколько часов моего детского одиночества было посвящено им! И этим кружащим голову полетам до самой кромки неба. И этому саду, где запахи переспевшей тягуче сладкой шелковицы, затхлых кроличьих клетушек, продымленного чернослива и теплого куриного помета смешиваются с солнечной пылью и холодным каменным духом беспросветной темноты подвала. Закрыв глаза, я вспомнила однажды сошедшее тут на меня откровение — осознание одновременной первозданности и неумолимой конечности бытия.

...Доамне милуеште, Доамне милуеште, Доамне милуе-милуе-э-э-ште³...

Пальцы, напоминающие виноградную лозу, — такие же темные, узловатые и скрюченные — держали свечу. Вернее, свеча была втиснута в эти натруженные, беспокойные когда-то руки, теперь покорно сложенные на груди. Она лежала, похожая на маленькую некрасивую птицу. Пергаментные острые скулы, резко выступающий клювом нос и синеватые провалы глаз. Простой, по-крестьянски низко завязанный платок прижимал ко лбу ее «*проходную бумажку*». Отец

Василий, откашлявшись, начал службу. И слезы потекли сами. Словно вдруг отворилась моя душа.

* * *

Катинка, по давним рассказам бабушки, была какой-то дальней нашей родственницей. Когда-то в молодости она была хорошенькой. Тугие темные локоны, обрамляющие миленькое лицо, — аккуратные завитки прикрывают невысокий лоб; чуть косящие глаза, доведенные неумелой ретушью до формы лисьих; раскрашенные кричащим малиновым фломастером пухлые губы — главенствующее цветное пятно на черно-белой фотокарточке. Подобная фотография хранилась в нашем альбоме. Ее копия украшала стену с многочисленными родственниками в бабушкиной спальне. И с такой же точно Катинка любовно вытирала пыль в своей маленькой комнатенке на окраине села. В детстве меня всегда мучил вопрос — сама ли она раскрашивала губы на всех своих фотографиях, или это была услуга фотоателье? Но спрашивать вслух об этом я стеснялась — боялась, не сумею скрыть свое снисходительное отношение к этим вульгарным сельским художествам.

Вообще вкус у Катинки был отменный! В ранней молодости, говорили, она работала в городе белошвейкой, а потом вернулась в село и в просветах между тяжелыми крестьянскими буднями иногда шила что-то родственникам и соседям. Могла на скорую руку за несколько минут скроить прямо по фигуре шикарное платье, схватив всего несколькими стежками то тут, то там. Особенно много заказов бывало осенью, когда вино уже бродило игривым мустом и урожай был собран — самое время для молдавских свадеб. Тогда в комнатке ее появлялись полуодетые женщины, обнажая контраст темных, по локоть загорелых натруженных рук и нестерпимо-белых дебелых плеч. Кто-то приносил перешить-наладить старые платья — таких было больше. А кто-то, словно священнодействуя, вносил на вытянутых руках отрез плотного репса, привезенного из Черновиц. Тетки, тетушки, кумэтры⁴ и финуцы⁵ приходили и уходили, оставляя в благодарность: кто свежееиспеченный хлеб, кто бутылъ меда, кто кроличью шкурку, а кто и спасибо на растянутых в улыбке губах. Денег Катинка не брала никогда, да их, в общем-то, и не предлагали. В такие дни шумная суета комнаты к вечеру пропитывалась деревенским духом теплого женского тела: кисловатым ароматом волос, промытых зэром⁶; потной горечью крестьянского труда; волглым соломенным настоем и особым, тошнотворно-сладким запахом гусениц шелкопряда. Если мне счастливо удалось задержаться у Катинки в это суетливое время, мне доставались — полная коробка чудесных цветных лоскутов и обещание Катинки сшить моим куклам великолепные платья. Поэтому, услышав от взрослых о том, что у кого-то из соседей намечается свадьба, я торопилась к Катинке с каким-нибудь пустяшным делом, выпросив у мамы позволения остаться там переночевать. И меня отпускали. Весь следующий день я многозначительно кивала, одобряя фасоны, цокала по-взрослому языком или морщила нос в несогласии, подавала Катинке ножницы и держала булавошниц. А потом солнце соскальзывало за поросший виноградниками дальний холм, и усталая Катинка выходила во двор согнать в курятник птицу. И начиналась баня! На упирающейся в землю покатою крыше сарая с утра было приготовлено цинковое корыто, до краев наполненное водой. За день вода прогревалась, и вечером мне

позволялось до опупения плескаться в теплой, обласканной солнцем обволакивающей влаге. А еще — безнаказанно вымыливать здоровенный пахучий кусок земляничного мыла, изводя его на огромные радужные шары, неуклюжие и совершенно не приспособленные к высокому долгому полету.

Наутро шились платья старым куклам, а из белых лоскутов вдруг волшебным образом появлялась кукла новая — простенькая, набитая сухим кукурузным волосом, с глазами, прорисованными отслонявленным химическим карандашом, и — из жалости за эту наивную простоту — любимая мною более других.

Не шила Катинка только самих подвенечных платьев. Никогда. Никому. Ни настоящим невестам, ни моим невестамделишным кукольным.

* * *

— *Доамне милуеште, Доамне милуеште, Доамне милуе-э-милуе-э-э-ште...*

Пение хора и сухой шелестящий шепот скорбящих. Голова кружилась от душного майского воздуха, пересыщенного дымом церковного ладана, сиротским треском оплывающих свечей и неживой резкостью формалина. Комок в горле постепенно рассасывался, и пространство церкви, колеблемое световыми волнами, льющимися из сводчатых окон, начинало напоминать театральные подмостки с перемежающимися декорациями. Ощущение наигранности, оторванности от происходящего, словно взгляд из зрительного зала. Все это притупляло переживания и глушило скорбь. Хотелось выбраться из храма, смахнуть, стряхнуть с себя это нелепое представление. В голове вдруг начала вертеться совершенно не к месту возникшая мелодия: «А-а-арле-е-екино, арлекино, нужно быть смешным для всех...» И стало стыдно и неловко за свое это мелкодушное предательство. А мелодия назойливо сверлила мозг, удовлетворенно насмехаясь и гордясь своим превосходством над сознанием. Противоречие внутреннего циничного состояния с внешним трагизмом ситуации нервировало и пугало. Церковный обряд тяготил. Но выйти до завершения службы не было никакой возможности. Перед глазами поплыли какие-то фрагменты из прошлого, связанные с приблудившейся мелодией. И я обессиленно ухватилась за мелькнувшую мысль. Мысль о разговоре, который всего какой-то час назад, перевернув мою картинку мира, пошатнул уверенность в том, что все в жизни подчинено четким понятиям о хорошем и плохом, верном и не верном, белом и черном...

— А ты не знала?! Вай де капул меу!⁷

— Нет. А кто мне мог рассказать, если все это тщательно скрывали?

— Ну, пока вы детьми были, у ваших даже язык не поворачивался это сказать. А теперь я думала, что ты уже обо всем догадываешься... Знала бы, промолчала б. Вот же бес попутал. А чего же ты думаешь, она столько лет у вашего двора топталась? Это все из чувства вины. Так грех свой замаливала. Перед матушкой Параскевой, перед сыновьями — дядьками твоими, перед мамой твоей и теткой. Они когда из Дану⁸ переехали, матушка Параскева еще матушкой не была. И дед твой никаким священником не был, он только-только директором школы назначен был. В соседней Кажбе. Вот там-то они и спутались. Яртэ мэ, Доамне⁹! Она до того дошла, нерушината¹⁰, что встречала его

утром на краю поля и там прямо и согрешали по несколько раз. Так люди говорят. А потом она его до ночи у себя держала. Одному Богу известно, что они там делали такого, да только дед твой возвращался домой дурной и злой. Выпивал он с Катинкой на пару — она тогда и сама попивала, и его к этому приучила. Ну а потом домой он возвращался и скандалил — тарелки швырял, кричал, как малахольный, детей пугал. Из детей у них тогда только Ленуца — мать твоя — и маленький Раду были. Близнецов Марийку и Джикуюшора она уже потом родила. Нет, руки на матушку он не поднимал, конечно. Ни боже упаси! Воспитанный все ж таки человек, городской, образованный. Но вот так вот нервы ей, бедной, трепал. Оф-оф-оф... Какое-то время матушка ничего не знала. Ну, так добрых людей всегда полон свет. Село... Пришла какая-то кумэтра, все доложила в подробностях. А матушка ее взяла и выгнала. Святая женщина! Думнезеу со ерте¹¹! «Слышать, говорит, ничего не хочу. И знать не знаю! Как глазам вашим не стыдно и губам не противно мерзости такие мне говорить! Уходите вон со двора!» Да... вот так прямо и выгнала. Но на следующий день к обеду пошла в Кажбу, нашла дом Катинки, во двор зашла и, молча так, в глаза той посмотрела. Та засуетилась — боялась, что что-то натворит матушка — перепугалась насмерть, споткнулась, растянулась на дорожке, выронила миску с кукурузным зерном. Миска, рассыпая зерно, по двору покатила прямо к ногам матушки. А матушка миску подняла, подошла к той Катинке, встать помогла и миску в руки всунула. Развернулась и ушла домой в свое село. И в тот же вечер за Нику пришли. Арестовали деда твоего. Кто-то донес на него, мол, рассказал он в пьяной компании анекдот про Сталина. В двадцать четыре часа арестовали и выслали в Сибирь лес валить. Оф, вяцый вяцэ¹². В сорок восьмом это было...

Старуха замолчала. Уставилась в притолоку когда-то карими, а теперь выцветшими до бледной желтизны глазами. Мелко, со всхлипом, словно ребенок, вздохнула, отерла лицо тыльной стороной ладони, потом сноровистым движением развязала, оправила и снова низко повязала платок.

— А дальше что, тетя Виорика? Что дальше было?

— А дальше... Они когда пришли его забирать, Параскева воду из колодца набирала. Так и застыла: рукоятка крутится, цепь вниз полетела с ведром — как бесы в него уселись. А она стоит и — как окаменелая. Ни слез, ни звука, ни вдоха. Тут Катинка во двор ворвалась. Уж кто ей там, в Кажбе, обо всем сообщил — не знаю, да только слухи по селу от кумэтры к кумэтре разносятся, как колорадские жуки над картошкой. И вот: одна стоит у колодца ни жива ни мертва, а другая по двору ползает, причитает и в ногах у душегубов этих валяется, умоляет ее забрать, а Нику жене и детям оставить. Один из этих, в форме, Катинку ногой пнул, чтобы отпустила, значит. Не помогло. Он пистолетом на нее замахнулся, покраснел, стал кричать, что расстреляет на месте за то, что врага народа покрывает. Его второй вытолкнул со двора, а то неизвестно, чем бы все закончилось. В общем, посадили Нику в автомобиль тот и увезли. И только машина за соседним домом в улочке скрылась, дети на крыльцо выбежали — Раду с Ленуцей. Они в каса маре¹³ в сундуке прятались, пока беззаконие это на дворе творилось. Бедные детки на крыльцо, а тут матушка Параскева из оцепенения вышла, да как заголосит! Волосы на себе рвать начала, заматалась, как безумная. Дети плачут, ничего не понимают, но неладное чувствуют. Катинка с карачек вставать начала, волосы растрепанные ладонью приглаживать — пора убираться, все не ко двору она тут. А матушка Параскева

как кинется ведро колодезное руками быстро-быстро вытягивать, сорвала, отшвырнула его в сторону, цепью шею обвила и уже на край колодца взобралась, готовая кинуться вниз. Тут Катинка как закричит детям: «Репеде фужиць ын касэ¹⁴!» Да сама как бросится к матушке Параскеве. Слава Домнулуй¹⁵, успела-таки поймать ту. Не дала сгинуть. И душу живую спасла, и детей круглыми сиротами не оставила. Господи, помилуй! Кто бы подумать мог о таком! Вот ведь, нечестивица распутная тогда была, а сопернице своей греха совершить не дала. В общем, вынула она Параскеву из петли, в дом завела, уложила и еще три дня ухаживала за ней непрестанно. У Параскевы от нервов жар поднялся, помутнение головы произошло и ноги отнялись — никого она не узнавала, и только стонала тихонько: «Нику, Нику, открой окна, детям нечем дышать в темном подвале». А позже оказалось, что она уже тяжелая близнецами была. Ничего, выходила ее Катинка. Как наседка над ней тряслась. И за детьми смотрела, и по двору, по дому всю работу делала справно. Через месяц Параскева уже ходила потихонечку. А еще через сколько-то недель Катинка с кровотечением в районную больницу попала. Она, значит, тоже понесла от Нику перед его арестом. Только оставлять плод не стала. От одного греха и другой грех на душу взяла. Пошла к бабе Онике, и та ее вычистила. Да видно, плохо вычистила. Нагноение началось, и кровотечение открылось сильное. Еле спасли. И теперь уже Параскева за той в больнице ухаживала. Потом Катинка из Кажбы к нам в село перебралась. Поначалу угол у Лучии-хромоножки снимала. Батрачила по дворам. Но обязательно к матушке Параскеве приходила и по хозяйству, и с детьми помочь. Параскева вроде даже предлагала ей совсем к ним жить перейти. Но Катинка отказалась наотрез. Уж не знаю, как и о чем они там договорились, да только когда близнецы у матушки родились — Джикушор и Марийка, дядька с теткой твои — Катинка с раннего утра и до поздней ночи у Параскевы оставалась. Потом, в пятьдесят третьем, Нику из лагеря освободился и сразу уехал в Одессу в семинарию. Окончил семинарию и вернулся в село уже батюшкой. Как раз старую церковь сельскую из зернохранилища снова храмом сделать позволили. Так и стал он — пэринтеле¹⁶ Николае, а Параскева — мэтуша¹⁷ Параскева. Катинка продолжала у них работать, да и не работать даже — платы она не получала за это — просто помогала матушке по дому да с детьми и на службах в церковном хоре пела. Голос у нее божественный был. Да ты же и сама помнишь. А к праздникам полсела она обшивала. Так вот и жили. И ни разу больше Катинка с батюшкой Николаем наедине не оставалась. Ни разу! Только он на двор — она с глаз долой, в сарай. Он в сарай — она голову опустит и мимо него в огород спешит. Он мимо огорода пойдет — она уже в подвале с чем-то возится. Не знаю уж, как они все это уладить смогли, но вот прожили всю жизнь так бок о бок. Потому она, Катинка, и стала вам своей. Член семьи прямо. Потому вы — внуки — ее бабкой своей и считали.

— Да, я думала, она нам троюродная по деду.

— Вот-вот. Все ваши так думали. И лукавый меня дернул же так-то проболтаться, а! Ну да теперь уже все равно. Все они покоятся у ангелов в обители. А Бог милосерден и простит меня за эту болтовню. Мне тоже уже... скоро. Я, знаешь, одного не могла понять долгое время, как она могла простить ей — Параскева Катинке-то. По мне — такая жизнь хуже ада. Господи прости! И ведь обе его любили. Но одной пришлось смириться, а другой — уступить. Так уехала бы куда! Семей бы обзавелась. Маре трябэ¹⁸! Все ж Катинка работающая

баба была, и сноровистая, и на лицо недурная. Там-то все равно семья и детей четверо ртов. Оно, конечно, Нику как батюшкой стал, достаток в доме появился больший. Да и годы тяжелые голодные прошли. И детей он поднял, и образование всем дал. Матушка от него уйти никуда бы не ушла — не положено попадье-то, да и кто ж четверых-то чужих растить будет. Ну, другое дело, что она и любила его, как безумная. Потому и простила, видать, и ему и Катинке той. Да... любила. Вот и всю жизнь его не иначе как Никушор кликала. Никушор то, да Никушор се. Только на людях — пэринтеле Николае. Оно конечно, он священник. Но, господи прости, грешен всю жизнь был. Ни одной бабы просто так мимо не пропускал. Хоть за задницу ущипнет, хоть грудь потискает наскоро, хоть у забора так прижмет! И стыдно-то как, а! Ведь никому и не пожалуешься — батюшка все ж. Потом придешь к нему на исповедь, а и сама не знаешь, как сказать — ведь он же в стыд этот и ввел-то! А ему как ни в чем не бывало. С гуся вода. Словно и не он это вчера у ограды за юбку меня ухватил, и прямо в губы, в рот — Господи, прости — языком лез. Тьфу! Исповедует он меня, значит, послушает, да грехи мои мне, значит, отпустит. Я с колен встану, руку ему поцелую, к кресту приложусь и бе-е-гом домой. Там на иконы покрещусь, покаюсь, и вроде как легче станет... А что он грешен, так это его грехи, не мне им счет вести, там все ответим. Вот и он, сэрманул¹⁹, уже стоит перед Богом на коленях, исповедуется... И то подумать — и ему же как тяжело жить-то, поди, было. Это же он Катинку ту каждый божий день видел, мучился. Каждый день грех свой искупал вот этим вот самым, как говорится — не возжелай ближней своей! И ее-то он любил же. Катинку-то. Любил, любил! Точно тебе говорю! Тц-тц-тц! Вот так вот рай земной и становится для человека адом уже при жизни... А матушка! Сердце рвалось ведь, небось, а виду не подавала. Сколько милосердия в ней было! Я так скажу — все они измучились в этой жизни. Нет, я бы так не смогла. Истинно, не смогла бы. Да... Так вот, а матушка когда помирала, за ней Катинка и ходила. И в страданиях и болях ее утешала, и кормила-поила ее, уколы какие, примочки делала. И все прощения просила за всю прежнюю жизнь. Параскева тяжело умирала. Долго. Мучилась, несчастная, словно держало ее что. Никак отойти душа ее не могла. Вот ведь говорят, что люди светлые, праведные умирают легко. А поди ж ты! Она-то, Параскева-то, душой светлая, почитай святая была — такое в жизни пережить. Ан тоже маялась. Главное дело, в полном сознании умирала. Когда я к ней заходила, она, помню, глаза приоткрывала и жалко так смотрела, болезная. Исхудавшая вся, почерневшая на лицо, недвижимая, и только глаза впалые живым блеском светятся, а там, в них — боль и такое страдание ужасное, что у здорового, глядя на нее, сердце рвалось. Доамне-Думнезеуле²⁰. Не дай Бог никому! Только совсем уже перед кончиной — утром, на рассвете — она вдруг на кровати приподнялась, позвала Катинку к себе и наказала той строго: «Се ай гриже де Нику! Аузь, Катинка, се ай гриже де ел!²¹» Опустилась на подушки и померла. Так и закрыла ей глаза Катинка, молитву последнюю прочла, обмыла и свечу в руки вставила. Стало быть — ближе всего ей перед смертью сделалась. Вы-то уже потом приехали, к похоронам...

Тетка Виорика снова помолчала. Во дворе начала подниматься робкая суета. Вот-вот в церковь отправляться пора, скоро и заупокойная служба начнется.

— А ведь и сама Катинка его всю свою жизнь продолжала любить! Я ее как-то, уже на старости лет, спросила: «Неужто тебе вот так рядом с ними жить было

просто? Неужели никогда не хотелось отобрать его, врэжь²² им какую сделать за то, что жизнь твоя из-за него не сложилась?» Она, знаешь, что мне ответила? «Я, — говорит, — только один-единственный раз усомнилась, как поступить. Вот когда Параскева с цепью на горле в колодец готова была кинуться, я подумала — вот оно, твое счастье, Катинка, не делай ничего, просто чуть повремени, стой столбом, и оно само собою все решится. Детей ее сама поднимешь, а вернется Нику из лагеря, будешь единственной, и свое дитя ему родишь, да еще и не одно, может. Промелькнуло это тогда в голове, словно молния меня надвое разделила. Спор внутри меня пошел: спасти или погубить. Это рассказывать долго, а тогда в считанные секунды все произошло и все решилось. Видать, Господь меня простил тогда, сберег, не дал сатане разум затуманить. Кинулась я ее спасать и слово себе дала, что всю жизнь служить этой женщине буду. За весь свой грех перед нею расплачусь сполна. А может, любовь за меня все решила. Может, просто хотела я всю жизнь рядом с ним быть. Хотя и не мой он, а все каждый день его видеть могла и счастьем его радоваться. Такая уж судьба. Оно, знаешь, Виорика, не понять, в чем большее счастье — жить с ним под одной крышей и делить одно ложе, рожать ему детей, вместе стариться, но носить в себе камень греха, что детей сиротами оставить позволила, что не спасла ту, с которой он в церкви венчан, или с открытой душой жить рядом, помогать, видеть, как рождаются и растут его дети, как счастливы он и та, которой я сама же жизнь для него сберегла, и радоваться их счастью. Что поделать. Душа под судьбой прогибается... и смиряется. А любить его мне никто уже запретить не может. Даже и сам Господь. Пусть и так — на расстоянии, не мой. А другой любви в жизни у меня и не было никогда».

Старуха смахнула мутноватую слезу.

— О-о-оф-оф! Вот так, Нинуца. Вот так, драга мя²³ ... И слово, данное матушке, она сдержала. Все то время после смерти Параскевы заботилась о батюшке Николае — и дом вела, и двор, и его обстирывала, кормила, поила. Люди злые, саре н окъ²⁴, всякое говорили. Завидовали, наверное, что деньжищи поповские могут Катинке достаться, что обведет она детей и внуков его вокруг пальца, говорили, что спит она с ним. Но ни разу в доме она не оставалась, это уж точно, так что и слово, что себе дала, Катинка сдержала. Вам, детям и внукам, из города всего этого не видать было. Все казалось, наверное, что старик сам в силах. Но только мужчина, что всю жизнь привык в женской заботе быть, к самостоятельной жизни на старости лет совсем не приспособлен. Да и тосковал он очень по матушке. Быстро сдавать ваш дед стал, как Параскевы не стало. Да... И у Катинки, говорят, перед смертью своей он прощения попросил. А остальное уже Господь прочтет, когда с лица батюшки Николая покров снимут — все наши грехи с собой пэринтеле унес, за всех нас, представши, просить будет.

* * *

...И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его...

...А-а-арле-е-екино, арлекино, нужно быть смешным для всех!..

...Доамне милуеште, Доамне милуеште, Доамне милуе-милуе-э-э-ште...

* * *

Монотонная тряска внезапно прервалась. Видимо, я задремала. Дина говорила по сотовому и расспрашивала у кого-то, на каком повороте мы свернули «не в ту степь». От буквальности фразы стало смешно. Я вышла из машины, решив не вмешиваться в начавшуюся колкую перепалку Женьки с Диной.

На линиях от солнца сучке черного саксаула сидела степная птица. Мое присутствие ее ничуть не смущало. Я, сама боясь спугнуть ее, отошла подальше. Земля под рослой травой, высушенной ветрами, слоисто шелушилась. Вдохнув тревожную горечь полыни, я пружинисто присела, а потом, запрокинув голову, растянулась навзничь. И тут же накренилось проколотое тонкими стеблями небо, покатились дугой подброшенная медяшка упругого азиатского солнца. И вдруг стало отчаянно жаль себя. И показалось, что я одновременно всеобъемлющая и пуста в этой чужой, бесконечной книге степей. И противоречивая первозданность и конечность мира снова — как там, на качелях детства — неумолимо обрушились на меня, придавив своей невыносимой легкостью.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Денежная единица Узбекистана.
- ² Екклесиаст (XII, 7).
- ³ Господи, помилуй (молд.).
- ⁴ Кума (молд.).
- ⁵ Крестница (ласкательное молд.).
- ⁶ Кисло-молочная сыворотка (молд.).
- ⁷ Горе на мою голову (молд.).
- ⁸ Село на севере Молдавии.
- ⁹ Прости меня, Господи (молд.).
- ¹⁰ Бесстыжая (молд.).
- ¹¹ Прости ее, Господи! (молд.).
- ¹² Ох, жизнь есть жизнь (молд.).
- ¹³ «Большой дом» (молд.) — нежилая комната для гостей и проведения обрядов, в которой молдаване держат все ценное, собирают приданое.
- ¹⁴ Быстро марш домой! (молд.).
- ¹⁵ Слава Богу! (молд.).
- ¹⁶ Отец, батюшка (церковное — молд.).
- ¹⁷ Матушка (церковное — молд.).
- ¹⁸ Большое дело (молд.).
- ¹⁹ Бедный, несчастный (молд.).
- ²⁰ Господи-Боже (молд.).
- ²¹ Заботься о Нику! Слышишь, Катинка, заботься о нем! (молд.).
- ²² Колдовство (молд.).
- ²³ Дорогая моя (молд.).
- ²⁴ Соль в глаза — народная присказка от завистников (молд.).

Ирина Цыгальская

Автопортрет

Рассказ

Как изменялось мое восприятие мира после ухода кого-нибудь из близких... Когда умерла бабушка, потом свекровь... Как я смотрела на людей — на улицах, в троллейбусах, — прочитывая в их лицах знаки умирания: и они, и они тоже вот так, в муках...

Рассказываю об этом одной знакомой, похоронившей сестру. «И это так и осталось?» Она спрашивает испуганно, должно быть, переживает сейчас что-то подобное описанному мной. И я ее, конечно, успокаиваю: «Нет, ну что ты, прошло».

Проходило... Проходит... Сначала на какие-то лишь минуты — «какая красивая осень... или весна... пойду погуляю» — вспыхивает непростительная жажда жизни. Как утреннее солнце, всплывают воспоминания о часах, когда исчезали вдруг земные заботы и огорчения, когда хотелось — и удавалось порой — сосредоточиться на чем-нибудь высоком, непреходящем. Находилось — и казалось исполнимым — желание приспособиться ко всему в людях, говорить на их языке и с любовью к ним относиться. Забыв о том, что я каждый день рискую умереть, каждый день сталкиваюсь со смертью.

Воспоминания о том, как удивительно каждый год утверждать: пришла еще одна весна. Моя. Одна из... да даже если бы из сотни. Разве это так много, чтобы не помнить, чем ознаменовалась каждая?

Наступило и то памятное лето. Июльский зной. Платье на один вечер, зеленое. Это — образ воспоминания. Мой ли? Неважно. Образ. Воплощение молодости и жажды.

Исключают ли слова «плотяной мир» — а платье связано ли с плотью? Шкаф ведь платяной, не плотяной, но не все ли равно... — исключают ли они духовность? Или, напротив, все соединяют в одно. Плоть и платье, жажда жизни — и жажда узреть что-то большее в молодой женщине, глядящей на свое отражение, в восхищении ею.

Восхищение — Руты. Непонимаемой мной никогда, так и не понятой.

Ни я, ни Рута не думали об асимметрии как основе развития и любого движения. А вот сама асимметрия привлекала. И вовсе не казалась нарушением

Ирина Цыгальская — писатель, переводчик латышской прозы и поэзии, автор нескольких сборников рассказов и повестей, книги эссе и зарисовок, редактор «Рижского альманаха».

Живет в Риге.

гармонии. Или, напротив, нарушить гармонию как раз хотелось. Потому что надоело слышать и говорить о гармоничном развитии и Вселенной, и — самое важное — личности. О соблюдении симметрии, например, в изобразительном искусстве, скажем, о симметричности цветковых пятен на полотне.

По-лот-но. Плотное. Плотяной мир — значит, говорилось о симметрии в плотном мире. В так называемой грубой материи. А случайно ли совпадение согласных «пл» в этих словах?

Впрочем, все это — мои нынешние представления. А тогда? Почему в ранней молодости так сильно пленяла — опять «пл» — асимметрия?

У меня уже и перед тем было два похожих платья. Первое я купила в магазине. Значит, отсутствие гармонии не только меня прельщало? Хотя бы в одежде. Если нашелся модельер, начертивший такую модель. И закройщик, которому не показалось неприятным кроить такое...

Но это неважно. Эти рассуждения уводят в сторону. Я же всего только об асимметрии: вот этот вырез у шеи. Не круглый и не квадратный, а — наискосок. И — никаких украшений.

Второе платье с таким декольте мама сшила по моему рисунку. Оно было летнее, безумно цветастое. Я поехала в нем на юг — в Крым, к Черному морю. На меня, то есть на это платье, заглядывались мальчики и мужчины, и даже вполне расфуфыренные дамы. Были, были такие и в то золотое десятилетие. Дочки, жены номенклатурных работников, каких-нибудь подпольных дельцов.

Так я и проходила там, у Черного моря целый месяц, можно сказать, не снимая это безумно цветастое платье с асимметричным декольте. Вечером иногда простирывала его, ночи были такие теплые, что к утру оно высыхало, а если и не совсем, то надевалось влажным. Приятно освежало в первые часы летнего зноя.

Осталось ощущение чуть затянувшегося карнавала. Карнавалы месяц на Черноморском побережье, и я — гостя. Только бы не загоститься. Недаром поется: «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей...» Вот именно: не хозяин, а всего лишь *как* хозяин.

Если причислить гармонию к защитным свойствам организма, то значит и гармония, а вместе с ней и гармоничное развитие личности часто становятся не защитными, а тормозящими. Нечто подобное о защитных механизмах говорил протоиерей Александр Менем.

* * *

На самом деле я почти не знала Руту. Меня от сближения с ней долго — да что там долго, до самой ее кончины — удерживало ощущение опасности. Это слишком четкая формулировка, жесткая, определенная и, значит, неверная. Хотя все же было в ней необъяснимое нечто, которое отзывалось во мне этим чувством в ее присутствии. И это притом, что Рута несколько лет, целый период, довольно большой абзац в моей жизни, принадлежала к нашей компании единомышленников. Однако ни в коем случае не была мне даже приятельницей, не то что подругой. Рута лет на пятнадцать была старше, и в том абзаце моего времени представлялась — в ее сорок с небольшим — чуть ли не старухой. Мне было едва за двадцать.

Вот она появляется на пороге комнаты, замечая, что тут все свои, радостно восклицает: «Samp! Dzersim samp!» — «Будем пить шампанское!» — она не

выговаривает слово полностью — sampanietī — не хочет тратить время, нужна динамика.

Но зеленый портрет — мой. Рута — одна из фигур на фоне. Правда, фигура чуть ли не самая главная.

До сих пор удерживала меня от создания автопортрета воспитанная во мне (природная?) застенчивость, предельная, до робости. Боязнь показаться хвастуницей: ишь ты — автопортрет! Еще и зеленый!

Но ведь пишут автопортреты художники — графики, живописцы — у них это совсем не редкость. Легче, наверно, перечислить среди великих тех, кто своего автопортрета не создал...

Может быть, автопортретов не сочиняют композиторы? Как сказать. Это неизвестно, музыка — самый зашифрованный род художественного творчества. Исполняется какая-нибудь симфония или ария. Мы не знаем и редко можем догадаться, кто в них радуется и плачет. Не себя ли выражает композитор, не о нем ли рассказывает исполнитель, не зашифрован ли в нотных птичках автопортрет?

Рута была дочерью липайского боцмана. Мать ее рано умерла, боцман воспитывал девочку один. Пока была совсем маленькой, уходя в море, оставлял ее на попечении соседки-старухи. Когда подросла — забирал с собой в плавание.

Иногда мне так и хочется назвать Руту боцманшей. Нет, не «шей», зачем? Просто — боцманом. И в лице у нее что-то такое видится, и в поступках, и в манере поведения. Так и кажется, что когда и капитан с помощниками, и боцман отдыхали, она занимала их место на капитанском мостике и отдавала команды. Решительно и отрывисто. «Шамп! — произносит Рута, — будем пить шампанское!» И никому даже в голову не приходит возражать. Так хочется к ней поскорее присоединиться, заявить, что ты тоже обожаешь именно «шамп» и ничего другого не пьешь.

Лицо Руты грубоватое, но больше — лукавое, а фигура, хоть и ладная, но в ней как-то недостает... ну, наверно, женственности? Одно слово — боцман.

Созданию своего образа она уделяет большое внимание; выглядит элегантной. Рута любит голубой цвет. Летом на ней всегда голубое платье, которое она носит не больше одного сезона. Пусть сколько угодно мало выпадает по-настоящему летних, теплых дней, мы все равно знаем, что будущим летом этого платья на ней больше не увидим, будет новое, тоже голубое, но другого оттенка, с другим рисунком. Может быть, она предпочтет более крупный узор из замысловатых растений. С примесью зеленого. Что-нибудь такое. Пудру, помаду, краску для ресниц и бровей Рута подбирает со вкусом, грим накладывает умеренно.

В ее жизни немало тайн. Кажется, она не очень счастлива. Наверно, и потому, что создать семью ей не удастся. В этом смысле, как говорят, судьба Руты могла состояться в той же Лиепае, но она сама ее отвергла. А ведь могла... стать боцманшей, то есть женой боцмана. Ждать его с моря, приходить к причалу — нарядной, в очередном темно-голубом платье, с парочкой детей.

Но такая судьба оказалась не по ней. Хотелось в Ригу, учиться филологии в университете. Успешно закончив гуманитарное образование, Рута стала сотрудницей латвийского радио. И вот уже много лет готовит детские передачи. У нее небольшая квартирка в глубине двора на одной из центральных рижских улиц, дружочек Витюша, значительно моложе Руты. Несколько лет назад у него

появилась горячо любимая — так называет ее Рута. Витюша намерен вскоре жениться на этой своей горячо любимой. Спустя еще несколько лет он и на самом деле женится, а еще через какое-то время, еще до кончины Руты, уедет из Риги навсегда — в Израиль, на родину предков.

Но пока, на данном отрезке жизни, Витюша, несмотря на горячо любимую, продолжает навещать Руту — в качестве друга. Я его понимаю — Рута умеет дружить, это правда.

...Ну да, Рута часто видится боцманом на корабле, отдающим нам команды с капитанского мостика. Что-то в ней меня притягивает, да так сильно, что зависть берет к Витюше, которому она так прекрасно дарит свою дружбу. Хотя сердце не может не болеть из-за горячо любимой. В которой, кстати, Рута находит множество забавных недостатков и посмеивается над ними — «ха-ха, вот уж нашел подарочек... горячо любимая... ха!»

Работая в редакции детских передач, Рута вкладывает в них, в эти передачи, многое из своего нерастраченного. Правда, злые языки болтали, будто передачи Руты для детей хорошими быть не могут, так сказать, по определению: Рута — бездетная. А потому разве может она со всей необходимой тонкостью разобраться в детской психологии, в особенностях восприятия ребенком слова, музыки, юмора и... трагизма. Так рассуждали и многие из тех, кто ни одной передачи Руты ни разу не слышал, во всяком случае, от начала до конца.

Другие возражали, что не обязательно иметь собственного ребенка, чтобы в нем увидеть человека. То есть, что даже, может быть, и вовсе наоборот: не зная детей в близком общении, Рута больше способна их уважать.

И все же... Мне, например, казалось и кажется до сих пор странным: как, обладая таким боцманским обликом, такими манерами, Рута настолько хорошо знает, чего хотят дети.

Отталкивало в ней... ну, вот это... несоответствие.

Однако до каких же пор мы будем судить о сути по внешним проявлениям? Забывая, что за ними скрыто большее, более существенное.

Нет ли и тут — асимметрии?

* * *

Мой рассказ — воспоминание о Руте, о зеленом платье — приостанавливается, застопорившись на слове «асимметрия». А во сне я опять писала — и уже не продолжение, а целые, сразу завершенные рассказы. Один за другим. Мнилось — во сне, — что это так легко и что вовсе не надо вставлять и записывать, так как все это уже есть. Не то в моем компьютере, не то во мне самой непонятным образом — вроде бы в виде замешенного теста, остается лишь вылить на сковородку и печь, как блины.

* * *

Наверно, Рута вполне сознательно хотела выразить несогласие с серостью будней. Начиная с климата, наделившего нас небом, так часто похожим на свинцовый колпак. А заодно и канонем, требующим соблюдать сдержанность и в честь нее носить такую же сдержанную одежду, без всяких выдумок и фантазий. Тут наши отношения с действительностью резко не совпадали.

Рута боролась... с собственной скукой? Унаследованной от боцмана, уплывающего от нее — от скуки — в дальние моря и океаны.

Иной раз чудилось, что она с каким-то даже остервенением выискивает в комиссионках или прямо в порту, с рук у морячков, покупает что-нибудь «эдакое». А не переносила ли она свою злость на однообразие и в свои детские передачи, предлагая радостно подивиться на героя, все что ни возьми делающего наизуворот? На маленькую героиню — «девочку наоборот»?

Это свойство Руты меня, понятно, притягивало. А как не притягивать? Необычайность всем назло.

Рута явно обрадовалась, когда я, даже еще и не прося ее помочь, просто рассказала, обращаясь вроде как к стенам или потолку, о своей озадаченности. «Платье, — говорю, — что ли, купить? А то завтра иду на прием в честь высокопоставленного перса. В узком кругу в шикарном ресторане над морем». «Ага... — Рута оживилась, на секунду задумалась. — Денег одолжить?» — «Нет, спасибо: деньги есть. На платье хватит» — «Тогда — вперед». Она подхватила меня под руку и потащила к лифту. «В обычные магазины... ну, заглянем — в те, что будут по пути. Но особенно терять на них время не стоит. Лучше — комиссионки».

Возле лифта Рута отпустила мой локоть, чуть подтолкнув, поставила меня напротив себя, на шаг отступила, внимательно пригляделась. Я поняла, что я сейчас для нее — модель. Взгляд у нее был цепким. Должно быть, она хотела ухватить и запечатлеть в мозгу детали: цвет волос и глаз, расстояние между глазами... Заметила, конечно, что они расставлены широко, что правый глаз чуть-чуть косит и что это легкое косоглазие придает лицу легкую асимметрию.

Подъехал лифт, Рута открыла дверь кабинки. Данными модели она, похоже, осталась довольна. «Можно развернуться, — пробормотала она уже на улице, — а то все какие-то ограничения — и одно не подойдет, и другое... ф-фу», — Рута сплюнула на тротуар. Должно быть, вообразилось, что сплюнула. Конечно, она не плевала, слишком себя уважает, чтобы совершать такие несуразные поступки.

Видимо, собственная персона в качестве модели ей надоела, диапазон возможностей был исчерпан. На лице Руты блуждала довольная улыбка, она опять взяла меня под локоть и ускорила шаг. Мы почти побежали, я догадалась, что наша цель — всем известная большая комиссионка на Бривибас.

...Ах да, ну зачем все это? «Славы от людей мы не искали...»¹. Ну, нет у меня такого искушения... Во мне все чаще уже с самого утра лихорадочная спешка, вследствие которой — нарастающий ужас, что не успею (куда? что? зачем?). Непростительная жажда жизни...

* * *

Я напрягаю зрительную память, чтобы увидеть лицо Руты: при общей его вытянутости — круглые щеки, чуть подрагивающие губы. Нос обычный, не велик и не мал. Но не вижу глаз, хоть и помню, что были они голубые и тоже, как и нос, отличались соразмерностью. Посажены не близко, но и не далеко, не очень глубоко.

Ею тоже овладела лихорадочная спешка, быстро и целеустремленно она ведет меня по Бривибас, вот мы уже миновали памятник Свободе, бежим по правой стороне от центра к церкви Гертруды, к старой Гертруде, которая не на

¹ 1 Фес. 5:41.

Бривибас, а чуть в глубине; немного подальше там находится дом, где живет Рута, вход со двора, двухкомнатная квартира на втором (или на третьем?) этаже. Мы часто в ней собираемся, чувствуем себя свободно. Если хочется, можно разлечься на ковре, вытянув ноги под журнальный столик. На нем горят свечи, стоит бутылка «шамп», Рута берет бокал, слышно бульканье, шампанское шипит и пенится. Голос Руты: «Pats es suds, bet mani draugi...», многозначительная пауза... «Я сама — дерьмо, а вот мои друзья...»

Култ дружбы, высокая нота — «а вот мои друзья». Но ведь «скажи мне, кто твой друг, и я скажу — кто ты»? Значит, возвышает себя? Правильно: дружба и любовь, друзья и любимые нас возвышают. У Руты это, наверно, еще и профессиональная привычка, укоренившаяся благодаря детским передачам, знанию того, насколько важен друг ребенку.

Разве не кажется нам уже в самом раннем детстве и потом, дальше, дальше: никто со мной не дружит, не хочет дружить. А попробуй найди друга-то, который не только сам не оставит тебя, но и ты его не захочешь оставить на протяжении долгих, долгих лет, может быть, вплоть до самой смерти.

Сейчас мы идем не туда, не сворачиваем с Бривибас по Гертрудес: наша с Рутой цель — коммисионка. Она, Рута, видимо, знает, что нужно мне к завтрашнему вечеру, перед ней уже маячит образ подходящей модели. Я сама уже не подхожу, может быть, никогда и не подходила, оттого мы и не сближаемся с Рутой слишком тесно. Но вот модель... асимметрия в этой модели.

Зеленое платье с асимметричным вырезом висело в коммисионке среди других и нисколько не задержало моего внимания. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, я стояла за спиной Руты, и моим единственным желанием было поскорее отсюда убираться и на этом закончить нашу авантюрную затею: купить платье на один вечер. «Будто вы не знаете, — обращаюсь я мысленно к ней, своей командирше, боцману, — будто не ведаете, что ничего такого не купить! Нет ничего в магазинах! Хочешь платье — достань материю, поклонись портнихе! — Глаза вспотели, нос покрывается каплями: июльская жара! — Пойдем отсюда!»

Но мои «послания» ее не достигают. Она хищным взглядом впиалась в развешенные платья. Целый ряд! Но для меня — ничего. «Подумаешь, турок или перс какой-то приехал, ну и что? Он что, приехал на меня любоваться? Отглажу черную юбку, блузка тоже найдется...» — «Черную?! Да вы с ума сошли!» — шипит она или это мне только кажется? Рута обращается к девушке за прилавком: «Ну-ка дайте-ка нам вон то, зеленое».

Девушка протянула платье на плечиках. Да на каких плечиках! Оно висит, несчастное, на одном только плечике, бред какой-то... Рута, с этим уродом на одном плечике в руке, подталкивает меня к примерочной. «У вас дома лифчик без бретелек имеется?» — «Да» — «Прекрасно. Сейчас будем мерить на голое, а то лямки помешают увидеть». И — р-раз на меня это чудо-юдо с асимметричным вырезом. Я распрямилась, пригладила волосы. И — ахнула! Зеркало отразило *нечто*. А за этим нечто — Рута, с довольной смешинкой на губах. И такие же, только голубенькие, смешинки в глазах. И говорит про это зеленое нечто: «Потрясающе!»

А я... ну, я не знаю, кто там, в зеркале. Зеле-е-еные глаза русалочки. Расширенные — от удивления? страха? Раздвоение какое-то. То есть, я, за чьей спиной Рута, боцман, со своими командами («потрясающе!», «берем!») — и та, в зеркале, на самом деле — потрясающая модель. Да уж и не модель, а нечто. Ну,

иначе не могу назвать. Загорелые плечи юные, шея, этот вырез, сама небрежность, будто закройщица, видя вот именно такую модель, вдохновенно взмахнула ножницами и раскромсала...

«Ага, берем. Туфли только...» Я посмотрела на свои стоптанные босоножки. Столько-то и я разбираюсь, чтобы понять — не соответствуют. «А тут же и возьмем что-нибудь, переодевайтесь, платите, а я — в обувной отдел». Рута вмиг исчезает, будто бы растворяется, как и положено в волшебном царстве. В зеркале, понятно. А модель в нем стоит, окаменела. Уставилась на вырез.

Не помню дальше. Как переоделась, как очутилась опять в духоте комиссионки. Снова капли пота на носу, ищу платочек в сумке, не нахожу. Боцман пропала, некому скомандовать — выпишите чек, заверните... что-то в этом роде.

Ну, я или не я, уж не вспомню, все это проделываю, ищу глазами Руту, а она, размахивая чем-то серебристым, подзывает. Дальше уже не так интересно. Босоножки и впрямь серебряные, каблук — высоченный и тонюсенький, модная шпилька.

Все исчезло из зеркала, мгновенье умерло, провалилось в небытие. И тогда-то было трудно это «нечто» в зеркале сопоставить, уравнивать со мной, то есть с возникшим в воображении боцмана образом модели. Не говоря уж о теперь, когда вижу в зеркале уже и вовсе несопоставимое отражение и понимаю, чувствую, как умирает и это мгновение, и следующее за ним, и следующее...

Только вот эта асимметрия, все приводящая в движение. Совсем не важно, что нет уже зеленого платья — затерялось, наверно, при переездах. Или, с моего разрешения, а может быть, и без, его разрезали на куски дети. Девочки. Им ведь тоже было нужно что-то «эдакое», чтобы наряжать кукол, какой-нибудь из них тоже могло понадобиться платье на один вечер, так как предстояла встреча с высокопоставленным персом.

Врезались в память мгновенья у моря и в море — потом, после ресторана. Уже стемнело, уже можно спрятаться в своей скорлупе. Идти в середине, в гурьбе себе подобных, тех, кто много часов пребывал на свету, а сейчас отдыхает во тьме ночи у моря, каждый наедине со своими мыслеобразами, со своими представлениями о мироздании.

Уже никого больше нет, кто бы вспомнил ту ночь и предшествовавший ей вечер в ресторане. Да там ничего, то есть никого и не было. Ни вспыхнувшей страсти, ни прошедшей любви. Не было, как говорили в XIX веке, предмета, на котором сосредоточилось бы все волнение, который преобразил бы тот июльский вечер до такой степени, чтобы оказалось невозможным его забыть. Мой муж? Но он, скорее всего, не помнит ни зеленого платья, ни ресторана над морем, ни ночного пляжа. Даже того, купалась ли я тогда. Море было такое теплое, наверно, купалась — нагая: ну, не было же купальника с собой, в ресторане-то.

Стоит ли рассказывать о том времени? О том, что это были, как вспоминают теперь, золотые шестидесятые, по-своему неповторимые. Но и тяжелые. Разве легко было многим и многим после пережитого и переживаемого найти в себе желание приспособиться ко всему в людях, говорить на их языке? И сделать это желание исполнимым.

...Тихий плеск, блестящие от влаги в темноте шея, плечи. И следующие,

следующие мгновенья — свежести после морского купания. Натянутое на влажное тело зеленое платье с асимметричным вырезом.

* * *

Сейчас, когда длится время велей¹ — лучше: пора велей длится и кажется бесконечной, но одновременно спрессовывается, мнится уже предрождественской, и я вижу ту далекую июльскую ночь у моря.

Да, вижу ее как образ, чувствую, но ничего-ничего не помню. Просто стою на лоджии, на одиннадцатом этаже своего теперешнего дома; гаснет свет в окнах, тесно поставленных по фасадам однообразных многоэтажных зданий: хоть и пора велей, а все-таки понемногу светает.

Стою — и не понимаю, как это может быть, что в эту пору, когда так промозгло и должно бы быть ощущение, что я пропитываюсь холодной влагой, я почему-то чувствую дыхание — теплое, южное дыхание моря той далекой ночи. Я не могу вспомнить не только слов, произнесенных на той встрече в ресторане над морем, но даже не нахожу в памяти ни ступеней, ведущих в зал на второй этаж, ни самого зала, ни расположения нашего стола в нем, что там было слева, что — справа. Сажу ли я спиной к залу? И взгляд, поверх голов участников встречи с персом, упирается в стену.

Вижу коллегу Г. еще внизу, в вестибюле — договорились собраться там, по одиночке или с супругом/супругой могли и не пустить в зал, в те времена в кафе и ресторанах мест не хватало, тем более в летний сезон в этом прославленном ресторане, который спустя несколько лет смует, унесет в море или просто разнесет в щепки осенняя буря. Мы с мужем входим. Коллега Г. смотрит с восхищением, и я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на ту, которая его так поразила. Большое трюмо во всю стену, и в нем я боковым зрением замечаю уже знакомое нечто в зеленом платье с асимметричным декольте. «Как вы элегантны», — бормочет Г., целуя мне руку.

Мне?

Но я опять раздваиваюсь, не знаю, я ли это юное нечто в зеленом, в серебряных босоножках на высоченных шпильках. И снова обдает южным теплым дыханием моря — на холодной лоджии.

...После ужина мы идем всей компанией, и персиянин еще тоже с нами, потому что и он очарован теплой июльской ночью. Хотя для него такая ночь не диво? Но вот — идет с нами. Наверно, увлекся беседой. О жажде, неутолимой жажде свободы. Не поручусь, что именно о ней, я беседы совсем не помню, ни одного слова, ни одной фразы. Но я безмолвно участвую в ней: все, что можно сказать о красоте и свободе, вмещает дыхание моря.

Я снимаю серебряные босоножки, бросаю на песок зеленое платье с асимметричным вырезом и пересекаю рубеж между водой и сушей.

2012-2013

Рига — Вентспилс

¹ Время велей — Velu laiks (*латышск.*) — время духов, осенний период от Михайлова до Мартынова дня. Вели — духи умерших предков. Считается, что в темные месяцы года они навещают своих потомков и родственников. Им оставляют угощение на крыльце или в сенях.

Золотые страницы «ДН»

Евгений Евтушенко

Стихи и переводы



* * *

О Грузия, — нам слёзы вытирая,
ты — русской музы колыбель вторая.

О Грузии забыв неосторожно,
в России быть поэтом невозможно.

Чиковани

С каждым днём Чиковани всё более слеп.
Он рукой находил неуверенно хлеб,
неуверенно стискивал зыбкий стакан,
но лицо обращал без ошибки к стихам,
потому что, когда их читает поэт,
для другого поэта —
незримого нет.

Лимонад Лагидзе

Всегда есть неразгаданность в провидце
и в мастере любом —

таков закон.

Секрет своей воды унёс Лагидзе,
как тайну языка Галактион.
Теперь стихи, как лимонад шипучи.
Промышленность работает хитро,
и почему-то жидкие шампуни
сегодня называются «ситро».
Что вкус для мира, слишком занятого!
Но помню, от безвкусицы устав,
то ощущение чуда золотого,
шипевшего когда-то на устах.
И лимонад не терпит равнодушья...
Как прыгали пьянящие слегка
лимонов бывших крошечные души,
смеясь внутри любого пузырька!

Старик Лагидзе умирал, как надо,
бесслёзно смерть приняв, как благодать.
С ним умирала тайна лимонада,
и мастер знал —

её не передать.

А юноша, рискнув над ним склониться,
«В чём ваш секрет? —

спросил у старика,
и высунул, смеясь, язык Лагидзе
и показал на кончик языка.

Сваны

Каждый сван подобен сванской башне,
будто сердце — в каменной рубашке.

В сдержанности, замкнутости свана
скрыта историческая рана.

Сколько было крови здесь и боли, —
так что башней станешь поневоле.

Броня

Слава прошлого — в будущей славе,
вот и выпало в час роковой
быть великому Моурави
в бронепоезде под Москвой.

Сквозь пожарища и туманы
трепыхалась на сквозняках
книга женщины русской — Анны
у солдата-грузина в руках.

Гимнастёрку суровой ниткой
он заштопал, прилёг, покурил,
а когда задремалось, то книгой,
как историей, сердце прикрыл.

И страницы её защитили
от осколка, летевшего в грудь,

рядового Мнатобишвили,
понадеявшегося вздремнуть.

Значит, могут эпохи смыкаться,
если сына грузинской земли
Антоновская и Саакадзе
в сорок первом от смерти спасли.

В этой книге — глубокая рана,
и она до того глубока,
что просвечивают сохранно
в ней спасённые ею века.

Как спасенье искусство понявший,
я скажу, если спросят меня:
наши книги — для Родины нашей
дополнительная броня.

Грузинская застольная

Я не люблю всех тех, кто пьёт
и дни, и ночи напролёт,
но если дружба соберёт
нас всех из ям или с высот,
друг другу скажем без длиннот:
«Аба давльот! Аба давльот!»¹

Мы знали всё — и кровь, и пот,
турецкий гнет, и прочий гнёт,
и сжатый голодом живот,
и слёзы горькие взаглот,
и в нас огнём плюющий дот,
и перелёт, и недолёт,
и лёд вершин, и грязь болот...
Достоин чаши только тот,
кто свой народ не предаёт.
«Аба давльот! Аба давльот!»

Учителя фальшивых нот
нам наливали яд, как мёд,
решив: «Кто выпьет — не поймёт».
Но вышло всё наоборот.
Нам обожгло навеки рот.
Но понял, кто не раб, не скот,
что яд — совсем не мёд из сот.
Пусть бог нас ядом обнесёт...
«Аба давльот! Аба давльот!»

Пусть будет изгнан трус и жмот,
кто в чашу дружбы наплюёт.
Плыви, как в море бурном плот,
наш стол — наш маленький оплот.
Пусть самый страшный поворот
тебя в щепу не разнесёт.
Рука налёт, судьба дольёт...
«Аба давльот! Аба давльот!»

«ДН», 1978, № 7

Шота Нишнианидзе

С грузинского. Перевод Евгения Евтушенко

Песня об украинском перце и Тарасе Бульбе

1

Прерывисто дышит август,
Как рыжий пёс у колодца,
Высунув красный,
вздрагивающий
Язык пересохшего солнца.
Жалами сотен тысяч пчёл,
Горечью сотен тысяч смол,
Жгучестью сотен тысяч крапив,
Плачами сотен тысяч ив,
Посвистом сотен тысяч кнутов,
Взмахами сотен тысяч хвостов

Заряжен перцовый один пистолет,
Которым стреляет
сквозь множество лет,
Стреляет сквозь войны,
восстания,
голод
В нас,
в незнакомых потомков,
Гоголь.
И красный перец
в бутылке горилки,
Как будто в темнице казак
без подстилки...

¹ «Давай выпьем!» (груз.).

2

А ну, старина,
 выходи из темницы!
 Шуми шароварами,
 схожими с крыльями птицы!
 Ты был в моём детстве легендой,
 живучим курилкой.
 А ну, разгорись в моём теле
 горилкой!
 Ты — перец украинский,
 будто степной
 полыхающий ночью костёр!
 Ты — солнца скирда,
 упирающаяся
 в простор!
 А кровь казачья,
 как перца сок,
 Хлобыщет сквозь пулей пробитый
 сапог...
 Пей и воюй,
 запорожский казак.
 Здесь порохом пахнет
 даже кизяк.
 Война
 обнимается
 с гопаком.
 Легче в бою погибать
 под хмельком.
 Трусливые сопли врагов,
 словно вожжи,
 Когда ты шапку берёшь,
 Запорожье.
 И я здесь хлебнул —
 аж до жара в затылке —
 Любви твоей,
 словно с перцем горилки.

Когда на врагов Запорожье
 пойдёт,
 То месяца серп
 для подков подойдёт.
 Дай поцелую тебя,
 Запорожье,
 В лицо изрубленное,
 искорёженное.
 Пришли два волчонка Тарасовых
 в Сечь.
 В каком им бою
 предугадано лечь?
 Но перцы,
 зажатые в их кулаки,
 Огромны,
 что красные петухи.
 Два перца зелёных подвыпьют,
 бывает,
 И старому перцу они подпевают:
 «Пан,
 Если перца казацкого треба,
 В ад невзначай угодишь
 вместо неба!»
 Два горьких перца растут,
 два юнца —
 Один для врага,
 другой для отца.
 Взвыл под кровавой,
 как рана,
 луной,
 Волк,
 подавившийся тишиной.
 Будто бы конь над тобою —
 так
 Что-то бандуре бормочет казак.

3

— Хе-хе, судьба-корчмарка,
 Ещё такой пожар
 Пойдёт — аж небу жарко! —
 От красных шаровар.
 Когда ордынцы, ляхи
 Хватали наших жён,
 Бежали мы от страха —
 Как сабли из ножён.
 Мы сочиняли рьяно
 Под хохот и винцо

Турецкому султану
 Из перца письмецо.
 Художник по-казацки
 Писал для всех веков
 Не кистью — перцем адским
 И нас, и бурлаков.
 Когда туга подпруга,
 То страха нет как нет.
 Три закадычных друга:
 Конь, сабля, пистолет.

Взвывала степь от боли,
Когда за годом год
Подковами пололи
Перцовый огород.
От перца и от пепла
История горька,
Но ты от перца крепла,
Могучесть языка.

Не испугаюсь брани
И усмехнусь ножу,
И перец даже к ране
С улыбкой приложу.
Пусть будет прокопчённый
От перца мой язык,
Но правдою перчёной
Я жить вовек привык!

4

Мой стих,
зачем другая слава?
Мой стих,
не умничай лукаво,
А запорожствуй
и тарась!
Ещё всю покуролесят
Твои казачьи шаровары,
Или тебя,
мой стих,
повесят,
Или подхватят под гитары...

ДН, 1981, № 4

Данила Давыдов

От мифа к любви



Нодар Думбадзе. Белые флаги: Роман. С грузинского. Перевод З. Ахвледиани. // «ДН», 1973, 6.

Среди книг Нодара Думбадзе эта, пожалуй, не самая любимая мною книга, с детства и до сих пор восхищает меня «Я, бабушка, Илико и Илларион» — вещь, сочетающая несочетаемое: абсолютно безумный юмор, даже гротеск — и тихий, ненавязчивый лиризм, образующие вместе метафору утекающего времени, оставляющего несмываемые следы в пространстве памяти. «Безбашенность» и печаль «Кукарачи», масштаб многоплановости в «Законе вечности», сентиментальность, внезапно оборачивающаяся трагизмом, в «Я вижу солнце». Но роман его «Белые флаги» (1973) притом совершенно поразителен; поразительность эта здесь проступает постепенно, по мере чтения, обыденная бытовая история приобретает все больше и больше измерений, к финалу текста обретая подлинно симфонический размах:

«— Столько свободных нар... — сказал он несмело.

— У этих нар свои хозяева...

— Где же они? — удивился он.

— Кто расстрелян, кто сослан, кто умер своей смертью, кто на суде, кто на допросе. Скоро вернутся!»

История, обещавшая невнимательному читателю обернуться сначала криминальным романом, несколько позже — прогрессивной нравоучительной историей о несправедно обвиненном — эдакое грузинское «Дело Румянцева» — разворачивается в текст совсем иного масштаба — примерно того, о котором говорит Торнтон Уайлдер в финале «Дня восьмого»: «История — цельнотканый гобелен. Напрасны попытки выхватить из него взглядом кусок шириною больше ладони...»

Череда личных историй сокамерников главного героя — от почти комических до максимально серьезных, леденящих кровь — отнюдь не складывается в классический ряд монологов или замкнутых историй, последовательно соединенных меж собой. Впрочем, нет здесь в строгом смысле и «текста в тексте», повествовательной матрешки. Перед нами именно гобелен, ковер, полотно, нелинейное сплетение отдельных голосов, отдельных историй, отдельных характеров, каждый из которых исполняет свою партию, но целостность пространства сосуществования персонажей очевидна.

При этом сама предложенная ситуация — однокамерники, замкнутые в тесном непреодолимом пространстве, откуда можно выйти различными способами в суд, в смерть, на свободу, но не вполне возможно предугадать, каким именно способом ты выйдешь, пусть бы вина твоя или невиновность были тебе

абсолютно ясны, — вполне традиционная модель насильственно изолированного и произвольно скомпонованного микросоциума, в котором присутствуют свои ритуалы, как заданные общей традицией, так и спонтанно, ситуационно возникшие (к слову замечу, что, при всей искренне поражающей меня цензурной разрешенности романа Думбадзе, он если и смягчает известные нам по заведомо неподцензурным в те времена произведениям или по новейшим текстам тюремные обычаи и нравы, то лишь количественно, а не качественно).

Из такой мизансцены можно выстроить детектив-энигму вроде «Десяти негрят» или «Мышеловки», можно написать своего рода «производственный» (как ни парадоксально и даже цинично это бы ни звучало по отношению к тюремному бытованию) роман, можно, наконец, обратиться к суровому традиционному психологизму. Думбадзе с легкостью (хотя какое мы имеем право судить об этой кажущейся легкости?) минует эти потенциальные конструкции, выходя в мифологическое пространство.

Это опасное слово «миф» сказано. Опасное — потому что заболтано, используется во всяком удобном случае, особенно когда нечего сказать. Роман-миф, фантастический либо же магический реализм — понятия, практически не формализуемые, используемые, как правило, от интерпретационного бессилия либо лени. С подобными дефинициями следует обращаться крайне осторожно. Тем не менее, в случае Думбадзе — и особенно романа «Белые флаги» — многое заставляет говорить об этом смысловом контексте.

Так, архетипическим смыслом обладает само число сокамерников, прямо обозначенных в названии одной из глав: «Семеро непорочных и три падших ангела», итого десятеро. Характерный фольклорный мотив — стоит вспомнить тех же «Десять негрят» (не сам роман, но провоцирующий интригу детский стишок) или еврейскую песенку «Десять братьев нас было». Дело не в самом числе, конечно же, но в механизме постепенного выбывания вплоть до последнего из десятки. С однокамерниками из «Белых флагов» так и происходит; конечно же, большинство из них выбывают не в смерть как таковую, но, тем не менее, каждый вслед за другим покидает символическое пространство камеры, являющей собой микрокосм. При этом важно, что в тюрьме карантин, следовательно, пространство событий исключает замену одного сидельца другим, происходит только выбывание, образующее постепенное ощущение смысловой пустоты, разрушения даже такого искусственного, античеловеческого, злоприродного микрокосма, как камера предварительного заключения: «Теперь, когда нас осталось так мало, камера будто опустела, словно вынесли из нее и стол, и стулья, и парашу, и даже бачок для воды... Словно нас самих раздели, оголили... Мы как никогда прежде ясно читаем мысли друг друга, как никогда прежде переживаем собственную боль, собственное одиночество, и все это раздражает нас. Мы действуем на нервы друг другу, и лишь ценой огромного напряжения воли нам удастся сохранить равновесие. В камере, рассчитанной на тридцать человек, нам, пятерым, стало тесно. Мы задыхаемся».

Видения главного героя, Зазы Накашидзе, представляют собой другую важнейшую черту мифопространства романа. Эти проекции сыновнего или любовного чувств, тоски по свободе и справедливости — отнюдь не просто лирические вставки. Перед нами, в сущности, та сторона жизни персонажа, которая более значима, нежели унылая однообразность заключения, — скажу даже, более подлинна. Это та самая сверхреальность мифа, которая выше

низменной дольней реальности. Здесь особенно важно вспомнить, что то видение, в котором мать главного героя посещает прокурора (оказывающегося, между прочим, двойником Зазы — вот и еще архетипический мотив), прорывается в видимую реальность, становится ею — и здесь уже Думбадзе выводит читателя из миметического, подражающего действительности мира не метафорически, а напрямую.

Но не только видения Зазы демонстрируют двуприродность мира: практически все персонажи заменяют однообразие, бессмысленность, выморочность предварительного заключения некими фантазмами, от самых убогих до поэтических и неожиданно возвышенных. Само бытие героев двойственно и напоминает тотемическую эпоху, в которой человек способен к трансформации в иное существо:

« — Как же ты улетишь, ведь ты не птица?

— Улечу! Захочу — и превращусь в птицу».

К мифологическому пониманию «Белых флагов» стоит отнести и страшный эпизод «Прошу встать, суд идет!», в котором однокамерники разыгрывают суд над одним из них, что завершается самоубийством игрового подсудимого. Перед нами подлинный архаический «театр жестокости» в духе Антонена Арто, переходящий из подражательного в действительный аспект.

Все это — и много что еще — не может не помещать «Белые флаги» в контекст мифоромана как одной из центральных моделей новейшего искусства. Для вершин грузинской литературы (и кинематографа) это вообще характерно, и мифологический, притчевый характер прозы Думбадзе даже, скорее, не так очевиден, как это было бы в случае с некоторыми другими авторами. Не хотелось бы здесь писать об особенностях грузинской литературы вообще, но одну вещь проговорить необходимо: тот самый магический (или фантастический) реализм, который так терминологически утомил, который в пору назвать «магическим реализмом без берегов», некоторый эссенциальный смысл все-таки имеет. Обращает на себя внимание то, что высшие образцы такого рода письма возникают в постколониальных пространствах (Латинская Америка, Балканы, отчасти Африка, Индия). Сюда следует отнести и постимперские постсоветские литературы (разговор о самой русской литературе особый, утыкающийся в недавно столь четко описанную Александром Эткинсом проблему «внутренней колонизации»).

Постколониальный исследователь обратил бы внимание, насколько, вроде бы, сама эта проблематика занимает малое место в романе Думбадзе — при всех минимально необходимых советских подробностях (среди которых особенно филигранно выписаны «разоблачительный» газетный фельетон и разговор с первым следователем). Но здесь есть одно исключение — важный эпизод, в котором обсуждается проблема грузинской идентичности. На реплику: «Дядя Исидор, или убей меня, или объясни — как могут быть грузинами еврей, украинец или армянин?!» — возникает ответ, восходящий к псевдобиблейскому и псевдоисторическому легендарному, который позволяет свести судьбы воедино; но в конечном счете знаком идентичности становится не только Родина, но и родной язык.

В этом смысле Думбадзе и характерная, и нехарактерная фигура: осознавая экзистенцию и психологически, и мифологически, он в то же время отчасти демифологизирует нерациональные основы идентичности, говоря в конечном счете о понимании и любви, — и этим, кажется, как никогда актуален.

Манана Думбадзе

Папа, который остался по ту сторону решетки

С грузинского. Перевод Владимира Маловичко

— Эй, вы, глупые дурочки, сколько можно повторять: пока я жива, а вы можете писать, спрашивайте меня и записывайте! Неужели вы не видите, что все, кому не лень, лихорадочно строчат «мемуары» о вашем отце и одному Богу и мне известно, правда это или нет! — до сегодняшнего дня причитает мама, вразумляя меня и Кетино.

Маме восемьдесят три, и она боится, чтобы воспоминания, которыми полна ее голова, не потерялись с ее уходом в лучший мир. Хотя, когда я гляжу на нее, у меня перед глазами всегда возникает полный тайн бессмертный образ Урсулы из Гарсии Маркеса.

Надо сказать, что мамины упреки не совсем справедливы, так как я написала не один очерк об отце, несмотря на то, что папа, по моему мнению, исчерпывающе изложил свою биографию в своих произведениях, и не обязательно добавлять к этому что-либо еще, особенно дочерям.

Но на днях мне позвонили из телепрограммы «Профиль» и сказали, что хотят отметить день рождения спектакля и фильма «Белые флаги». В студию приглашены режиссеры, актеры и многие другие люди, имеющие отношение к этому произведению. Вместе с ними приглашены и члены семьи моего отца.

Мама вот уже несколько лет отказывается от участия в телепередачах. Моей сестры Кетино в городе нет. Значит, мне предстоит идти одной и в одиночку выступать наряду с видными деятелями культуры и искусства. Прибавьте к этому, что слушатель и зритель воспринимает меня как свидетеля и очевидца тюремного периода жизни моего отца — немногие отдают себе отчет в том, что мне тогда было два с половиной года.

И вот исполнилась мечта моей мамы: я взяла блокнот, авторучку и явилась к ней записывать «показания».

— Ну-ка расскажи, что такого произошло тогда в ресторане «Гемо», что не описано в «Белых флагах»? Говорят, это убийство тогда до конца так и не раскрыли, — готовлю я маму к подробному объяснению, и она довольно сухо, но очень точно приводит факты, которые в книге описаны весьма детально.

— Дата ареста?

— 14 апреля.

— 14 июля — его день рождения...

— А четырнадцатого сентября он скончался, и четырнадцатого октября мы расписались.

— Магическое число!

— Да, так получилось, что в его жизни самые значительные события происходили 14-го числа.

— А откуда он знал Ростом Бараташвили (по книге — Ростом Амилахвари)?

— Они были соседями и учились в одной школе. В период репрессий отца Нодара расстреляли, мать выслали в Казахстан. Детей тетки забрали в Сухуми. А через некоторое время Нодар переехал к деду в Гурию. Так что до начала студенческого периода Ростом и папа не виделись. Именно в тот проклятый день они в первый раз встретились после долгой разлуки, и Ростом пригласил отца в ресторан.

— Они были одни? Если не ошибаюсь, с ними вместе были арестованы и другие, но о них в книге ничего не сказано.

— Да, Малхаз Еганов и Чичик-старший — Андро Чичинадзе. Они были друзьями Ростом и Нодара, но в ресторане «Гемо» сидели за отдельным столиком. Чичика взяли позже, после допроса Малхаза Еганова.

— Какие персонажи во «Флагах» настоящие, а какие вымышленные?

— Выдуманы, например, дядя Исидоре, Шошия; реально существовали Тигран, Чичико Гоголь, следователь Гагуа... Помнишь, Чичико Гоголь на похоронах отца сел в похоронную машину и проводил его до Союза писателей? А Тиграна, который пришел к нам домой, помнишь?

— Как не помнить! Он же назвал тебя «сестричкой». Помню, что много смеялась тогда.

— Да, он сказал твоему папе: «Здорово, брат!», и они зашли в кабинет Нодара. Позже я занесла им чай. Тогда Тигран сказал нам, что бросил воровать, что сын у него образованный, работает на хорошем месте и он не хочет, чтобы, не дай бог, кто-нибудь сказал ему, что отец его — вор.

— А Лимон реальная личность?

— Да, Лимон жил в районе Мтацминда и был знаменитым вором. Звали его Ило Девдариани. Он не сидел в камере с отцом. Нодар просто хорошо знал этого человека и сделал прототипом Лимона. В «Законе вечности» у Нодара есть приблизительно такого же типа персонаж — симпатичный вор, который приносит Бачане Рамишвили дорогостоящие лекарства и просит поделиться ими с отцом Иорамом как с соседом по палате. Его прототипом был мтацминдский вор Како Амбокадзе.

— А как с ними обращались в тюрьме? Он не говорил о побоях или пытках?

— Нет, тогда этого не было, это было строго запрещено, — уверенно отвечает мама.

— А может он говорил, а ты забыла? — настаиваю я.

— Да нет, я же не могу приписывать ему то, чего он не говорил. Подобного не было и в его письмах. Вот только следователь Гагуа все время уговаривал меня сказать Нодару, чтобы он признался в совершении преступления, и уверял, что это сильно облегчит его наказание.

— А почему с его стороны был такой нажим? — переворачиваю вопрос.

— Потому что от Нодара он не получил никакого признания и дело затягивалось. Меня он убеждал в том, что если Нодар признается, наказание сильно облегчат, потому что у него первый арест, и выйдет он скоро. Говорил: вы ведь молодые, у вас вся жизнь впереди.

— И это все, что он предлагал?

— Нет, он еще уговаривал меня, чтобы я написала мужу письмо с советом признать вину. Я подумала и согласилась, — с особой гордостью произносит мама.

— Что ты такое говоришь?!

— Да, я согласилась, но написала такое письмо, что Гагуа собственными руками разорвал его на мелкие клочки.

— И что же такое ты ему написала?

— Я написала: «Нодар, поверь следователю, он наш человек!»

— Умница!

— Не говори! Кому бы он показал это письмо? Так я от него отделалась, но главное началось потом. Как раз в это время в Грузию приехал Голст и потребовал все дела на свое рассмотрение.

— А кто такой Голст?

— Он был главным прокурором Закавказья. Ознакомившись с делом о событиях в ресторане «Гемо», он допросил всех лично: мать Еганова, жену Ростом... В самом конце он допросил меня, и знаешь, что он мне посоветовал? «Скажите вашему мужу, чтобы он бросил ходить по ресторанам!»

— Что это значило?

— Тогда я тоже не догадалась, я так опешила, что сказала: обязательно, мол, передам это мужу и вышла с допроса в полной растерянности.

— И какой был приговор?

— А приговора не было, хотя и Нодару, и Ростому грозила расстрельная статья.

— И человеку с такой статьей советуют... не ходить по ресторанам? Что за цинизм!

— Я тоже так подумала, но в глубине души все время пыталась зацепиться за какую-нибудь соломинку, и надо сказать, после этого странного разговора у меня появился проблеск надежды. Снаружи меня ждал дядя Мамия. Он сидел на тротуаре, зажав голову между коленями. От плохих предчувствий боялся поднять глаза. Я сказала ему, что Нодара, наверное, скоро выпустят, и сама удивилась, как это у меня вырвалось. Мамия поднял голову и поинтересовался, с чего я это взяла?

— Этот человек сказал, что Нодар должен бросить ходить по ресторанам. Не понимаю, что это может значить! До самого дома мы не произнесли больше ни слова.

— А бабушка?

— А что бабушка? Она ни разу не была в тюрьме! Объявила: раз мой сын — заключенный, с этого дня я тоже заключенная. Села в угол и не покидала его. Я сходила с ума. Повсюду бегала одна: документы, подписи, характеристики, адвокаты, передачи... Все, что в книге приписано матери, делала я. Когда книга вышла, Гулико Бахтадзе даже пошутила: Нодар, мол, перепутал мать и жену!

— Ну и что? Ты удивлена? У бабушки расстреляли мужа, сама она десять лет провела в ссылке в Казахстане, чего ты от нее еще ждала? На кого или на что она должна была надеяться? Разве имело для нее смысл бегать по инстанциям или еще что-нибудь предпринимать? Ты об этом подумала? Ведь тюрьма в ее понимании уже стала ее судьбой и судьбой ее семьи... Посадили сына? Она взяла и сама устроила себе тюрьму. О том, что это был род самозащиты, ты не задумывалась?

— Времени думать у меня не было. Мне был двадцать один год, и я постоянно торчала у ворот тюрьмы: вытащить оттуда мужа стало главной целью моей жизни. По ночам я почти не спала, потому что брала заказы на шитье, а вырученные деньги тратила на то, чтобы собрать нормальную передачу. Было у меня время думать? Я крутилась как белка в колесе двадцать четыре часа в сутки.

— А то, что комсомольский секретарь отказался дать отцу характеристику, это правда?

— Да, правда, но когда Магали Тодуа пошел к Нико Кецховели (тогдашнему ректору Тбилисского государственного университета) и сказал ему: «Нодара арестовали, выручайте!», тот схватился за голову и в ужасе шепотом спросил: «Причина политическая?» Магали объяснил, что имело место убийство человека. Нико облегченно вздохнул: «Вранье все это. Нодар убийцей быть не может, и это станет ясно очень скоро». Очень помогли нам дядя Нико и Бесо Жгенти, который был тогда руководителем университетского литературного кружка. Он очень любил Нодара.

— А когда ты научилась языку жестов и азбуке глухонемых? Отец ведь сидел всего семь месяцев?

— Да тогда же и научилась. Если очень нужно, научишься всему очень быстро... С пяти до восьми часов заключенных выводили в туалет. В коридоре, через который они проходили, в одном из окон была форточка, и Нодар или махал мне оттуда платочком или рукой пытался подать знак. Эти три часа я, не сходя с места, стояла и ждала, когда он или появится в форточке или подаст из нее знак. Один раз я увидела, что он вцепился в решетку и заслонил собой форточку. Я так испугалась, что потеряла сознание. Из обморока меня вывела жена Малхаза Еганова: она, как и я, ждала сигнала от мужа. А однажды Нодар выбросил из форточки письмо, которое увидела охрана. Я моментально смяла бумажку и сунула ее за пазуху. Охрана меня схватила и затащила в комнату ожидания. Я кричала, что я обыкновенная прохожая и здесь у меня никого нет, но они мне не верили. В этот момент в ожидальне совершенно случайно появился отец Гурама Дочанашвили, батони Петре. Он работал там, в тюремной больнице. Батони Петре приложил палец к губам, давая понять, чтобы я вела себя потише: он, мол, все устроит. Я замолчала, и меня скоро выпустили, а Нодара на следующий день перевели в тюремную больницу. Это было огромное облегчение для всех.

— А сколько времени он пробыл в больнице?

— Совсем немного, но, поскольку у него побаливали почки, во время приступов его и потом переводили в больницу. Он был там и в день своего рождения. К этому дню я приготовила и передала ему богатую передачу с вином, которое сварила в виде киселя! Господи, чего я только не делала, чтобы облегчить его страдания — совершенно несправедливые!

— И как же тебе удалось собрать такую богатую передачу?

— Мне помогли мои родители, и я сама работала день и ночь: шила по заказам. Наконец я упаковала передачу и понесла ее в тюрьму, а ее не приняли. Меня чуть кондрашка нехватила... Оказывается, утром его тетя уже прислала ему обед: котлеты и картофельное пюре.

— Да, представляю себе твое положение. А что ты сделала с дорогостоящим продуктом?

— Слушай, как я выкрутилась. Помнишь, в нашем доме жил сотрудник милиции Шукура Джоджуа? Тогда он занимал какую-то высокую должность. Я заявила к нему и сказала, что произошло недоразумение, в результате которого

у меня не берут передачу, помогите, мол, пожалуйста. Шукура набрал номер телефона, который я подсмотрела, и велел взять передачу. После этого я в неделю раз звонила — видимо, секретарше — по запомненному номеру телефона и говорила: я та самая, о которой вас просил Шукура, помогите, пожалуйста...

— Ну, ты и впрямь сильна! Значит, сработало?

— Конечно, сработало. Кто посмел бы мне отказать, когда я звонила от имени такого человека! — рассмеялась мама.

— Ну, и как назвать твой поступок?

— Как назвать — не знаю, знаю одно: тогда мне был двадцать один год, и я была женой без вины виноватого. Думаю, мой поступок называется любовью, да, это называется — любовью! — сказала мама, и ее глаза наполнились слезами. — А однажды я получила из тюрьмы вызов. Идти одна я побоялась и взяла с собой Циалу Кигурадзе. Мы ждали на тротуаре у входа, когда тяжелая железная дверь медленно, со скрипом отворилась и оттуда вышел Нодар — остриженный под ноль, бледный, со скрученным и перехваченным веревкой одеялом в руках. Приговор: три года условно!

* * *

В пустой комнате холодно. Мама поставила меня на широкий парапет. Передо мной натянута тонкая сетка, она делит комнату на две части. За сеткой — пустая серая половина комнаты, в углу которой видна узкая металлическая дверь, тоже серая. Я обеими руками вцепилась в сетку и смотрю в упор на эту дверь. Она медленно, с тяжелым скрежетом открывается, и оттуда, сутулясь, выходит очень худой, серовато-бледный, наголо стриженный, небритый, неизвестный мне мужчина, одетый в какой-то бесформенный серый балахон. Он приближается ко мне. Вот он, как и я, вцепляется в сетку с другой стороны и теплыми, влажными, медового цвета глазами ласкает меня. На его глазах поблескивают слезы, в которых отражаются скудные блики солнца, проникающие в эту ужасную комнату, и почему-то у него подрагивает нижняя челюсть.

— Доченька... — слышу я. — Дочааа...

— Папаааа!.. Папа здесь не пролезет!.. Папа не сможет выйти из клетки!.. — кричу я диким голосом. — Он не сможет вылезти из этой клеточкии!..

— Уведите, уведите ее! — ревет папа и бежит к серой двери, указывая нам рукой на выход. — Зачем вы ее привели?!

Потом серая дверь захлопнулась со стонущим грохотом, который я запомнила на всю жизнь.

* * *

— Тебе было два с половиной года, когда я повела тебя на свидание с отцом, — говорит мама.

— А я помню.

— Не выдумывай. Вы оба закатили такой рев, что свидание не продлилось и полминуты.

— Хочешь, скажу почему я ревела? Я кричала: «Папа в эту клетку не пролезет!» Я все хорошо помню, все помню, во всех подробностях!

— Ничего ты не помнишь, детка. Видимо, я тебе это когда-то рассказала, а ты решила, что помнишь, — уговаривает мама.

— Нет, не рассказала! Я из этого периода ничего другого не помню — только это. Помню голос папы и свой. Как сейчас слышу: «Уведите ее отсюда, уведитееееееее!» — «Папа в эту клетку не пролезееееееееет!»

Александр Джумаев

Из культурной и научной жизни Центральной Азии

Разрозненные мысли и наблюдения

Иной раз приходится слышать словечко «миф» в самых разных применениях не только к российской действительности, но и к культурам и реальностям Центральной Азии или — по старому — Средней Азии и Казахстана. Часто говорят про кого-то, что он, мол, «миф», то есть представление о его значимости не соответствует реальности. Или говорят и пишут: «миф Ташкента». Здесь миф уже побольше — миф целого города. Миф в этом смысле, как полагают, нечто искусственное, не соответствующее действительности. Имеется в виду реальная жизнь города в прошлом, с ее тяготами и лишениями, отсутствием европейского комфорта, глинобитными стенами-дувалами, общими дворами и так далее — то, что десятилетиями отображалось в художественном творчестве (в живописи, музыке, литературе, кино) и отложилось в ностальгирующем слое памяти целых поколений. Для многих тысяч людей этот «ложный образ» — теплый во многих смыслах город — стал неким «Городом Солнца», душевной опорой.

Случайно ли это? С равным успехом можно спросить: случайна ли любовь к животным, неожиданно вспыхивающая в разных обществах из-за дефицита уважения или даже из-за неприязни к человеку вообще? Для большинства простых граждан, в том числе бывших и нынешних ташкентцев, жизнь и есть переживание мифов. Стараниями этих людей, переживающих по-своему, в художественных формах мифическое мироощущение, культура продолжает сохраняться. Не было бы так — жизнь превратилась бы в сущий ад с заботой исключительно о пользе, выгоде и собственных интересах на фоне высокотехнологичных достижений.

В обществе и культуре Центральной Азии, хотя и не в таких масштабах, как в России, стал набирать силу некий «гамбургский счет» навыворот — стремление

Джумаев Александр Бабаниязович — постоянный автор «Дружбы народов», родился в 1953 году, окончил Ташкентскую государственную консерваторию по специальности музыковед-востоковед и аспирантуру НИИ искусствоведения им. Хамзы. Кандидат искусствоведения. Научные интересы: история музыкальной культуры Средней Азии, ислам и музыка, средневековые письменные источники по музыке, культурная политика в Центральной Азии. Живет в Ташкенте.

судить о культуре (явлении по умолчанию нерыночном) предельно конкретно, жестко и расчетливо. Без всяких там мифов и сантиментов, а преимущественно с учетом ее продажной стоимости, брендовой составляющей или в крайнем случае самофинансирования. То есть ее включенности в борьбу на рынке товаров, где побеждает «сильнейший». Такое понимание проникает в сознание многих людей незаметно, но неумолимо, когда речь идет о проблеме выживания и сохранения форм культурно-творческой деятельности в условиях молодой капиталистической системы. Старая ценностная шкала обречена на отмирание и поддерживается лишь энтузиастами, готовыми и дальше терпеть лишения ради творчества. Благодаря им еще и продолжается культурная деятельность, сохраняющая преемственную связь с лучшими традициями прошлого — с созданными в советское время многочисленными художественными школами и целыми направлениями.

О брендах теперь ведут разговоры едва ли не в каждой из постсоветских стран Центральной Азии. Смысл их заключается в том, чтобы сделать из того или иного явления или живого человека, создающего художественные ценности, или даже из целого локального пласта культуры повсеместно «узнаваемую вещь» (тот же самый миф) — и тогда, мол, у нее/у него появится шанс выжить и сохраниться. И надо сказать, идею проводят в жизнь. Но культура — это не политика, где пиар и «раскрутка» — залог успеха. Наблюдения показывают: как ни крути, а ценителей и покупателей, и тем более меценатов внутри региона не прибавляется, а становится даже меньше. Надеяться на какой-то «системный подход» в отношениях «творец — потребитель» вообще не приходится. Процессом правит случай: кому-то везет, а кому-то нет. Только и слышишь жалобы художников на полное отсутствие в стране интереса к их художественным творениям. Туристы из-за рубежа тоже не торопятся скупать художественные изделия наших мастеров — разве что по мелочи: сувениры, открытки... Западный турист, как правило, человек небогатый (конечно, по меркам их стран), чаще всего пенсионер, приступивший на старости лет к долгожданным познавательным-развлекательным поездкам по белу свету, он привык экономить на всем, на чем только можно. Но вот русский турист — это другой разговор. Довелось слышать рассказ знакомого букиниста на ташкентском «бродвее» об одном таком туристе. Прогуливаясь по «бродвею», этот русский увидел большую книгу на арабской графике. Спросил у продавца: «Это Коран?» — «Нет, — отвечает тот, — это Хамса (пять поэм, “Пятерица”) нашего поэта Алишера Навои». — «Ааа, — говорит, — слышал-слышал, это большой человек, большой ваш поэт. На вот тебе 50 долларов, пусть пока полежит твоя книга, может, завтра загляну, доплачу еще сколько скажешь и заберу». Но так больше и не появился. Стиль, конечно, очень русский — местные «бродвейные люди» стали припоминать и другие похожие случаи. Но русских туристов, к сожалению, почему-то у нас очень мало. Или мы для них еще не диковинка, не так уж сильно изменились с советского времени, или сервис не тот, или есть маршруты привлекательней и дешевле.

О фондах и других формах помощи извне

Конечно, существуют различные международные организации и фонды. Во многом благодаря их деятельности в культурную жизнь привносится разнообразие, элементы необычного, оригинального, не всегда характерного для нашей культуры. Но в их деятельности культура не занимает основного места и финансируется по остаточному принципу. Нередко приходится слышать жалобы самих руководителей европейских центров и институтов на скудость ресурсов, отпускаемых на культурные мероприятия. К тому же они предпочитают поддерживать инициативы собственных граждан — ученых, деятелей культуры — или, в лучшем случае, совместные проекты. Похоже, это одна из форм поддержки собственной творческой интеллигенции, которая во многих случаях тоже отнюдь не благоденствует в своих странах и вынуждена рыскать в поисках средств к существованию, обычно — краткосрочных грантов. Конечно, и в этом формате появляются очень интересные и полезные для развития культуры в странах Центральной Азии проекты. В частности, в сфере планирования и проведения собственных исследований (на европейских языках) культуры и других сфер жизни в стране пребывания. Но здесь нередки и случаи, когда открывающий для себя Азию молодой европейский или американский творческий человек (чаще исследователь культуры) самонадеянно полагает, что он открывает это впервые и для местных народов. Нередки случаи, когда исследователи культуры не владеют русским языком и игнорируют созданный в советское время гигантский пласт научной литературы по теме. Иногда это происходит по незнанию, но бывает и вполне осознанно, когда человек полагает, будто все созданное в советское время в области истории культуры не представляет никакого интереса. Возможно, здесь действуют остаточные проявления стереотипов антисоветской пропаганды периода «холодной войны», когда советская гуманитарная наука о Средней Азии и Казахстане рассматривалась исключительно как идеологизированная и пропагандистская. (А у нас, «в отместку», говорилось о буржуазной науке, внутри которой, однако, выделялись и признавались крупные ученые, способные на независимые от «денежного мешка» оценки и суждения.)

В каждой стране Центральной Азии международные организации работают по-разному, в зависимости от политической ситуации и иных обстоятельств, в разном объеме и разных направлениях. Культурная политика этих организаций не всегда достаточно четко продумана, нередко она страдает перекосами, подчеркнутой избирательностью: либо только современные, авангардные формы культуры — либо только традиционные. Что ведет к определенному психологическому дискомфорту в творческой среде «стран оперирования», способствует ее разобщению, а нередко и внутреннему противостоянию.

Самым значительным в плане поддержки культуры на постсоветском пространстве — и по расходам, и по характеру культурной деятельности — был вклад известного Фонда Сороса. В апреле этого года исполняется ровно десять лет, как Фонд был вынужден прекратить свою работу в Узбекистане. Возможно, это была единственная международная организация такого масштаба, где вопросам культуры уделялось очень серьезное внимание. Фонд тщательно разрабатывал собственную культурную политику, по возможности привлекая для этих

целей лучшие интеллектуальные силы из числа местной интеллигенции. Его политика в области культуры была сбалансированной и продуманной, она охватывала все уровни и пласты культуры — и современной, и традиционной. Поддерживались — как правило, на конкурсной основе — инициативы по сохранению традиционной культуры — музыки, художественных ремесел, устно-поэтического творчества. И в то же время — современные виды творчества, сложившиеся и унаследованные от советского времени, а равно и неизвестные ранее, авангардные по сути направления, дающие представление о состоянии отдельных видов творчества в странах Европы и США. Вспоминаю примечательный случай — грант, одобренный экспертным комитетом программы «Искусство и культура» и доставшийся пожилой женщине из далекого кишлака в Ферганской долине, которая занималась вышивкой с исламской символикой и специально приехала в Ташкент, услышав о Фонде Сороса. Сочетание традиционного и современного, инновационного и альтернативного позволяло поддерживать пространство культуры в его противоречивой целостности.

Знакомство нашей творческой интеллигенции с достижениями западной культуры также проходило по принципу отбора лучшего, неизвестного или мало известного. Обсуждалась проблема «лучшего из Америки», которая в определенной степени была реализована. Это немаловажно в условиях безудержного распространения американского «культурного мусора», не дающего реального представления о подлинных культурных ценностях сверхдержавы и способствующего формированию у нас поколения мутантов-манкуртов. Вопреки распространенному обывательскому мнению, какого-либо вмешательства, а тем более диктата при разработке культурных приоритетов со стороны руководства Фонда (будь то ташкентского или вышестоящего нью-йоркского) не было, и вся его стратегия в этом направлении определялась экспертным комитетом, состоявшим из представителей местной творческой интеллигенции. К тому же и бюджет программы «Искусство и культура» был немаленький, он позволял реализовать множество проектов и инициатив. Обычно он превышал двести тысяч долларов в год, а временами переваливал и за триста, что составляло порядка десяти процентов от общего бюджета Фонда. Это были большие деньги для культуры страны, и они, как правило, полностью осваивались.

Сокращение в последние годы грантодающих международных организаций в области культуры, пересмотр ими своей политики привели прежде всего к значительному уменьшению количества малых частных художественных инициатив. А ведь именно они во многих странах мира создают живую ткань культурной жизни. Стало чуть ли не правилом, когда творческий человек вынужден расходовать собственные более чем скромные средства для проведения своей творческой акции. Результат — оскудение культурной жизни, ее многообразия. Такая ситуация подталкивает деятелей культуры, и в особенности талантливую художественную молодежь, искать удачи за пределами Центральной Азии — в России, странах Европы, США и других.

Некоторые наши чиновники, как бы осознавая сложность ситуации в серьезной культуре, призывают (негласно, конечно) быть ближе к «потребностям народа». Например, если ты композитор, то прекращай писать симфонии и оперы (тем более, что это не наше традиционное, а привнесенное извне искусство), а сочиняй побольше популярных песен (имеется в виду, что народ у

нас любит петь и танцевать). Другой путь — продвижение художественной продукции из одной страны в другую в пределах региона. Так, например, с давних пор ташкентские художники, в численном отношении, безусловно, преобладающие в регионе, возлагают надежды на Алма-Ату. Город, мол, прозападный, жизнь там кипит, много художественных галерей и богатых ценителей искусства. Но оказывается, что результаты не всегда те, какие ожидались, — и там все не так просто. Пожалуй, нынешняя ситуация в культуре может быть интересна лишь ученым-экономистам как своеобразный индикатор общего экономического положения и отражение стойкой мировой традиции (не только «советской традиции», как мы почему-то думали раньше) — экономить средства (сокращать расходы), начиная именно с культуры.

Действительно, что уж тут добавить, если даже многие знакомые люди культуры на Западе с горечью сообщают о потере работы и сокращении штатов и бюджетов организаций культуры, о падении интереса у европейской публики к традиционному искусству стран мусульманского Востока. Показатель ли это общего экономического спада? Трудно судить. Ведь почти ничего не слышно о массовом разорении и закрытии банков — этого фундамента нынешней системы. Банки и их хозяева, похоже, процветают при любой экономической и общественной ситуации. Время от времени западное общество с удивлением, смешанным с негодованием, узнает о баснословных прибылях и бонусах банкиров в условиях, когда растет число безработных, а социальные выплаты сокращаются.

Намного благоприятней обстоит дело в новых независимых государствах Центральной Азии с художественной культурой, связанной с вековыми национальными традициями. В советское время она именовалась «традиционной культурой», что по нынешним временам уже не в полной мере отражает ее подлинный статус в обществе. Она составляет приоритет в культурной политике каждой из стран региона. Особенно бурно пошло возрождение традиционных ремесел, а также отдельных видов исламского искусства и культуры. Искусство миниатюры и каллиграфии в Узбекистане, наряду с блестящим копированием уже известных образцов, значительно расширило свою тематику. Традиционная культура сохраняет свою привлекательность и как объект интересов западных специалистов — менеджеров-организаторов совместных проектов, исследователей и т. п. У нее есть шанс выжить просто в качестве «национального бренда», который используется как очень эффективный способ «национального самоутверждения» в «многоголосом хоре» соседних государств. Однако старой (советской) модели культуры, которая была направлена на широкий охват населения страны и преследовала цели его культурного просвещения и воспитания, кажется, пришел конец.

Российский опыт реформирования

Многие у нас пристально всматриваются в то, что происходит с культурой и наукой в России, и пытаются понять смысл проводимых там реформ. Следить за этим изнутри региона непросто, да и за всем не уследишь, в России происходит много всего, притом быстро. Можно было бы и не беспокоиться понапрасну, если бы не ожидающие нас перспективы. А они странным образом бывают связаны с процессами, идущими в России. Наши азиатские чиновники,

на словах независимые, на деле могут запросто скопировать опыт России, при этом на него не ссылаясь. А что это за опыт и к чему он приведет — им не совсем понятно. Российские медиа, хотя и в дискуссионном ключе, вещают с экранов одно, а друзья и коллеги в России говорят совсем другое. И притом большей частью пользуясь ненормативной лексикой. Так что комментарии (по крайней мере, одной из сторон) по поводу оценки происходящего излишни. Но все же попробуем разобраться, опираясь на мнения коллег-ученых.

Картина получается такая: новый деловой, или «конкретный человек» (о нем — ниже) добрался наконец-то до науки, чтобы прибрать к рукам принадлежащую ей материальную инфраструктуру и пустить ее в «рыночный поток» вроде бы для того, чтобы облегчить существование самой науке. Саму же науку от потока отделить и пустить на «подножный корм». Как плохой хозяин в зимнюю бескормицу выпускает скот на самостоятельные поиски корма под снегом. Ищите, мол, сами, если хотите выжить.

Конечно, возможно, что это несколько упрощенный и утрированный взгляд. Наука в России — огромное советское наследие, оно не укладывается в однозначную схему. К тому же отношения между наукой и властью в России имеют свою специфику, свою стародавнюю историю, и время от времени она циклически повторяется на новом витке развития. Вот, например, два свидетельства начала XX века, принадлежащие известным российским востоковедам, — звучат вполне актуально.

Из письма барона В. Р. Розена (апрель 1901 г.), благонамеренного с точки зрения властей предержащих ученого, в Ташкент туркестанскому краеведу-востоковеду Н. П. Остроумову: «Время, которое мы здесь переживаем (время после введения нового университетского устава 1884 г., отменившего университетскую автономию. — Б.Л.¹) [...], так тяжело, что перо валится из рук и голова перестает работать, энергия совершенно исчезает... Я всегда готов служить Вам всей душой, но теперь не имею к тому ни малейшей возможности. Мой авторитет при том строе центрального управления, которым были призваны на различные посты (деятели? — Б.Л.) типа И. Д. Делянова, равняется... нулю».

Из писем В. В. Бартольда Н. П. Остроумову (от 3 марта и 23 сентября 1913 г.): «Едва ли в настоящее время торжество грубого невежества было [бы] возможно в какой-нибудь европейской стране... Не думаю, чтобы турецкий министр мог заявить ученому своего народа, как мне заявил [министр] Макаров, что научная литература на отечественном языке вовсе не нужна и что с наукой можно знакомиться по заграничным изданиям... Редко какое правительство вело такую упорную борьбу с наукой и вызывало против себя среди ученых такое единодушное негодование, как наше».

Примерно то же самое, судя по казахстанской прессе, уже произошло с академической наукой этой соседней страны — она потеряла свой статус государственной отрасли и перешла в формат некоего занятия на общественных началах. Получается что-то вроде клуба по интересам. Сходный процесс происходит и в других странах региона. Идут расформирование, укрупнение, уплотнение и тому подобные «эксперименты» с наукой, на которую теперь уже не

¹ Фрагменты писем цитируются по кн.: *Лунин Б.В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения. Историографический очерк.* Ташкент: Издательство «Фан» Узбекской ССР, 1979, с. 137-138.

хотят тратить значительные средства (и не тратили больше двадцати лет после развала СССР). Легче перевести науку на рельсы самообеспечения, заставить ее самостоятельно добывать дополнительные средства.

Возможно, именно такая ситуация, в свою очередь, подтолкнула академические научные структуры в отдельных странах нашего региона внедрять рыночные отношения внутри своей системы. Хочешь опубликовать статью в академическом периодическом журнале — внеси официально установленную плату. Также заплати и за экземпляр журнала с вышедшей статьей и за участие в сборнике статей (плату за участие в конференциях пока еще не ввели). К чему это приведет, легко догадаться: усилится профанация научного знания, пойдет дальнейшее падение престижа научной работы. Почти не осталось общественно-политических, гуманитарных журналов в странах Центральной Азии, которые бы выплачивали авторам гонорары, хотя бы символические. Их можно понять: все они едва выживают, вынуждены сводить концы с концами. Но ведь и ученым в наших странах не предусмотрены дополнительные средства на оплату публикаций. Конечно, как это всегда было принято, ученый работает и будет работать не ради денег. В целом это действительно так. Но нынешняя социально-экономическая ситуация на постсоветском пространстве отличается своими особенностями. Она поставила науку (в какой-то степени и культуру) «вне закона» — та теперь и не в старой советской системе с гарантированными приличными окладами (надбавками, выплатами гонораров, системой общества «Знание», системой общественных фондов потребления и т.п.), и не в новой рыночной системе, где надо за все платить (попробуй, например, получи какую-то услугу, не заплатив, даже у того же врача — да ребятки-орлята секьюрити голову тебе оторвут). Эта ситуация наводит на размышления о самой настоящей эксплуатации интеллектуального труда, своеобразном бизнесе со стороны соответствующих структур и «конкретных человек», о переводе научных работников, пользуясь популярным молодежным сленгом, в категорию «лохов» (см. ниже).

Нечто похожее происходит и в странах Европы. Там много ученых высочайшего уровня, в особенности гуманитариев со знанием языков, которые не имеют и не могут найти работу по специальности и чем только не занимаются. Многие научные журналы также не платят никаких гонораров авторам и, таким образом, существуют за счет продажи чужой интеллектуальной собственности, разумеется, законно оформленной «по соглашению двух сторон», но фактически приобретенной задарма у нуждающихся в публикациях ученых. Конечно, у нас ситуация сложнее. Во-первых, европейские авторы публикуются, нередко получая для этого какие-то субсидии (гранты, зарплату и т.п.). То есть это не чисто альтруистская деятельность, какая сохраняется преимущественно у нас с советских времен. Во-вторых, возможность публикации в солидных журналах всегда привлекает авторов независимо от ее финансовой подоплеки, здесь играет роль научное честолюбие. Теперь его могут реализовать и многие из ученых центрально-азиатских республик бывшего СССР, статьи их, особенно по гуманитарным проблемам, как специалистов «изнутри» (по схеме: inside — outside) с удовольствием берут солидные журналы.

В то же время и настоящие жулики всегда рядом. Интернет запестрел новым видом интеллектуального надувательства. Чуть ли не через день приходят хорошо и со знанием дела оформленные объявления на английском языке с

предложениями поучаствовать в самых разных престижных научных конференциях. Западные техногенные жулики-умники быстро оценили ситуацию и нашли еще один способ интеллектуального («демократичного») отъема денег. Раньше на протяжении многих лет это были, например, проекты «человек года», «человек столетия» и т. п., исходившие от разных международных «биографических центров» — с выдачей сертификатов и медалей разного качества оформления, разумеется, за различную плату, с включением имени ученого в солидные фолианты указателей. Годами рассылали эти центры в своих фирменных конвертах радостную для уха наивного ученого весть о том, что он по решению такой-то авторитетной комиссии признан чуть ли не чудом века. Вспоминаю некоторых наших бедных ученых, которые клюнули на эту удочку и вынуждены были приобретать эти красочно оформленные сертификаты и медали (они различались градациями типа: «серебряная», «золотая», «платиновая» и т. п.). Потом, с расширением интернет-возможностей, появилась новая игра, правда, уже не имеющая прямого отношения к науке. К примеру, вдова погибшего в авиакатастрофе генерала из Люмбу-Мумбу или арестованного там же банкира, сумевшая увести от конфискации активы своего мужа, очень хочет поделиться ими с вами.

Вопрос о судьбе науки, созданной и выпестованной в республиках Центральной Азии в советское время, — один из самых больных. Если в России, скорее всего, все же будут найдены новые подходы, и власти, прежде всего в силу становления нового геополитического статуса России, будут вынуждены считаться с необходимостью возрождения и наращивания научного потенциала страны, то в Центральной Азии дело обстоит иначе. Не исключено, что здесь нет ясных представлений на перспективу: что же делать с этой наукой, с этим огромным и избыточным теперь уже советским наследием? О гуманитарных науках официальное представление вроде бы достаточно ясное: они должны обслуживать идеи национальной самобытности, почвенности, независимости и заниматься поисками их истоков и оснований, начиная с глубокой древности. Политики, а вслед за ними официальная историография и огромная масса самостийных историков-любителей, хотят четко различить и разграничить: «это наше — а это ваше». Без «национальной гордости» ведь никуда. И даже опасно — все культурное наследие смешают и «зальют» кока-колой (мы не против кока-колы как напитка, но находим его удачной метафорой масскультуры, объясняющей, как привнесенный извне продукт может вытеснить собственные традиционные и более качественные продукты).

Конечно, я несколько преувеличиваю, но не намного, в целом так оно и есть. На данном этапе, в условиях становления новой национальной государственности, это неизбежный и едва ли не закономерный подход. Но что делать с естественными науками, развитие которых требует серьезных субсидий? К тому же потенциал ее заметно поредел, устремившись в разные зарубежные научные центры Азии, Европы, Америки, где, подвергая селекции гуманитариев, охотно привлекают бывших советских технарей и естественников, причем без ограничений по возрасту и партийной принадлежности. Возможный выход, о котором иногда говорят, — узкая специализация науки по отраслям, соответствующим приоритетным направлениям в экономике каждой страны. Все остальное, видимо, придет к своему естественному завершению и сохранится только в анналах истории и в качестве учебных дисциплин в системе вузовского

образования. Очевидно, что эта «часть» науки, если и будет существовать у нас в будущем, то исключительно благодаря «мифическому сознанию» ее носителей, тех, кто по-прежнему предан своему делу и продолжает работать почти «на общественных началах». Но это поколение постепенно уходит.

Потери касаются не только научного знания как такового. С исторической сцены исчезает хотя и тонкая, но очень социально значимая прослойка людей, некогда существенно влиявшая на сознание общества. То есть фактически незаметно происходит структурное изменение самого общества, которое в своем новом виде будет заметно отличаться не только от советской, но и от предшествующей ей в Центральной Азии мусульманской модели носителей знания. О советской модели и ее положительных сторонах достаточно хорошо известно. Напомним о том глубоко почтительном отношении к ученым, к носителям знания, мудрецам в мусульманской культуре, которое формировалось в Центральной Азии столетиями. Им была пронизана вся народная культура, где ученый человек, он же и учитель — носитель традиционных знаний имел даже более высокий статус, чем статус родителей, его фигура была едва ли не сакральной. Такое уважительное отношение к знающему человеку во многом все еще сохраняется и теперь по всей Центральной Азии в народном сознании, еще не подвергшемся (в отличие от многих стран и регионов мира) окончательной коррозии всеобщего нигилизма и равнодушия. Советская же система, хотя и стояла на принципиально ином идеологическом основании, в основе своей сохранила и закрепила статус ученого как общественно значимой фигуры. Ученый пользовался почетом и целым рядом гарантированных льгот и условий для научно-творческой работы. Теперь, при господстве нового мышления, основанного на совершенно противоположных ценностях, измеряемых почти исключительно количеством «зеленой бумаги», все эти рассуждения о народных этических представлениях кажутся анахронизмом, потерявшим свой смысл. Кому нужны нынче мудрецы, медлительные и созерцательные, когда реальность такова, что доллар проникает в самые отдаленные места проживания человека и потаенные уголки его души, разрушая традиционные ценности и сложившиеся между людьми отношения? Он как бы работает сам по себе. И от этого никуда невозможно деться. Здесь трудно не согласиться с хрестоматийным ленинским: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».

«Конкретный человек» и «лох»

Среди тех, кто постепенно приходит на смену тонкой прослойке носителей знания и культуры, есть один очень интересный (хотя пока и малочисленный) тип личности, появившийся уже после распада СССР, — динамичный, деловой и успешный, сознание которого теперь не ограничено пределами одной национальной культуры или страны, но разомкнуто во вне, преимущественно в сторону евро-американских жизненных ценностей. Это определенно новый человек, новый герой, принадлежащий эпохе глобализации. Не испытывая ностальгии по разрушенной большой общей стране, лишенный каких-либо эмоций или комплексов, и черпая знания только из интернета, этот новый человек отвечает уже иным параметрам профессионализма, техногенного в своей основе, и обладает своим «кодексом адекватного поведения». В его формирова-

нии не задействованы силы прошлого, но можно видеть, что некоторые его особенности все же соприкасаются с отдельными из них, близкими по духу, хотя и возвращенными в других социальных условиях. Конечно, наш взгляд — это некое упрощенное изображение многообразной социальной картины, которая отнюдь не сводится к дихотомическому разделению на «плохих богатых» и «несчастных, но хороших бедных». Современное состояние общества теперь уже значительно сложнее и многообразнее. В нем есть и динамично развивающийся практицизм, и позитивная предприимчивость, трезвость и деловитость, отсутствие которых в свое время так негативно сказалось на состоянии советского общества. Но не наша задача в данной статье проводить социологическое исследование. Мы лишь хотим обозначить те истоки или, точнее, один из истоков, с которым связано формирование новой личности в культуре — личности с «хозяйской» психологией.

Для России и некоторых стран нашего региона его нужно искать в «лихих девяностых», когда многое подпитывалось «криминальной этикой». Именно тогда «конкретный человек» с его сленгом («он их конкретно развел» и т.п.) и с его собственной «картиной мира» стал выражением успешного человека. Он возник в противоположность «лоху» — а этим словом в недалеком прошлом были испещрены многие подъезды, стены и заборы, по-видимому, на всем пространстве СССР (во всяком случае, в ЦА мне довелось это видеть в самых неожиданных местах во многих городах каждой из республик). Ранее, чем в других, те, кто почувствовал тогда грядущие «перемены», появились в молодом поколении. В противоположность «конкретному человеку» «лох» обозначал «неконкретного» — неуспешного, не умеющего делать деньги, не способного устроить свои делишки за счет других. «Конкретные люди» за двадцать лет много чего добились, устроили свое «новое дело», оно заработало, принося и обществу различные материальные блага. Но добивались они этого разными способами и разной ценой. Теперь иных из их числа понемногу и дозированно стала «успокаивать» сама власть. А то ненароком доведут до новых социальных потрясений — близок 17-й год! Хотя вышли-то все они из народа, «дети семьи трудовой» — других классов и не было, — в России они, сколачивая первоначальные капиталы, обездолили миллионы «лохов», отняв у них квартиры-хрущевки, пенсии, все сбережения, работу, укоротив их жизни или даже отняв их — истребив физически или доведя до самоубийства. А сколько по всему бывшему СССР разрушенных и разъединенных семей, брошенных родных городов, загубленных надежд и остановленных начинаний! Конечно, все это не только на совести «конкретных людей», но происходило не без их совокупного участия.

Свершился и обратный прыжок — из царства свободы в царство необходимости (вот и бросишь свою научно-творческую, но никому не нужную профессию и займешься делом). Конечно, сравнение может показаться неуместным и даже кощунственным, но иногда думаешь, что масштабы этого процесса не меньшие, чем масштабы репрессий 30-х годов. Но только нынешних-то некому оплакать и воспеть, увековечить в списках и в мемориальных музеях репрессированных. А и то, представьте себе: «Музей жертв переходного периода на территории СССР» или «Музей вынужденных переселенцев и обездоленных представителей разных народов» этого же периода.

Общество незаметно поделилось на «советских лохов» и успешных «конкретных человек», на «бывших советских» и новую буржуазию. Последняя разработала и свою субкультуру со специфическим набором ценностей, главной из которых стали «интересы».

Интересы как движущий фактор

Интересы — один из универсальных, имеющих устойчивые биологические основания принципов жизни, который теперь неотвратимо овладевает и культурным пространством Востока — Центральной Азии. Устоит ли, одолеет ли Восток как большое культурное пространство со своими тысячелетними культурными ценностями и принципами это дьявольское нашествие эпохи глобализации или пойдет по «общим путям»? Поневоле начинаешь задумываться о национальных духовных ценностях и о неизбежном поиске баланса национального и общечеловеческого.

Конечно, интересы существовали всегда, в том или ином объеме. Но никогда в таком, как это наблюдается сейчас, когда нарушены все пропорции и все мыслимые пределы. Были известны различные движущие факторы общественных отношений, процессов и даже прогресса. Интересы, например, смыкались с поисками и обладанием «дефицитом». Старшему поколению в бывшем СССР еще помнится замечательная сценка Аркадия Райкина о дефиците как специфическом двигателе общественных отношений. Но был при этом и дефицит книжный. Пусть и не все читали, но почти каждая семья охотилась за книгами, даже тогдашние «буревестники» экономических перемен — жулики-толстосумы (теперь они реформаторы) — и те собирали библиотеки. Это считалось престижным.

Теперь, в условиях рынка, дефицита материальных ценностей давно нет. Интенсивно формируется и уже почти сформировалось пресловутое «общество потребления». А дефицит иных, нематериальных ценностей больше не осознается в полной мере большинством общества. Теперь это удел тонкого слоя отторгнутых успешным обществом интеллигентов. «Уходящая натура» и целое поколение. Теперь и времени-то нет, чтобы осознать, а главное прочувствовать утрату. А те, кто это делает в силу потребностей своего таланта — писатели, поэты, художники — работают в очень узком пространстве и обречены на неуспех. Да и не нужны они теперь как будто не только обществу, но главное — времени, эпохе, разве что как объект купли-продажи у «конкретных людей».

Впрочем, иногда и быстродвижущийся человек со своими каждодневными *интересами* задумывается об утрате каких-то иных ценностей, существовавших в его молодости — о немеркантильном и душевном общении, о чтении классической литературы, посещении театров и выставок и т.п. Но это ненадолго, и разговоры об этом обычно случаются почему-то с водителями частного извоза и таксистами. А с кем еще говорить, если все экстремально заняты? Посокрушаются такие водитель и пассажир немного и — дальше, уже без остановки. Нет у них времени, чтобы остановиться и вникнуть во все утраты. Да и нужно ли расслабляться эмоционально, когда каждый день, без выходных, приходится думать о хлебе насущном, а к нему еще ой как много можно подбавить разных соблазнов, о которых вещают со всех сторон — и в визуаль-

ном, и в звуковом, и в каком угодно другом оформлении. А тут еще и интересы политические, тиражируемые с утра и до утра средствами массовой информации. Трещат без умолку все эти СМИ о «национальных интересах государств», о «стратегических партнерах», о взрывах и убийствах... Иногда думаешь: а может, и хорошо, что у нас в стране немного по-другому, пусть будет разнообразие. Нет у нас своих ужастиков-программ, а люди все больше поют и танцуют, хотя над нами и смеются. А надо тебе — переключай на другие программы. Переключишь — а там опять та же песня, только под другим соусом: раз ты такой умный, почему же тогда такой бедный? Бедность, мол, — состояние ума. Перестраивайся, пока не поздно.

Так стремительно меняется жизнь, что культурные картины прошлого мелькают, как в кино. Собственно, они там только и остались, в кино — документальном и игровом — там и хранятся. Хорошо, если это национальное кино со своими, пусть наивными и смешными, но добрыми мифами, а не одно из тех высокоталантливых произведений зарубежных мастеров, по ходу действия которых что-то вдальбливают в голову на высоком техническом и художественном уровне. Если документальное — то «комплекс жертвы» тоталитарной системы, репрессий и произвола, а если художественное, то — «береги и собирай доллар смолоду». Теперь и с Запада бежать-то некуда, Восток — уже не место паломничества, а зона коммерческих интересов инвесторов. И это, к сожалению, неизбежный процесс.

Разрушенные культурные ценности почти не поддаются восстановлению физически, но в памяти людей они остаются и «разрушенными», как бы кто ни старался забыть об этом. Здесь Запад и Восток накопили богатую историю своеобразного «взаимодействия» и «обмена опытом». На памяти последнего времени — варварское разрушение талибанскими боевиками всемирно известных гигантских буддийских скульптур в Бамиане. О нем много было разговоров. Но мало кто вспоминает о сходных, хотя и не столь масштабных разрушениях во время египетского похода Наполеона. Тогда наполеоновские солдаты, развлекаясь стрельбой из пушек, выбрали мишенью и изуродовали лицо Сфинкса. Прошло два века, и «опыт» повторился, но уже на более высоком техническом уровне и по отношению к собственной культуре, но, несомненно, с определенными интересами.

Все сопряжено и взаимосвязано, через века и расстояния; как ни старайтесь, ничего нельзя вычеркнуть и переиграть заново. Сможет ли культура Центральной Азии сохранить свои исконные интересы и ценностные ориентиры или же окончательно окажется вовлеченной в общий водоворот неукротимой глобализации, зависит не только от самой Центральной Азии, но и от усилий всех, кто заинтересован в сохранении человеческого и духовного в человеке.

*Ташкент,
февраль 2014*

Андрей Столяров

Новая земля и новое небо

Наш язык — самый красивый.
Скоро все будут говорить по-монгольски.
Чингисхан в фильме «Монгол».

Пакс Экономикана?

Последние десятилетия в нашем сознании, как, впрочем, и в сознании большей части мирового сообщества, безраздельно властвует экономика. Сообщения о ставке рефинансирования, об уровне инфляции и о рецессии, в которую вползает страна, звучат как сводки с театра военных действий. Бурно обсуждается взлет потребительского кредитования, трудности с ипотекой, колебание мировых цен на нефть. Язык экономики начинает вторгаться в области, весьма далекие от нее. Рождение детей теперь трактуется как инвестиции в будущее, спасение души рассматривается как банковский вклад с неограниченными процентами. Справедливым оказалось утверждение Александра Неклессы, возвестившего еще лет пятнадцать назад наступление Рах Есономісана. Более того, хотя никто прямо об этом не говорит, но если судить по акцентированию политиками и прессой чисто экономических тем, мы как будто вернулись к наивному представлению прошлых веков, что с повышением материального благосостояния все остальные проблемы будут решены сами собой. Главное — это рост производства, главное — эффективность принимаемых экономических мер. Это универсальное государственное лекарство. Это панацея от всех социальных и политических бед.

Между тем даже поверхностный анализ показывает, что эффективная экономика вовсе не является гарантом стабильности. Множество острых конфликтов вспыхивает как раз в экономически развитых и внешне успешных странах. Достаточно вспомнить грандиозные «восстания предместий» во Франции 2005 и 2007 годов или колоссальный погром в Лондоне (и других городах Англии) в августе 2011 года. Несмотря на некоторые экономические мотивы, оба этих конфликта, несомненно, были порождены разницей религиозных воззрений и национальных культур. Европейские мигранты восстали против своих

Столяров Андрей Михайлович — прозаик, автор не только художественных произведений, но и многочисленных статей по аналитике современности, а также книги по философской аналитике «Освобожденный Эдем» (2008). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

метрополий. Пламя вспыхнуло там, где его ждали меньше всего. Вот проблема, которая действительно стоит перед миром, и что делать с этой проблемой — не знает никто. Не помогает никакая социальная терапия. Национализм стал силой, способной до основания потрясти самое благополучное общество. Россия с ее полиэтническим населением, несомненно, является в этих координатах «слабым звеном». Динамика межэтнических столкновений в ней стремительно нарастает. И потому, вопреки устоявшейся точке зрения, мы рискуем утверждать, что главные проблемы современной России не экономические, каковые обычно выносятся властью на первый план, а национальные — от них зависит само существование нашей страны.

Причем, в отличие от экономики, эти проблемы невозможно решить чисто рациональным путем. Национальное самосознание вообще плохо поддается рационализации — корни его уходят в архетипические глубины веков.

Из темноты

Выскажем мысль, которая, возможно, покажется странной. Русский этнос, в отличие от многих других, никогда не имел сугубо этнической идентичности. Он всегда был включен в идентичность более высокого уровня.

Это характерно уже для периода Древней Руси. Местная идентичность, к тому же носившая еще отчетливо племенной характер, была в то время несомненно сильнее общей этнической идентичности. Тогдашний русский ощущал себя в первую очередь киевлянином, галичанином, ярославцем, владимирцем, новгородцем и только уже потом — этнически русским. Впрочем, доминирование местной идентичности над национальной типично и для других крупных этносов, складывавшихся из конгломерата родственных между собою племен. Специфика собственно «русскости» заключалась на данном этапе в том, что она имела не столько этнический, сколько теллурический (территориальный) оттенок. Здесь она работала в полную силу. Русскость определялась через принадлежность к единой земле, что весьма убедительно выражено в летописных источниках: «...откуда есть пошла Руская земля... откуда Руская земля стала есть» («Повесть временных лет»), «О, Русская земля, ты уже за холмом» («Слово о полку Игореве»), «Слово о гибели земли Русской», и т.д. и т.п. Никаких сказаний о «земле английской», «земле французской», «земле голландской», насколько известно, в соответствующих национальных летописях не содержится.

Уникальная теллурическая идентичность — это особенность именно начального русского этноса, и возникла она, вероятно, как следствие легендарного «призвания варягов». Здесь, на наш взгляд, произошла двойная символическая инверсия: микроэтноним «русь», как варяги предположительно называли себя, превратился в топоним, покрывающий всю «русскую землю», то есть землю, где властвовала когорта «русских князей»¹, а топоним по прошествии времени вновь стал этнонимом, обобщив таким образом все населявшие данную область славянские племена. Заметим, что это косвенный довод в пользу норманнской

¹ В частности, К. Маркс назвал Древнюю Русь «империей Рюриковичей». См. *Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII века.* // Вопросы истории. 1989. № 4.

теории, поскольку антинорманнисты при всем их патриотическом темпераменте внятно объяснить, откуда взялось самоназвание «русский народ», все же не могут.

В свою очередь, в период Московского царства преобладала московская, то есть государственная, идентичность. Учитывалось прежде всего подданство (политическое гражданство), а конкретная национальная принадлежность значения не имела. Татарский князь, поступивший на службу к Москве, имел такие же этнические права, как и князь рода Рюриковичей. Он во всех отношениях был ничуть не менее «русским». Вспомним хотя бы гротескное, но весьма показательное «воцарение» касимовского хана Симеона Бекбулатовича, сначала посаженного «великим князем всея Руси», а потом ставшего «великим князем Тверским».

Точно так же в период имперской России доминировала имперская идентичность. Русским мог считать себя каждый, кто принимал российское подданство — этот термин обозначал опять-таки не столько национальность, сколько гражданство. Князь Багратион, недовольный ходом военных действий против Наполеона в Отечественной войне 1812 года, писал Аракчееву (а в действительности, вероятно — для сообщения императору Александру I): «...вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно». Напомним, что Багратион по национальности был грузином, более того — происходил из царской династии Багратионов. Это, как видим, нисколько не мешало ему называть себя русским.

Правда, сильный крен в сторону этнической русскости был сделан в короткое царствование Александра III. Но, во-первых, уже был близок финал Российской империи: «кого бог хочет покарать, того лишает разума». А во-вторых, учитывая иностранные браки русских царей, в самом императоре Александре III было по разным подсчетам от одной тридцать второй до одной девяностошестой долей собственно «русской крови», что — еще раз подчеркнем — нисколько не мешало ему считать себя истинно русским.

И наконец, в период существования СССР приоритет имела советская идентичность. Была провозглашена новая историческая, социальная и интернациональная общность «советский народ», имеющая единую цель — построение коммунизма. Предполагалось, что собственно «национальная общность находится в органическом единстве с <этой> более высокой, интернациональной общностью, и представители любой нации и народности СССР считают себя прежде всего советскими людьми».

Заметим, что это не было явным преувеличением. Наднациональная общность «советский народ» действительно существовала. Об этом свидетельствуют и его единство в Великой Отечественной войне, поскольку большая война всегда является проверкой полиэтнического государства на прочность, и громадное количество межнациональных браков, препон для которых, в отличие от колониальных империй Запада, практически не было, и весьма пестрый, именно в национальном аспекте, состав советских властных элит. Вспомним: Сталин — грузин (или — огрузиненный осетин), Каганович — еврей, Микоян — армянин, Брежнев — видимо, украинец¹, Пельше (член политбюро ЦК КПСС) — латыш, Шеварднадзе (член политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел

¹ В официальных документах Л. И. Брежнева указано то украинец, то русский.

СССР) — грузин, Алиев (член политбюро ЦК КПСС) — азербайджанец, Кунаев (член Политбюро ЦК КПСС) — казах, Громыко (член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР, председатель Президиума Верховного Совета СССР) — белорус, а также: маршал Рокоссовский — поляк, маршал Баграмян — армянин, маршал Москаленко — украинец...

Фактически русский этнос никогда не был самим собой. Он всегда выступал в истории как некое надэтническое сообщество. Он отождествлял себя не столько с нацией, сколько с государством, и культивировал не столько этнические, сколько государственные черты.

Опыта самостоятельного этнического бытия, отрефлектированного культурой, у него нет.

Ситуация изменилась лишь в конце XX века. После распада СССР неожиданно выяснилось, но не сразу был воспринят национальным сознанием очень значимый факт: русские впервые в истории обрели собственную государственность. Напомним, что согласно критериям, которых придерживается ООН, государство считается мононациональным (моноэтническим), если численность титульной нации превышает в нем две трети всего населения. А согласно последней переписи (2010 года), русских в России сейчас 80,9 процента. Ближайшее по численности национальное меньшинство, татары, составляют всего 3,9 процента от общей численности россиян¹.

Русских в России оказалось больше, чем евреев в Израиле, который многонациональным государством никто не считает.

Вот факт, которым более нельзя было пренебрегать.

Внезапно, будто вынырнув из темноты, на карте мира появилось русское национальное государство.

Мифология национального

Национальные государства начали возникать в Европе в середине XVII столетия как результат «вестфальской системы» мироустройства, сложившейся по итогам опустошительной Тридцатилетней войны 1618 — 1648 годов. Провозглашая принцип «чья земля — того и вера», то есть утверждая приоритет сложившихся к тому времени национальных культур, данная система предполагала, что отныне базисным элементом геополитики становится именно нация: она обладает абсолютным, неотчуждаемым суверенитетом над своей территорией. Подтверждалась также суверенность национальной власти, какой бы, монархической или республиканской, эта власть ни была, и суверенность религии, которую данная нация исповедует.

Таким образом преодолевалась структурная неопределенность Средневековья, когда границы земель менялись в зависимости от воли или могущества феодалов — реальность Нового времени была зафиксирована устойчивыми социально-экономическими образованиями. Позже эта идеология была закреплена Священным Союзом, стремившимся утвердить незыблемость тогдашних

¹ Федеральная служба государственной статистики. Социально-демографический портрет России по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года. Официальное издание. — М.: 2012. С. 72.

европейских границ, Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями о послевоенном устройстве мира, уставом ООН, провозгласившим представительство в этой организации не этносов и народов, а именно государств, Хельсинкскими соглашениями 1975 года о нерушимости государственных границ в Европе.

Обратим внимание на цивилизационную неравномерность этого процесса. В Европе становление национальных государств началось, как мы сказали, еще в XVII веке и завершилось в главных своих чертах по окончании Первой мировой войны — после распада Австро-Венгерской, Османской и Российской империй. В Латинской Америке аналогичный процесс пошел лишь в начале XIX столетия и принял форму боливарианских освободительных войн, в Африке и Азии — еще позже, в основном во второй половине XX века, и движущей силой его являлись национально-освободительные движения.

То есть особенности современного русского национального самосознания объяснимы еще и тем, что русский этнос обрел статус нации (самостоятельного государственного бытия) с большим опозданием по сравнению со многими другими народами. И вместе с тем, поскольку механизмы государственно-этнической консолидации являются скорее всего универсальными, то именно они и определяют сейчас мировоззренческую специфику современной России.

Посмотрим, какова эта специфика.

Основой существования любого этноса является миф. Миф — это малая этническая космогония, легенда о сотворении данной нации, представление этноса о самом себе — о своих лучших и худших чертах, выражающихся в конкретных поведенческих практиках.

Причем, как древнегреческая трагедия требует для своего воплощения «трех единств» — единства места, единства времени и единства действия — так миф для воплощения этноса объединяет примерно те же параметры. Он мотивирует территориальное единство этноса («земля предков», «историческая прародина»), единство времени (общность происхождения, общность истории), единство действия, выраженное в общности этнокультурного бытия.

Нация создается в пространстве мифа.

В свою очередь, в базовый национальный миф входят как составные части три других мифа, каждый из которых, впрочем, имеет самостоятельное значение.

Миф о героической истории данного этноса.

Миф об избранности народа, носителя высокой культуры.

Миф о вражеском окружении, о тех вызовах и угрозах, которым этнос (народ) обязан противостоять.

Миф о героической истории является своего рода этнодицеей, то есть оправданием этнического бытия. Он свидетельствует о том, что данная нация всех победила, преодолела немыслимые трудности и препятствия, образовала собственное государство и тем самым доказала свое право на существование. Героическую историю имеет даже самая малая нация, давно уже утратившая любые экспансионистские притязания. Голландский героический миф, например, опирается на великую Голландскую империю (Вест-Индия), на первую в Европе республику, которая подала пример другим европейским народам, на героическое отвоевание земли у моря — строительство голландских плотин и дамб. Героический миф Андорры опирается на древность этого крохотного государства, существующего с 790 года, на героические сражения андоррцев с

маврами, на героическое отстаивание своей независимости. Причем любопытно, что разные по содержанию мифы могут возникать на одной и той же реальной фактуре. Скажем, Вторая мировая война для России — это сражение под Москвой, Сталинград, битва на Курской дуге, штурм Берлина. А та же война для Запада — это битва при Эль-Аламейне, высадка на Сицилии в 1943 году, высадка в Нормандии в июне 1944 года. Англия добавляет к этому «битву за Британию» — воздушное сражение с немецким люфтваффе летом — осенью 1940 года, а Соединенные Штаты — войну с Японией на Тихом океане.

В общем, как пишет один из исследователей, «под воздействием социальных мифов история возникновения и развития государств и наций, как правило, искажается и мифологизируется настолько, что ее объективный анализ теоретически возможен только при критическом сопоставлении различных источников. Однако в большинстве случаев это <также> практически невозможно из-за пристрастности, субъективности или ангажированности... По сути дела, вся мировая история стала объектом постоянных манипуляций»¹.

Действительно, если спросить среднего американца, кто победил во Второй мировой войне, то он ответит (если вспомнит, конечно, что такая война вообще была), что во Второй мировой войне победила Америка и что главное сражение этой войны произошло у атолла Мидуэй, где американский флот разгромил японскую военно-морскую эскадру.

В свою очередь, *миф об избранности народа* подразумевает, что данный народ обладает такой совокупностью позитивных качеств и черт, которая с очевидностью выделяет его среди всех остальных. Говоря проще: мы — лучше других. Евреи — избранный народ, поскольку у них заключен прямой договор с богом, значит после «конца истории» будут спасены только они. Французы — избранный народ, потому что они создали Европу: считается, что основой современного европейского бытия стал Гражданский кодекс Наполеона. Плюс к этому — великая французская живопись, великая французская литература, великие французские музыка и театр. Немцы избраны, поскольку они принадлежат к арийской сверхрасе (в подсознании у немцев это сохраняется до сих пор), вообще — этническим субстратом Европы явились в основном германские племена. Опять-таки — великая немецкая философия, великая немецкая музыка, великая немецкая литература. Американцы — избранная нация, потому что они построили «град на холме», общество, где реализованы истинные заповеди божьи, что является безусловным примером для всех. Ну, а русские — это самый духовный народ, исповедующий, в отличие от меркантильных западных стран, подлинно высокие христианские ценности.

И наконец, *миф о вражеском окружении* утверждает, что всегда наличествует угроза существованию данной нации. Эта угроза может быть четко определена: фашизм, коммунизм, капиталистический мир, исламские террористы и т.д. и т.п., но она может присутствовать и в неявном, неосознанном виде — просто как вызов будущего, который еще нуждается в категориальной рефлексии. Причем, следует подчеркнуть, что угроза, встающая перед нацией, не есть чистая выдумка идеологов, политиков или пропагандистов. Угроза национальному государству действительно существует всегда — хотя бы как конкуренция со

¹ Ферсович В.В. Использование мифов в интересах информационно-психологического воздействия. — <http://sociologi.narod.ru/pr/1.htm>

стороны аналогичных национальных сообществ. Тем более это относится к вызовам будущего, которые возникают спонтанно и независимо от какой-либо идеологии. Идеология лишь придает этим вызовам конкретные зримые формы. Однако сам миф о вражеском окружении есть неотъемлемая мифологическая константа в сознании любой нации.

Подчеркнем принципиальные качества мифа, которые, на наш взгляд, чрезвычайно важны.

Во-первых, это императивность мифа, то есть его способность мотивировать нацию — в значительной мере определять ее мировоззренческую и деятельностьную конфигурацию. Данное качество мифа выделил еще Ролан Барт; иллюстрируя эту мысль, он приводит в пример журнал «Пари-Матч», где на обложке изображен молодой африканец (негр), но во французском мундире, отдающий честь на французский манер, и интерпретирует его как месседж, обращенный к стране: «Французская империя была, есть и будет». Причем это не чисто политическая мотивированность, объясняемая ситуацией тех трудных для Франции лет, но мотивированность онтологическая, фиксирующая и воспроизводящая «имперскость» французского национального самосознания.

А во-вторых, что, вероятно, еще важнее, миф сильнее реальности. Миф может в значительной мере не совпадать с текущей реальностью, может, напротив, почти полностью с ней совпадать, может совпадать лишь частично, однако несомненно одно: при несовпадении мифа с реальностью побеждает, как правило, миф.

Показательным в этом смысле является миф советского социализма. Подавляющее большинство граждан СССР (разумеется, гауссианское большинство) было твердо убеждено, что, несмотря на отдельные трудности, испытываемые «здесь и сейчас», оно живет в лучшей стране мира, за которой — историческое будущее. Факты, свидетельствующие об обратном: более высокий уровень жизни на Западе, наличие там социальной защиты и гражданских свобод, более мощная экономика и более высокие темпы развития, факты, которые, кстати, легко просачивались сквозь любую цензуру, массовым советским сознанием просто не воспринимались.

Или более близкий пример. Перед последним вторжением США в Ирак в западном медийном пространстве был создан конкретный политический миф: Ирак — это чрезвычайно опасное, агрессивное государство, имеющее ядерное оружие и готовое его в любой момент применить. Как известно, ядерное оружие в Ираке найдено не было, но свою роль в мотивировании вторжения данный миф все же сыграл. Более того, даже по прошествии полутора лет, согласно социологическим опросам, около половины американцев было убеждено, что оружие массового поражения в Ираке все же имелось. То есть миф опять-таки оказался сильнее реальности.

Пирамиды, Будда, Христос

Легко заметить, что все три указанных мифа сейчас активно присутствуют в русском (российском) национальном сознании. Причем также легко заметить, что по идеологической фактуре своей они представляют собой реинкарнацию прежних советских мифов и мифов царской России.

Особенно показателен в этом смысле миф о героической истории нации. В русском национальном сознании существует отчетливое представление, что во время татаро-монгольской экспансии XIII столетия Древняя Русь спасла Европу. Конечно, русские князья в борьбе с монголами потерпели сокрушительное поражение, иго воцарилось на русской земле на двести пятьдесят лет, но монголы при этом понесли такие потери, что продвинуться дальше на Запад уже не смогли.

Особую роль в популяризации данного мифа сыграл А.С. Пушкин, провозгласивший в известной статье, что «России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработленную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся <европейское> просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией».

Как известно, Пушкин — это «наше все», да и выглядит данная версия вполне логично. Однако, несколько не подвергая сомнению героическую жертвенность Древней Руси, заметим, что такой же миф существует и у поляков. Конечно, поляки потерпели от монголов сокрушительное поражение, битва при Легнице была ими проиграна, но монголы при этом понесли такие потери, что продвинуться дальше, в Европу, уже не смогли. Европу спасли поляки. Точно такой же миф существует у венгров. Конечно, венгры в битве с монголами были разгромлены, монголы взяли столицу тогдашней Венгрии Пешт, король Бела IV бежал в Вену, но монголы при этом понесли такие потери, что продвинуться дальше, в Европу, уже не смогли. Европу спасли венгры. И аналогичный миф существует у чехов. Правда, как считают историки, фрагмент о героической битве чехов с монголами является артефактом, позднейшей вставкой в Краледворскую рукопись. Однако это ничего не меняет. В народном сознании миф живет. Европу спасли именно чехи — не русские же, в конце концов. Сюда также можно добавить, что, по мнению ряда серьезных историков, Европу вообще никто не спасал. Просто в это время умер верховный хан Угэдэй, начались раздоры в самой Орде, и монголы повернули войска — власть в империи им, конечно, была важнее, чем мелкие европейские государства.

Вместе с тем жертвенный героизм Древней Руси, спасшей Европу от варваров, в русском национальном сознании сомнению не подлежит. Тем более, что в дальнейшем Россия спасла Европу сначала от Наполеона, а затем — от Гитлера.

Аналогичная ситуация с двумя другими национальными мифами. Если сейчас провести прямо на улице «народный опрос»: какое качество является для русских главным, то ответ будет один: это духовность. Подразумевается «широта русской души», ее «всемирная отзывчивость», готовность к самопожертвованию ради других, презрение к сугубо материальным благам, презрение к выгоде, к мелочным торговым расчетам. Русский человек склонен жить высокими идеалами, а не ничтожной мирской суетой. Подразумевается также, что это качество изначальное: родился русским — уже духовный, и ничего делать не надо. Невольно вспоминается мысль Рильке о том, что Россия — это страна, которая граничит с Богом. Правда, американцы считают, что с богом граничит вовсе не Россия, а нынешняя Америка. Во всяком случае, президент Джордж Буш-младший признавался публично, что вторгнуться в Афганистан и Ирак ему велел

сам Господь Бог, а президент Обама в недавнем своем обращении к нации заявил, что американцы — это избранный народ (то есть народ, исполняющий промысел божий, и потому ему дано право вмешиваться в дела других). Можно также вспомнить, что незадолго до Первой мировой войны, когда в Германии только-только образовалось национальное государство, самым духовным народом в мире чувствовали себя немцы. Немцы совершенно искренне полагали, что Европа, которой они себя тогда не считали, насквозь пропитана меркантильным прагматическим духом: англичане, итальянцы, французы только и умеют, что торговать. Зато носителем высокой культуры, хранителем прекрасных нравственных идеалов является именно немецкий народ. Можно было бы привести и другие примеры, однако это вряд ли скажется на результатах опроса: миф есть миф, он вытесняет из сознания все, что противоречит ему. Русские воплощают собой истинную духовность, каждый, кто считает иначе, не любит ни свою великую родину, ни свой великий народ.

Что же касается мифа о вражеском окружении, то достаточно просмотреть патриотическую публицистику, которая сейчас явно преобладает в средствах массовой информации, чтобы понять: Россия окружена врагами. Со стороны Запада ей угрожает Америка, жаждущая расчленить нашу страну и завладеть ее богатейшими сырьевыми ресурсами, с Юга ей угрожает агрессивный ислам, Сибирь и Дальний Восток подвергаются «ползучей оккупации» со стороны непрерывно усиливающегося Китая. А что до Европы, так ведь еще тот же Пушкин сказал, что «Европа в отношении к России была столь же невежественна, как и неблагодарна». Кто же «нашему всему» осмелится возразить? Не лучше нынешние отношения России и со странами Ближнего зарубежья — они складываются из непрерывных конфликтов с Прибалтикой, Грузией, Молдавией, Украиной. В начале XXI века Россия оказалась в геополитическом одиночестве. Обнаружилось, что дружественных партнеров у нее нет — она пребывает в окружении конкурентов и недоброжелателей. Вполне естественно, что в сознании большинства россиян начал утверждаться известный тезис императора Александра III, который считал, что у России есть только два надежных союзника — армия и флот. Лишь вооруженные силы России являются гарантом того, что страна будет существовать.

К тому же все три мифа имеют явную тенденцию к идеологической гипертрофии. Они не просто утверждают право этноса на историческое бытие, они склонны преувеличивать позитивные качества «своей нации», зачастую переводя их в явный гротеск, тем не менее воспринимаемый членами данной нации как нечто вполне естественное. Мифы свидетельствуют не столько о реальных достижениях того или иного народа, сколько о нарциссическом восприятии им самого себя. Не избежал этого и нынешний русский этнос. За десятилетие становления русского национального сознания в российской прессе появилось невероятное количество публикаций, в том числе и претендующих на научность, где утверждалось, например, что Киев основали этруски (читай — русские), которые возвращались к себе на родину после осады легендарной Трои, что Иерусалим — это русский город (Яр-рус-олим), а Ватикан (Батикан) происходит от русского слова «батя», что египетские пирамиды, а также и Стоунхендж построены древнерусскими инженерами, что русские — это прямые потомки гиперборейцев или атлантов, сверххрасы древних людей, обладавших магическими способностями. Ну и прочие Арктиды и Аркаимы. Вершиной

этнического нарциссизма является, на наш взгляд, мысль, высказанная, кстати, профессором, доктором философских наук, о том, что русский язык возник более двухсот тысяч лет назад, и уже от него произошли потом многие современные языки, в том числе арабский, древнегреческий и китайский¹. Автор данного утверждения, вероятно, даже не подозревает, что в те времена (двести тысяч лет назад) еще не было даже кроманьонского человека и потому производит русский народ прямо от неандертальцев — что, разумеется, может многое прояснить в русском национальном характере.

Впрочем, эта идентификационная лихорадка не является спецификой только русского этноса. Она типична для всех «новых наций», декларирующих свой государственный суверенитет. Например, в украинской прессе периода легислатуры В. Ющенко было множество публикаций о древности украинского народа и языка. Он возник, оказывается, еще в VII веке до нашей эры, а в VII веке уже нашей эры вся Европа, как утверждается, говорила по-украински. Не исключено также, что древнеегипетские пирамиды возвели вовсе не русские, а украинские инженеры, поскольку именно древние египтяне были предками украинцев, ведь название главного древнеегипетского храма Хат-ка Птах звучит чисто по-украински («Хата Птаха»), а на изображениях, найденных археологами, часто виден трезубец — нынешний украинский герб. Украинцами, как замечают некоторые «исследователи», были также Будда и Христос². Это, впрочем, естественно. Кем они еще могли быть?

Заметим, что такое творение как «Рухнама», написанная первым президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым³, или подчеркнутый «европеизм» (антирусскость) новых стран Балтии (прежде всего Латвии и Эстонии) — явления того же порядка.

Заметим также, что все три мифа сопряжены между собой. Миф об избранности народа поддерживается героическим мифом, который, демонстрируя исторические свершения нации, усиливает тем самым компоненту ее избранности, а избранность, интерпретируемая как превосходство, в свою очередь, поддерживает собой миф о вражеском окружении, поскольку всегда существуют люди и группы (нации), в эту избранность не допущенные и потому желающие ее сокрушить.

В общем, вывод напрашивается сам собой: на территории нашей страны, частично спонтанно, а, возможно, и частично осознанно, формируется сейчас не столько российское, сколько русское национальное государство. Об этом свидетельствуют и этническая аранжировка национальных мифов, где именно «русское» означает «российское» (точнее — полностью поглощает его), и социологические обзоры последних лет: лишь 55 процентов опрошенных называют себя россиянами, в то время как остальные предпочитают локальные идентичности (человек, семья, национальность, житель конкретного региона и т.д.).

¹ Боги меняются. Диалог Михаила Задорнова и Валерия Чудинова. // Литературная газета 5 марта 2008; Мы не жрецы. // Литературная газета 26 марта 2008; Древнее древнерусского. / Литературная газета 28 мая 2008.

² Газета Верховной Рады: Будда, Иисус Христос и древние египтяне были украинцами. // РИА Новый Регион — Киев. — <http://www.nr2.ru/kyiv/224000.html>

³ «Рухнама» («Книга Души») утверждает богоизбранность туркменского народа. Книга была обязательной для изучения в школах и вузах в период президентства С. Ниязова.

Подлинная «российская нация» не возникла. Термин «россияне», используемый в течение последних двадцати лет, обозначает не столько собственно нацию (государственно-этнокультурную общность), сколько формальную гражданскую принадлежность. Фактически нынешняя Россия представляет собой разнородный этнокультурный конгломерат, потенциально готовый к различным геополитическим метаморфозам.

Это состояние, в свою очередь, предполагает высокие национальные риски, и, насколько можно судить, процесс их спонтанной реализации уже начался.

Русские против России

Формирование любого национального государства сопровождается, как правило, резким повышением этнической температуры, достигающей иногда критических величин. Это вполне естественно. При высокой температуре происходит плавление близких, но все-таки отличающихся региональных культур и слияние их в единую, достаточно однородную массу, которую мы воспринимаем как «нацию».

Данный процесс, однако, имеет и негативное содержание. В подавляющем большинстве случаев он воплощается в такое явление как *этнический патриотизм*.

Здесь необходимы некоторые пояснения.

Существование всякого этноса, обладающего собственной государственностью или не имеющего таковой, зависит, как правило, от его идентичности, то есть от способности представителей данного этноса ощущать свою безусловную этнокультурную общность.

Идентичность, в свою очередь, основывается на неких «первичных ценностях», подтверждающих для данного этноса уникальность и подлинность его бытия. Эти первичные ценности, фактурным выражением которых является миф, с одной стороны, как мы уже говорили, подчеркивают единство этноса: общность его истории, общность культуры, общность религиозных воззрений, общность этики, общность поведенческих стереотипов, а с другой, что не менее важно, — обозначают границы этничности, за которыми начинаются другая история, другая религия, другая этика, другая культура. Таким образом, по выражению философа Б. В. Маркова, обеспечивается «символическая защита»: этнос сохраняет свою уникальность, несмотря на воздействие иных национальных культур.

Внешним же проявлением идентичности и является патриотизм, то есть готовность членов данного этноса к сверхнормативным усилиям по сохранению или реализации общих бытийных ценностей. Патриотизм можно также определить как «включенность в общее дело»: готовность членов какого-либо сообщества согласовывать свои личные интересы с интересами идентификационного коллектива. В предельном случае патриот готов отдать жизнь ради той общности, с которой он себя отождествляет.

В координатах этничности — это показатель жизнеспособности этноса, тот витальный ресурс, который этнос способен реализовать.

Патриотизм оценивается позитивно практически в любой стране и практически везде определяется одинаково — как «любовь к родине». Это, на наш

взгляд, слишком расплывчатое определение, и чтобы продемонстрировать это, приведем в пример трех патриотов, каждый из которых доказал искренность своих патриотических чувств. Во-первых, Гитлер. Его «любовь к родине» сомнений не вызывает. Гитлер говорил «Дойчланд», и у него буквально слезы на глазах выступали, он говорил «юбер аллес», и у него от волнения прерывалось дыхание. Об этом есть множество бесспорных свидетельств. И он сделал все, чтобы Германия стала великой державой, а немцы — великой нацией, фактически, как и полагается патриоту, отдал ради этого жизнь. Второй пример — Сталин. Опять-таки существует множество бесспорных свидетельств, что Сталин абсолютно искренно любил и Советский Союз, и советский народ (кроме той его части, конечно, которую он считал «врагами народа»). И он также стремился к тому, чтобы первая в мире социалистическая страна стала великой державой, а советский народ — образцом для народов мира. Правда, жизнью он ради этого не пожертвовал, но он всю ее посвятил достижению данной высокой цели. И третий пример — президент Уганды Иди Амин. Конечно, Иди Амин был каннибал, в чем он сам не раз признавался, а также имел привычку хранить в холодильниках головы своих казненных врагов, однако это несколько не мешало ему искренно «любить родину». Он изгнал из страны всех «азиатов», которые грабили и обирали великий угандийский народ — экономика после этого рухнула, поскольку именно «азиаты», по большей части индийцы, занимались торговлей и производством, зато угандийский народ стал единым, и чистота угандийской крови была обеспечена. Иди Амин также провозгласил Уганду великой державой и на этом основании потребовал, чтобы Елизавета II, королева Великобритании, уступила ему пост председателя в Британском содружестве наций. Далее, следуя тем же путем, он объявил войну Соединенным Штатам Америки. Правда, длилась эта война менее суток: вечером Иди Амин ее объявил, а утром сообщил угандийцам, что война победоносно завершена: испуганная Америка признала решающую роль Уганды в международных делах.

Вот это и есть этнический патриотизм. Тот самый, который, исходя из философии христианства, категорически осуждал Лев Толстой, дав ему имя «национального эгоизма» и считая его подлинным источником зла, источником множества преступлений, трагедий и войн. И это действительно так, поскольку этнический патриотизм открыто или, задрапировавшись в политкорректную терминологию, провозглашает превосходство своей расы, религии, этноса над другими расами, религиями, этносами земли и исповедует лишь один принцип: «пусть всем будет плохо, только нам хорошо».

Добавим, что, когда нынешнее правительство РФ заявляет, что отстаивает национальные интересы России, оно демонстрирует тем самым приверженность как раз национальному эгоизму, — разумеется, в более мягкой форме, чем те «патриоты», которых мы приводили в пример, но все же — придерживаясь аналогичных координат.

В России сейчас господствует именно этнический патриотизм. Это можно диагностировать и по числу националистических организаций, выдвигающих лозунг «Россия — для русских», и по интенсивности «русских маршей», масштаб которых непрерывно растет, и по спонтанным приступам ксенофобии, вспыхивающим то в одной, то в другой точке страны. Подробных примеров здесь можно не приводить. Ими и так полна российская пресса. Это и массовые беспорядки футбольных болельщиков на Манежной площади в Москве, и инцидент в

Кондопоге, и недавнее Бирюлево, и дикий случай на станции метро «Удельная» в Петербурге, когда около сорока «патриотов» ворвались в один из вагонов и начали избивать пассажиров нерусской внешности. Такого рода конфликты уже стали нормой для межнациональных отношений в России. Никакие программы по воспитанию толерантности не помогают, никакие призывы к взаимному уважению не могут снизить накал национальных страстей. Этому препятствует внутренний механизм явления. Дело в том, что повышенная этническая температура, характерная для образования национального государства, и выражающий ее в виде идеологии этнический патриотизм порождают такой феномен как «разделение идентичностей». Ведь идентичность — это ее фундаментальное свойство — никогда не существует сама по себе; она возникает лишь по отношению к другой идентичности. Говоря проще: если в этнически разнородной компании, где особых поводов для разногласий нет, кто-то громко и гордо заявит, что он — русский (татарин, еврей), то остальные так же немедленно вспомнят о своей национальной принадлежности.

Вот в чем тут проблема

Чем интенсивней будет предъявляться русская идентичность, претендующая на национальный приоритет, тем интенсивнее будут предъявлены идентичности и других народов, населяющих ныне Россию. Причем такое спонтанное предъявление будет почти обязательно иметь конфликтный характер. Последнее связано еще с одним негативным свойством этнического патриотизма. В его мировоззренческой оптике «другой» всегда рассматривается как «чужой». Разница здесь принципиальная. «Другой» может быть достоин признания и уважения: он обладает теми качествами, которыми не обладаем «мы». Но появление «чужого» всегда воспринимается как угроза. «Чужой» — это агрессия, которая требует немедленных ответных действий. «Чужого» признать нельзя. Признание «чужого» в координатах этнического патриотизма означает национальную капитуляцию.

Результатом же подобной идентификационной механики является этническая сепарация, о которой мы писали в предыдущей статье¹, то есть обособление российских народов в своих национальных республиках. Или, другими словами, происходит «национализация» национальных республик: уменьшение в них доли русского населения и повышение в них собственной национальной температуры. Это также вполне естественно: если российскость означает русскость, то все остальные народы, проживающие сейчас в нашей стране, ощущают себя чужими. В «русской части» России они чувствуют себя нежелательными мигрантами, которых терпят, но не считают за равных себе, точно так же, как русские чувствуют себя нежелательными пришельцами в национальных республиках.

Конечно, сейчас, в период определенного экономического благополучия, этнический потенциал национальных российских республик реализуется в основном в сфере культуры. То есть, несмотря на отдельные неприятные всплески, он имеет, по большей части, декоративный характер. К тому же недавний пример Чечни показывает, что плата за попытку выхода из состава

¹ Столяров А. М. Россия и революция: ретроспектива и перспектива. // Знамя № 10, 2013.

России может быть чересчур велика: начнутся бомбежки, зачистки, теракты, кровавый хаос со множеством человеческих жертв. Однако в случае ухудшения экономической ситуации, вероятность чего для России достаточно велика, в случае резкой дискредитации и ослабления центральной власти может повториться ситуация времен распада СССР: из России уйдут многие национальные территории. Избежать этого, по-видимому, будет нельзя. Осуществится сценарий, который предсказал когда-то Збигнев Бжезинский: от России останется только ее европейская часть, окруженная государствами, не слишком дружелюбно настроенными по отношению к бывшей своей метрополии.

В общем, мы вынуждены опять сделать вывод, который, вероятно, не понравится большинству россиян. Наибольшую опасность для современной России представляет вовсе не экономический кризис, не рецессия, в которую сейчас вползает страна, не возможное падение цен на нефть — это мы как-нибудь переживем. Наибольшую опасность для России представляет нынешний русский этнический патриотизм, непрерывно повышающий риск распада Российского государства.

Новое небо

В трудной этнической ситуации находится сейчас не только Россия. Реальность, возникшая по окончании «холодной войны», оказалась совершенно иной, нежели ее представляли. Лет двадцать назад большинство аналитиков и политологов полагало, что в условиях глобализации начнется кризис национального государства. Многие даже предсказывали, что национальное государство исчезнет совсем — оно исчерпало себя в качестве интегративного оператора, на смену ему придут регионально-экономические идентичности.

В действительности все получилось с точностью до наоборот. После крушения громадных идеологических общностей («капиталистический мир» — «социалистический лагерь») резко актуализировались именно национальные операторы, что выразилось в распаде полиэтнических государств.

В настоящее время разделились на отдельные нации, образовавшие собственные государства, не только Советский Союз, Югославия и Чехословакия, но от Эфиопии отделилась Эритрея, от Судана — Южный Судан, возникли непризнанные или полупризнанные государства, имеющие четкую этническую основу: Турецкая республика Северного Кипра, Восточный Тимор, Иракский Курдистан, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровская Молдавская республика и другие, происходит медленная диссоциация Англии, где выделяются в самостоятельные этногосударственные сущности Шотландия и Уэльс, диссоциация Испании, где выделяются Каталония и Страна Басков, диссоциация Бельгии на фламандскую и валлонскую части, постоянно дискутируется вопрос об отделении от Канады франкоязычной провинции Квебек.

Национальное государство не исчезло, как ему предрекали, а, напротив, продемонстрировало свою очевидную жизнеспособность.

Оно стало чуть ли не главным действующим лицом современности.

В связи с этим возникает вопрос: каковы в данных координатах перспективы России? Ведь Россия — это именно многонациональное государственное образование, и ее внутреннее устройство (федерализм) базируется на «этнической географии» — компактно проживающие народы имеют собственные республики.

Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся немного назад и вспомним, что русский этнос никогда не имел собственно этнической идентичности, он всегда образовывал идентичность более высокого уровня, куда беспрепятственно — и, заметим, на добровольной основе — могли быть включены представители самых разных народов. Индиец или бирманец, например, стать англичанами не могли, точно так же, как яванец или малаец не могли стать голландцами, а вот татарин, литовец, мордвин с легкостью становились «русскими».

В качестве иллюстрации, помимо уже упоминавшегося материала, можно привести воспоминания С.М. Буденного, советского маршала, начинавшего свою службу вахмистром в царской армии. Буденный пишет: «Я попал в третий взвод, которым командовал поручик Кучук Улагай, по национальности карачаевец. Командиром эскадрона был кабардинский князь ротмистр Крым Шамхалов-Соколов. Полком командовал полковник Гревс, а дивизией — генерал-лейтенант Шарпантье». Армия, тем не менее, была русской.

Такое национальное качество можно определить как универсализм и, соответственно, такую национальную общность можно назвать *универсальной нацией*.

История знает всего две нации, сумевшие создать устойчивую универсальную идентичность, — это американцы и русские. Причем американцам, заметим, было намного легче: в «плавильный тигель» Америки попадали не крупные этнические целостности (народы), а отдельные личности или мелкие организации в виде семей или религиозных общин: включение в универсальную идентичность не было обременено территориальной традицией.

Подчеркнем также отличие универсальной нации от гражданской — два эти понятия часто смешивают друг с другом. Гражданская нация — это общность, выделяемая исключительно по критерию государственной принадлежности, никаких этнических трансформаций при этом не происходит. Английские мигранты, прибывшие в Англию из ее бывших колоний и обретшие все права граждан Соединенного Королевства, англичанами себя тем не менее не считают. Они остаются индийцами, арабами, представителями африканских народов. Это видно хотя бы по Лондону, который становится все менее английским городом. Точно так же не считают себя французами мигранты из Северной Африки, пусть даже формально они являются французскими гражданами. Нация — это не просто бюрократическая регистрация. Нация — это общность культурной символики, которая образует национальную идентичность. А как раз культуру Европы «новые граждане», мигранты из третьего мира, воспринимать не хотят.

Причем это касается не только мигрантов. Одной из главных трудностей Евросоюза является отсутствие в нем национальности «европеец». Конструкторы Объединенной Европы поставили телегу впереди лошади: создав единое экономическое пространство, они не создали единой общеевропейской идентичности. Им, видимо, это в голову не пришло. Или, возможно, они полагали, что подобная идентичность на основе экономического единства возникнет сама собой. Результаты оказались парадоксальными. Социологические опросы, регулярно проводимые в странах ЕС, показывают, что национальная идентичность в Европе пока еще явно преобладает над идентичностью европейской. Причем европейцами себя в значительно большей мере считают албанцы, румыны, литовцы (а также, добавим, участники Евромайдана на Украине), нежели традиционные европейские нации — немцы, англичане, французы. Это, кстати, непосредственным образом сказывается на экономике, особенно если она находится в кризисной ситуации. Зачем европейцы должны помогать европей-

цам, понятно: «мы — единый народ». А вот зачем немцы должны помогать грекам, которые просто «проели» бюджет страны, — это, конечно, тяжелый вопрос.

И еще один фактор имеет принципиальное значение для современной России. Это нынешняя демографическая ситуация, которую точнее следовало бы назвать «демографической катастрофой». Со времени распада СССР количество россиян, несмотря на ощутимую иммиграцию из «ближнего зарубежья», заметно уменьшилось. Сейчас оно составляет всего 143 миллиона человек¹, что критически мало для страны, обладающей самой большой территорией в мире. Причем распределено население крайне асимметрично: почти 80 процентов его сосредоточено в европейской, наиболее развитой части страны, а Сибирь и Дальний Восток представляют собой антропологическую пустыню. Средняя плотность населения России — 8 человек на квадратный километр.

Между тем Россия окружена демографическими гигантами, имеющими в отношении ее свои политические и экономические интересы. Это Европейский союз: общая численность населения 507 миллионов человек, Китай: население 1350 миллионов человек, США: население 320 миллионов человек. Не следует также забывать о Японии, там «всего» 127 миллионов человек, зато плотность 334 человека на квадратный километр. Сравните с Россией. Прошли те времена, когда Прокопий Кесарийский, византийский историк, писал о «бесчисленных племенах антов». Ныне уже не грозные «полчища скифов» нависают над цивилизованным миром, а, напротив, «цивилизованный мир» посматривает в сторону опустевающих российских земель.

Причем, несмотря на звон официозных фанфар, положение здесь вряд ли изменится к лучшему. Коэффициент рождаемости в современной России находится на уровне 1,7 (каждая женщина рождает менее двух детей), в то время как даже для простого воспроизводства населения нужен уровень в 2,1 ребенка на одну женщину. Если даже запущенные сейчас программы по поддержке рождаемости и семьи сыграют позитивную роль, в чем, кстати, многие социологи сомневаются, то результат все равно проявится очень не скоро. Согласно прогнозу Национального совета по разведке США, к 2030 году население России сократится до 130 миллионов человек и, вероятно, будет продолжать сокращаться. В геополитическом измерении это означает, что Россия окажется не в состоянии удержать свои обширные территории.

Создавать при подобных тенденциях русское национальное государство равносильно самоубийству.

В общем, суть, как нам представляется, абсолютно ясна. Она аналогична сути известного анекдота. «Рецепт Кутузова: чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву». Здесь точно так же: чтобы сохранить Россию, русским надо перестать быть исключительно русскими. Нам необходимо отказаться от культивируемой сейчас этнической идентичности и вновь стать универсальной нацией, приемлющей все народы, все культуры и все языки. Национальному схлопыванию, которое влечет за собой нынешний этнический патриотизм, следует противопоставить национальное расширение, основанное на русской «вселенскости».

Фактически нам следует создать новую нацию.

Задача, конечно, трудная, но только тогда перед нами откроются новая земля и новое небо.

¹ Федеральная служба государственной статистики. Население, учтенное при Всероссийской переписи населения 2010 года. — http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-01_02.pdf

Чингиз Гусейнов

К вопросу о «русскости нерусских»

1

Названия такого рода, предваряемые словами «к вопросу о», были очень популярны в советские годы, предполагали как бы самозащитную фрагментарность, неполноту освещения проблемы. Так и в данном случае: я, многие годы будучи, как меня представляли, «двуязычным» или «русскоязычным» азербайджанским литератором, в той или иной степени пытался, с опорой на опыты — «свой» и огромного отряда русскоязычных писателей-инонационалов — осмыслить природу этого общемирового явления¹.

Формулировка «русскость нерусских» применительно к писательскому сообществу родилась у меня в процессе многолетних (продолжающихся по сей день) общений с французским русистом-славистом Леоном Робелем, чьи имя и труды были широко известны в СССР и помнятся, смею надеяться, сегодня². Будучи верным русистике и русской поэзии, он чуть ли не первый полвека назад обратил внимание на русскоязычных «нерусских» писателей, отметив, что мало кто задумывается над этим уникальным явлением, а ведь это — мощный культурный пласт, увы, оказавшийся за пределами «истинной» русской литературы.

Не приемля «литературоведческого» понятия «подстрочник», сопротивляясь ему, Л. Р. помыслить не мог о переводе не с языка оригинала, а для перевода с оригинала лучше всего подходили именно русскоязычные националы, именовавшиеся «двуязычными».

Общепризнанный факт: у нас редко переводили националов с оригинала, чего не скажешь о русской школе перевода с западных языков.

Я, естественно, желал приобщить Л. Р. (для тех времен факт: пока за рубежом не признают — не признают и не обратят плюс-минусового внимания на большой и малой родине) к переводу азербайджанской поэзии и надеялся, что личные контакты с ним моих земляков-поэтов вполне послужат этим моим намерениям: какая литература не жаждет прозвучать на иностранном языке, тем более — на французском (всем был памятен мировой триумф Чингиза Айтматова, начавшийся с легкой руки француза Луи Арагона, переведшего повесть «Джамиля»: с «национала»-киргиза, писателя русского по языку и нерусского

Гусейнов Чингиз Гасан оглы (род. 20 апреля 1929 г. в Баку) — азербайджанский и российский писатель, литературовед, культуролог, переводчик, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Азербайджана. Пишет на азербайджанском и русском языках.

этнически, и начался, как представляется, интерес в мире к национальным литературам СССР).

В течение какого-то времени «национальная литература» воспринималась с некоторой долей снисхождения — как вроде бы литература второго ряда. Яркие русскоязычные «националы» разбили эти расхожие представления. Более того: русские нерусские писатели оказали существенное влияние на «чисто» национальных писателей, внесли в их ряды состязательность, активизировали художественный потенциал этих литератур, заложили традиции критического отношения к «национальной» реальности.

У меня в архиве хранится образчик «художественного» перевода известного русского поэта, фамилию называть не буду, стихов азербайджанского поэта Расула Рзы с подстрочника: «перевод» свелся к тому, что переводчик слегка отредактировал мой подстрочник, причем не удосужился даже напечатать перевод на отдельном листке — записал поверх подстрочника: потрудитесь, мол, чтобы получить мой перевод — расшифруйте и напечатайте.

А с Бахтияром Вагаб-заде, другим азербайджанским поэтом, случился «подстрочный» казус: вдруг звонит и умоляет срочно сделать подстрочник стихотворения, которого у него еще нет, но он непременно напишет, «я дам идею, додумай-присочини, строфику мою знаешь: "Правда" просит стихи на сельскую тему, переводчик ждет» (публикация в центральной газете в те годы приравнивалась к получению высокого ордена), и я, следуя привычной практике тех лет, сочинил что-то про поля бескрайние, юную трактористку, горизонт цвета персика и облачко, стремящееся защитить тенью девушку-труженицу от знойного солнца, ведь впереди столько еще работы!.. С «подстрочника» был осуществлен «художественный» перевод, к переводчику явился курьер из «Правды» и забрал «стихи».

Не в обиду кому будь сказано, но были и, очевидно, есть национальные поэты среднего уровня, которые, неплохо зная русский, с выдумкой составляли подстрочники своих не существовавших в оригинале стихов; отработаны были пути выхода на больших поэтов, знаменитости обогащали находками подстрочник, придавая ему соответствующую форму, а потом, следуя уже существующему переводу, национальный поэт подгонял под него оригинал.

Такое наблюдалось и в прозе, но там сюжет или психологическое состояние героев устно обговаривались с автором, переводчик дорабатывал в меру своего таланта, расширял, уточнял оригинал, и перевод в этом случае объявлялся, обретая новый статус, «авторизованным», а потом эти изменения автор вносил в оригинал. Так что работала четкая система: большая, так сказать, фабрика чеканила переводы национальных литератур на русский язык.

Но как бы то ни было, а сегодня следует констатировать, что утрачивается традиция русской литературы открывать новые ионациональные горизонты, подобная переводческая практика, не питаемая, кстати, общегосударственной национальной политикой, стала угасать... Конечно же, в приобщении больших русских поэтов к национальной поэзии была и житейская, так сказать, подоплека: собственным творчеством не прожить, если к тому же стихи — на темы «вечные», идеологически не ангажированные, а переводы «националов» официально поощрялись, неплохие шли гонорары. В 1968-м возник, между прочим, шум с оргвыводами, кое-кто погорел-полетел в серии «Библиотека поэта», и все — из-за опубликованной здесь статьи Ефима Эткинда, где сказано было, что Ахматова, Заболоцкий и другие поэты не имели возможности печатать свои стихи и потому были вынуждены отдавать все силы переводам. Во-первых,

через эти переводы, если поэзия была созвучна их мироощущению, легализовались собственные чувства, спрятанные зачастую в «сундучных» стихах; во-вторых, перевод как высококлассная профессиональная работа был необходим поэту для поиска слов, образов, художественной стилистики; и наконец, в-третьих, наличествовало и отвергнутое ныне слово «бескорыстие»: помочь талантливому собрату по перу (зачастую переводящий и переводимый становились друзьями) быть услышанным всеми, то есть прозвучать на русском, который был для националов и остается, думаю, на меняющемся евразийском пространстве некой калиткой, если не сказать дверью, в большой читательский мир.

Отмечу в этом ряду титанический труд Семена Липкина по переводу эпосов калмыков, киргизов, кабардинцев, татар, бурятов, якутов; Арсения Тарковского, Бориса Пастернака, по переводческой практике которых защищены десятки диссертаций; Аделины Адалис... — ее причисляли к поздней «восточной ветви» Серебряного века, в ее поэзии дышит Восток — Афганистан, Индия и Персия, в ней — экзотика Кавказа и Средней Азии.

Впрочем, из подобных умозаключений вовсе не следует делать вывод о том, как пытаются представить сегодня некоторые ретивые ниспровергатели всего и вся советского, что знаменитых национальных классиков сотворили русские писатели, — мол, никакого Джамбула или, к примеру, Сулеймана Стальского, названного М. Горьким «Гомером XX века», не было, это-де пропагандистские мифы, дабы подтвердить «благотворность ленинской национальной политики» в возрождении национальных литератур. С отголосками подобных живучих суждений пришлось столкнуться лично мне, когда на семинаре-зачете в МГУ один из студентов под аплодисменты заявил, что советская власть «заставляла» националов творить «не нужную никому, им самим тоже», литературу, а переводчиков русских — «работать» на систему, сочиняя за националов, и в пример привел строки Джамбула о «сталинской конституции»: *Закон, по которому все мы равны В созвездии братских республик страны*. В число якобы сочиняющих за националов попала и Адалис — мол, срочно понадобился литературным властям поэт из Средней Азии для выдвижения на Сталинскую премию, и выбор пал на Мирзо Турсун-заде, который перевел на таджикский, выдав за свои, сочиненные Адалис восточные баллады. Между тем, подлинная история была извращена: Адалис настаивала, чтобы Фадеев представил и ее на премию — речь шла о поднятии статуса переводчика до уровня автора, высокое качество ее «вольного перевода» было сродни оригиналу, ибо в процессе перевода творилось, что естественно, оригинальное произведение.

Не могу тут же не отметить, что в результате тотальной политизированности и стремления к единообразию общественной жизни возникали калькированные национальные языки, на которых люди не говорили. В этом смысле русский язык, способствуя обогащению национальных культур, вместе с тем сыграл злую шутку с национальными языками: абсолютное следование канонам русского в условиях жесткой цензуры, механически-точные, не допускавшие никаких вольностей переводы с русского на языки народов СССР идеологизированных материалов, в частности, собраний сочинений классиков марксизма-ленинизма, порой не учитывали особенностей национальных языков и деформировали их природу, лексику и синтаксис.

Этот процесс оказался необратимым. Впрочем, есть справедливое абазинское суждение: «Русский язык — всадник, национальный — пеший. Пеший может не отставать в пределах аула, дальше — всадника не догнать!.. Но если

пеший ухватится за стремя коня... это не означает плестись в хвосте». И ухватились, а в ряде случаев встали вровень. Подобное мог сказать не только абазинец, но и многие представители народов-этносов на Кавказе, имеющих письменную литературу, и «бесписьменных». Но при этом наблюдалось — более по причинам объективным, нежели субъективным — ущемление национальных языков, сужение их функций, сфер применения, что породило явную угрозу исчезновения некоторых, причем даже *больших* языков, таких как белорусский и не только.

Прикрытием порой служил тезис, утверждавшийся и в отношении ряда национальных культур, к примеру, казахской или киргизской, что эти литературы *становятся-де двуязычными*³.

А убиение живого языка влияло на психофизический склад народов.

2

Но продолжу то, с чего начал: утверждалось, будто даже великолепный поэт Расул Гамзатов «сделан» русскими переводчиками. В те годы я решил однажды в порядке эксперимента сравнить подстрочники и переводы Гамзатова, попросил студента-аварца, который учился у меня в Литературном институте, сделать подстрочник, но он вдруг — испугавшись блуждавших слухов — решил не ввязываться в эту затею. Я обратился к переводчикам Якову Козловскому и Науму Гребневу, моим приятелям, мол, так-то и так, хочу в целях научных сопоставить перевод с подстрочником. Отказали: дескать, не хранят подстрочников. Но нашелся другой студент-аварец, к нему я подступался долго, чтоб не спугнуть, и вот — в моих руках подстрочники, а параллельно к ним переводы Я. Козловского и Н. Гребнева. Долгие годы, пока профессорствовал в МГУ, демонстрировал я их на лекциях как пример того, что, если перед нами большой поэт, а Расул Гамзатов из таковых, то образную его систему в полной мере не передать, задача — хотя бы приблизиться к нему, хоть частично выразить.

Вот подстрочник Р. Г.:

Разве после смерти Махмуда (поэт-лирик) не влюблялись горцы? / Нет же песен, заставляющих гореть сердца. / Разве после Шамиля не было войн? / Нет же военных вестей настоящих.

Влюблялись горцы, зачем говорить напрасно? / Муи (возлюбленная Махмуда) не надо похищать — она сама идет. / И войны были, зачем говорить напрасно? / Но кинжалы уже просят мира.

А вот перевод Я.К.:

Махмуда песни будут жить, покуда / Неравнодушен к женищинам Кавказ. / Но разве после гибели Махмуда / Любовных песен не было у нас?

Нет, песни есть пленительного лада, / Еще какие песни о любви! / Но только горцу похищать не надо / Печальную красавицу Муи.

Многие яркие образы оригинала, увы, исчезли в переводе, который в целом воспринимается как поэзия, но стихи профессионально подогнаны как бы под среднерусское поэтическое видение горцев-кавказцев. То же и с тем же конечным результатом я проделал с оригиналом и переводом стихов Кайсына Кулиева, тут мне подстрочник был не нужен: язык балкарский мне знаком, он сохранил общетюркские праязыковые корни.

Подстрочник: *Был я мягче, чем начинающая зеленеть ветла, / Я в вытянутой руке нес открытым сердце мое, / Полное следами пуль, нанесенных годами. / Скалой под ветром выстоял. Многие дни ветры без устали дули / Над головой моей*

град и метель прошли. / Быть не только мягкой ветлой, / А и скалой жизнь меня научила. Перевод Н. Гребнева: *«На ветру меня ломало, / Был я слабою ветлой. / Но стоял и я, бывало, / Твердокаменной скалой. / Гнул я, как все стволы. / А бывало: грянет выстрел / Или гром — и только искры / Отлетают от скалы».* Исчезли конкретика судьбы, некоторые образы: *мягкость начинающей зеленеть ветлы*; не просто *грянувший выстрел*, а нес доверчиво сердце, следы пуля на нем... Судьба неприветлива была к Кайсыну: вояку забрали с фронта и выслали с депортированным народом в Киргизию.

Именно в ответ на вышеупомянутые «слухи» Р. Гамзатов обратился к прозе, создал свой замечательный «Мой Дагестан»: тут уж за него не сочинишь.

Жизнь в стране в те давние годы кипела, затевались переводческие совещания (на которых, кстати, выступали против практики переводов с подстрочника, хотя при этом объявлялись конкурсы на лучшие переводы националов на русский язык с подстрочников, в частности, как помнится, стихов литовки Саломеи Нерис), выходил чуть ли не каждый год фундаментальный сборник «Мастерство перевода».

При переводе с подстрочников случались переводческие курьезы, в этой связи чаще всего упоминается Самед Вургун, у которого есть строки, критикующие *коробейников — «черчилер»*, которые *прячут голову меж ног и чья жизнь трясется, точно яйцо*. При переводе появился... Черчилль: *Позор! Тем, кто голову прячет, как страус! Черчиллям старых порядков!* А коль скоро появился Черчилль, то поэт П. Железнов вынужден добавить: *В их душах бессильная злоба и хаос, Их жизнь жидка, как яйцо всмятку!..*

Были попытки на конференциях по переводу теоретически обосновать наличие подстрочника — раз уж это реальность. Внес в это лепту и Леон Робел, сформулировав некоторые мысли не столько по теории художественного перевода, сколько об условиях, необходимых для практики перевода с подстрочника, тем более что и такой опыт был не чужд ему: готовил к изданию «Антологию чувашской поэзии» на французском по подстрочникам, выполненным Геннадием Айги, надо думать, добротню. Первое из условий — знать историю народа; второе — иметь представление, как развивалась национальная письменность; третье — знакомство с некоторыми чертами стихосложения, языка; четвертое — прослушать звучание, мелодию оригинала, даже видеть печатный его облик; пятое — не ограничиваясь русским подстрочником, заглядывать чаще в словарь. И все это для того, чтоб чуточку приблизиться к постижению загадок национальной души, культуры, поэзии. Но и этого мало: «По-настоящему разобраться в некоторых вопросах поэтики можно только на основе очень разнообразных языковых и поэтических материалов», а чувашский текст характеризуется (это относится и к другим тюркоязычным литературам, а их в России тридцать одна, из них в Кавказском регионе РФ — кумыкская, балкарская, ногайская, карачаевская) большой вариативностью при жесткой каноничности (семисложник; а у азербайджанцев еще и одиннадцатисложник); необходимо учитывать роль аллитерации («доминанта или подчиненный элемент?» — встает вопрос; думается, и то и другое плюс состязательность между поэтами в виртуозности как форма бытования поэзии в жизни народа); обилие «языковых жестов» (термин Е. Д. Поливанова); гармонию гласных (в тюркских языках — «aheng gapını», «закон гармонии», или неологизм турок «uygun sesler» — «согласованные звуки»).

«Богатый материал для теоретических размышлений дает также переход от силлабики к силлаботонике, при очень ясных и обозримых обстоятельствах:

общая закономерность?» Это именно «закономерность» и относится она ко всем тюркским языкам; «роль исключительной личности (Сеспель)?» — и в азербайджанском немало на сей счет экспериментов (того же поколения классиков: Мюшфик, Расул Рза; у балкарцев — Кайсын Кулиев); «давление извне? двуязычие? культурная необходимость?» — и размышление: «Тут есть над чем подумать. Не менее сложны вопросы ритмического перевода: как заставить французскую силлабику звучать "экзотически"?» И наконец точно замеченная «эстетика естества», включающая характерные для подлинного искусства, в том числе для чувашской классики и фольклора, свежесть видения и энергию воображения, символику, которая складывалась веками и при использовании которой можно «запросто переходить из мира живого в мир мертвых, из мира человеческого в мир животный и даже растительный, восходить на небо и проникать в земные недра...» Эти мысли могут послужить отправной точкой для исследований по поэтическому языкознанию, теории и практике перевода. Они не только «научные», но и этические — Леон пишет, что «переводчиком достоин называться только предельно честный человек, который хочет объективно и честно оценить другой народ, его культуру, его тексты и передать их как можно полнее, учитывая, что это необходимо и для собственного языка, для расширения его возможностей. Ни одна литература не развивалась без переводов, многие поэтические формы возникли только через перевод. Именно сегодня предельно честный творческий труд переводчика просто необходим»⁴.

3

Часто цитировали в 1970—80-е годы в аспекте «двуязычного творчества» мою фразу из предпосланного роману «Магомед, Мамед, Мамиш» жанрового определения: «...со сновидениями и их разгадкой, наивными символами... [и т. д.] в собственном переводе автора с родного азербайджанского на родной русский». Это было первое мое большое сочинение на азербайджанском, до того выпустил в Баку ряд наивных книг рассказов и повестей о современном Азербайджане, а тут — с замахом на весь Союз показать, хотя вовсе не думал об этом, деградацию общества. Многое из того, что расскажу, продолжается, порой даже в более нелепых вариациях, и сегодня.

Явился я с азербайджанской рукописью романа к редактору толстого журнала «Азербайджан» Джалалу Мамедову, он, мой приятель, известный переводчик и публицист, по прочтении деланно удивился: «Как же так? Человек говорит не то, что думает?!» Понял сразу мой посыл. «А мы с тобой не такие, Джалал? — я ему в ответ. — Наше ведь, мое тоже, свойство, оно, между прочим, всегда потрясало иностранцев» — «Вот именно! Если даже приму — цензура зарубит! Забирай, никому не показывай!»

От растерянности-обиды я решил: раз нельзя сказать на своем родном, скажу на русском, тоже мне родном, переведу сам — как вызов себе бросил.

Перевел, принес в «Дружбу народов», прочли, одобрили, правда, на уровне отдела, а главред, Сергей Баруздин, мне вдруг: «Печатать такое?!» И довод: «Что скажет Гельдар (так он произносил имя) Алиевич?!» — «Но он сам с этими явлениями борется», — говорю ему.

Цензура долго колебалась, запуталась в хитросплетениях сюжета: «Какие-то убийства, не разберешь...» — «Но это не у нас, а там, у них...». И, как в нашей сказке, — удается *вырвать яблоко из пасти дракона*, получить разрешающий к печати штамп.

Из поздних моих раздумий: цензура иногда пропускала острые вещи «нерусских русских» — ведь все эти «безобразия творятся не у нас, а у них»... Но речь в данном случае о другом — пытаюсь раскрыть существо формулы «в собственном переводе», тем более что вскоре пришлось испытать это на себе с перестановкой частей, когда второй свой исторический роман «Фатальный Фатали» написал первоначально на русском языке (опасаясь, что из-за остроты материала на азербайджанском не издадут), а потом воспроизвел *с родного русского на родной азербайджанский*, тем самым породив разные определения: «азербайджанский» писатель, «обтекаемое «двухязычный», очень длинное «азербайджанский писатель, пишущий по-русски», и даже «русский».

Осмысливая существенные различия собственного опыта самоперевода, замечу, что в первом случае хотелось через национальную стилистику, изначально заданную в оригинале, подчеркнуть *переводной* характер произведения, не желая представлять его сочинением *русского* писателя, хотя сразу пришло понимание, что критический взгляд на *родные* реалии дается легче именно по-русски, тут богатые традиции.

А во втором... Анализируя различия между оригиналами «Фатального...», русскоязычным, а затем воссозданным на азербайджанском как новый оригинал, я понял, что ни о какой адекватности речи быть не могло, ибо, перефразирую Василия Жуковского, я не был рабом оригинала, в обоих случаях *текст мой*, и если буду слепо следовать русскому оригиналу, то в условиях смены, или конкретизации читателя мое произведение будет восприниматься как «перевод» с русского, а не оригинал, чего я, азербайджанский писатель, естественно, допустить не мог. Тут диктат как читательский (его ожидания), так и языковой — наличие качественных различий между языками, традициями, историей, аурой слов и понятий, хотя, постоянно корректируя текст, вторгаясь в него, я в общих чертах придерживался сюжетных линий «Фатального...» — не сочинять же новое произведение! (Между прочим, понял: начни я сочинять первоначально на азербайджанском, может, был бы другой роман!)

Первая нестыковка — исторического порядка. Победа русского оружия над Персией в 1828 г., дипломатические переговоры царского посла Грибоедова с принцем Аббас-Мирзой о контрибуции, об условиях раздела земель — к России отойдут азербайджанские (и не только!) территории, границей станет река Аракс. Переводчиком на этих переговорах выступал Бакиханов, крупный азербайджанский просветитель, писатель и мыслитель. Русскому читателю важно было показать фигуры Грибоедова и персидского принца, ограничиться ими, переводчик — фигура проходная; у азербайджанского читателя происходящее пропускается именно через него, видится его глазами, тем самым сюжетная значимость фигуры Бакиханова становится глубже. Текст невольно разрастается, ибо, в сущности, рождается новый персонаж с его думами и переживаниями, ведь он невольно участвует в разделе земель сородичей, при котором меньшая часть отходит к России, а большая остается за Ираном.

Есть в романе эпизод, связанный с образом Бестужева-Марлинского: он переводит *с фатальным* Фатали его «элегическую поэму» на смерть Пушкина, предчувствуя при этом скорую свою гибель, она случится при штурме мыса Адлер. Поэма создана на фарси, требуется ее осмысление также на родном и русском, к тому же опальный декабрист пытается при переводе заострить некоторые моменты поэмы, возникают новые сюжетные ходы, текст опять-таки разрастается.

А вот наиважнейшая нестыковка: не сразу уловил, хотя постоянно чувствовал психологический дискомфорт при описании царя. На азербайджанском «русский царь» имеет одно-единственное обозначение — «чар», и как только я пытался выразить, следуя за русскоязычным оригиналом и, кстати, опираясь на развитые традиции русской литературы, иронически-саркастическое отношение к фигуре «чара», текст начинал оказывать сильнейшее сопротивление, которое исчезало, когда я избирал окольные пути, заменяя *чар* размытым, абстрактным *государь, властелин*. Но я упорно желал употреблять именно «царь» — «чар», и в этом случае приходилось буквально воевать с языком, точно с живым существом. «В чем же дело?» — думал я, но лишь к концу работы вдруг возник ответ, он поразил, показал особенности азербайджанской ментальности как нации: национальному языку — с тех пор, как край был в результате колониальной экспансии вовлечен в общероссийскую орбиту, — запрещалось высказываться по адресу царя иначе как в выражениях возвеличивающих, хвалебных, тогда как именно традиция оппозиции деспотизму в лице русского царя, думается, придала русской литературе мировое звучание. Не могу не сказать и о том, о чем часто забывается: величие русской литературы состоялось не *благодаря*, а *вопреки* устремлениям господствующей верхушки.

Речевая стихия азербайджанского языка не терпела, отторгала критику конкретного «чар», а тем более восставала против сарказма, а потому приходилось в процессе сочинения *помогать* языку изживать страх, приучать его к правде, дерзости и при этом тратить значительно больше, нежели в русском оригинале, словесно-творческой энергии.

Сомнений нет: пребывание в России влияет на язык создаваемых текстов, и никто-ничто не запретило бы мне сочинять как на русском, так и на азербайджанском в Баку то же, но те же ли самые языки это были?

Признаюсь, тоска по родному языку, даже в условиях, когда ныне его услышишь везде и кругом, не отпускает меня ни на минуту, она тотальна.

Да, в прошлые времена было отгороженное от мира «железным занавесом» пространство большое, *всесоюзное*, а внутри — малое, *республиканское*, и оба замкнуты, но лично я, живя в большом пространстве, был творчески относительно свободным от малого, за пределами которого жил, был независим и недостижим для него, и мне тем самым удавалось выразить негативное отношение к *реальному* социализму в его национальном одеянии.

Ныне, когда рухнуло и *всесоюзное*, а внутри него и *республиканское*, и оба *суверенны*, форма и содержание *оппозиционных* сочинений обрели единство национального, критика уже напрямую обращается на саму нацию, то есть на нас самих, или — на самого себя.

И снова прибегну к примечательному суждению — Набокова о *свободе духа*: различия между языками его творчества, русским и английским, отражают разницу *в историческом плане между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда довольно безвкусным юношей — и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной — вот корень! — свободой духа. Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов!*

Имея в виду, что русский язык на родине заточен в идеологическую тюрьму, *дух несвободен*, а на чужбине чахнет, лишен питательной почвы, Набоков с горечью замечает: «Меня мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн. Увы, тот "дивный русский язык", который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за

воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку».

Во Франции на встрече с читателями мне задали вопрос в связи с двумя разными оригиналами «Фатального...»: на русском — 27 авторских листов, на азербайджанском — 43. *Представьте*, — говорю, — *что у меня две жены, азербайджанка и русская, и обе родили сыновей, они — мои дети, но они — разные. Так и с романами: оба — мои, но и различаются между собой.* Ближе к концу пришла записка: *Разве в СССР возможно двоеженство?! — Так это*, ответил, *я для наглядности!* Во Франции умеют от души посмеяться.

И вдруг взволнованный звонок из Баку: запрет местной цензуры на издание на азербайджанском вышедшего в Москве романа. Срочно лечу в Баку и сразу — к главному цензору. Разыгрывается спектакль: *О, какой дорогой гость приехал!* Остановил его: *Лучше скажи, почему столько времени держишь у себя мой роман?!*

Недоумение у него на лице: *Как?! Роман еще у нас?!* Тотчас вызвал секретаршу: *Как не стыдно! Почему роман не возвращен в издательство?..* Секретарша, не смея возразить, переминается с ноги на ногу, молча выслушивает упреки шефа, а потом, когда я вышел, говорит мне: *Клянусь, это он сам держит!..* Короче, цирк!

Потом узнал подоплеку тревоги цензора. *Вот ты говоришь: роман прежде вышел в Москве — и никаких цензурных преград. Верю. Но там — столица, а у нас свои цензурные строгости. Ты пишешь: колонизация Кавказа... —* Прерываю его: *Нет у меня таких слов!* А он: *Да, нет, но дух романа!.. Торжество концепции добровольного вхождения!.. — Но ведь это неправда!* — снова перебиваю.

...Вскоре роман вышел.

4

Есть разные причины русскоязычия нерусского писателя, первая — очевидная: не владеет национальным в достаточной мере, чтобы сочинять; это, к примеру, Фазиль Искандер или Рустам Валеев, Олжас Сулейменов... — для последнего существует такое определение: «казахский поэт, пишущий порусски», и обычно добавляется, что «придет время, его стихи зазвучат и на казахском». Что это значит? Кто-то переведет? Даже шутка-эпиграмма была такая: *Читаем. Почитаем. Всем знаком. Лишь недоволен некий переводчик: Нет чтобы мне прислать подстрочник, Так сам владеет русским языком!*

Как не назвать русскоязычного лакца Эффенди Капиева, впервые сформулировавшего единство дагестанского литературного пространства, он известен афористичной прозой, притчами: *«Деревья жалуются дубу на топор. "Вы сами ему рукоять — жаловаться некому!"»* Или, уже из нашего времени, осетина, ироничного русского поэта-концептуалиста Тимура Кибирова. Замечу, что в некоторых литературах, чеченской к примеру, русскоязычная литература формируется еще с конца XIX века: братья Шариповы (историко-географические, путевые, этнографические очерки и публицистика), братья-просветители Мутушевы.

А как неповторим в плеяде «русских нерусских» Тимур Зульфикаров: поэт, прозаик, композитор, сочиняющий романсы и мелодии к собственным стихам, раскованный — и рискованный — в художественном мышлении, творящий чудеса с русским словом, будто разглядывает его, удивляется ему, точно слышит и видит впервые, восторгается им, и такое ощущение, что даже прикасается к

слову как к чему-то вещественному, имеющему форму и вес, берет на пробу, как поступают с золотым слитком. Не знаю, что первично у Тимура: восточная по отцу-таджику душа его переплавляет русскую речь, а русская по матери душа впитывает премудрости Востока, и Тимур щедро одаривает мир своими образами. То же и с верой как глубинным состоянием натуры: не то он мусульманский христианин, не то христианский мусульманин. Так пробивается и растет веточка из древа Авраама-праотца. Это что же — «востокизация» русской литературы? Своеобразные, условно говоря, переводы, точнее, переложения восточных тем на русский лад? Синтез, так сказать, стилевого евразийства? Архаика мира в оболочке мирового модерна?

Парадоксальна образность Тимура, приведу лишь описание молодой жены: «халвотелая нагая пышущая как золотая хлебная печь-танур распласталась раскидалась разметалась лебедиными лядвеями и перламутровыми спелыми ягодицами на белопенной кунградской кошме...» И каждый раз необычны не только стиль, но и сюжеты. Нескончаемы «Земные и небесные странствия поэта» — вечно живого Ходжи Насреддина, alter ego «Ходжи Зульфикара», по временам далеким и нынешним. Смерть Пушкина с переселением души в двугорбого верблюда, шедшего песками Африки: тот же профиль, бакенбарды, та же поступь. Герою Зульфикарова с его предельной наблюдательностью удалось подглядеть, как были ввергнуты в грех Адам и Ева. Или повести о детских годах Иисуса Христа и Мухаммеда. Некогда Тимур в своем честолюбии заявил, что «произвел революцию в русской поэзии и прозе», подразумевая линию Пушкина и Хлебникова в поэзии и линию Набокова с Платоновым в прозе. В этом кто-то может усомниться, но вряд ли кто станет спорить о весомости художественного опыта Тимура Зульфикарова в современной русской литературе.

Как это часто случается, смерть, или «смена мира», как говорят об усопшем азербайджанцы, во всем объеме обозначает масштаб, значимость и весомость личности. Так случилось с Мариам Ибрагимовой, автором многопланового романа о Шамиле. Кстати, не случайно совпадение, что великие мудрецы прошлого, сочиняя свои философские и художественные труды, были в то же время и врачами, то есть лечили и дух людей, и их плоть. Она и врач (причем с жилкой ученого-исследователя), и поэт, и борец с сильными мира сего, дабы отстоять в пору «развенчания» Шамиля историческую правду о движении. И это в условиях, когда такое не прощалось, жестоко каралось (чудо, что спаслась!). Романист, живописец, она нашла в себе мужество вести во имя науки и для пользы людей наблюдения над своей умирающей плотью. Дитя русской женщины и кавказца, она формировалась на стыке двух мощных потоков культур: русско-христианской и кавказско-мусульманской, сумев впитать, вобрать в себя премудрости Востока и Запада.

Прав был С. Залыгин, говоря о приходе писателей «в русскую литературу из другого языка»: «Сейчас в нашей русской литературе происходят очень любопытные и какие-то новые явления... Одно из них заключается в том, что у нас появились национальные писатели, которые по-своему обогащают русское слово, русскую литературу. Мы говорим, что русская литература обогащает национальную литературу. Но и национальные писатели, которые пишут на русском языке, тоже обогащают этот язык своим отношением к нему, своим взглядом на него, своим собственным слухом к нему. Когда такой писатель переходит от своего родного языка к русскому языку, он вдруг открывает в нем новые возможности, которые я не вижу... это (речь о «Белом пароходе» Ч. Айтматова, существующем, как и все последующие его романы, на русском)

благозвучный, чистый и красивый русский язык... Когда я читаю Рытхэу или Василя Быкова, я вижу, что это очень любопытный процесс, интересный и новый...»⁵

Тут и Айтматов, чье творчество на русском воспринималось тогда в Киргизии как *предательство* по отношению к народу, нации, *ибо не пишет на родном языке*.

Впоследствии, в пору распада советской многонациональной литературной общности, были попытки разделения литературного пространства русского языка как бы на три группы по этническому происхождению писателей:

первый, так сказать, сорт — русская литература, создаваемая *истинно*, или *чисторусскими*;

второй — русскоязычная литература, созданная этнически нерусскими;

есть якобы и *лжерусская* — вовсе не имеющая эстетической ценности, низкосортная, но красочно оформленная полиграфически *рыночная* макулатура.

Подобная *классификация* была замечена зарубежными славистами-русистами: «...Консервативные националисты вооружились набором директивных требований, которым должен отвечать любой писатель, желающий удостоиться — от них — титула "русского". Требования являются *этническими* (подчас даже жестко этническими!), *духовными*, *политическими* (заметим — вплоть до гражданства!) и *художественными*.»⁶

Мой случай русскоязычия был вынужденным: на азербайджанском не опубликовали роман-повесть, перевел на русский, а потом, понимая, что острые вещи иначе не увидят света, стал писать на русском в надежде, что когда-нибудь воссоздам на азербайджанском, что и случилось с историческим романом «Фатальный Фатали».

5

Долгий разговор был у меня с коллегой по МГУ Петром Алексеевичем Николаевым о писателях, работающих (это получило широкое распространение в стране в 1960—90-е годы) в пространстве русского языка, но не включаемых в русскую литературу по инерции советских лет, а это — не два-три, а десятки имен из всех регионов страны.

Речь, в частности, и о литературах малочисленных этносов Сибири и Крайнего Севера, Поволжья и Приуралья, о литературах народов бывших республик СССР.

Проблема национальной принадлежности «русского нерусского» писателя решалась однозначно, они по этническому признаку автоматически включались в национальные литературы: Ю. Рытхэу, чьи существующие исключительно на русском романы «Сон в начале тумана», «Иней на пороге», «Вэкэт и Агнес» отображали реалии северного народа, был отнесен к чукотской литературе; В. Санги с русскоязычными повестью «Ложный гон» и романом «Женитьба Кевонгов» был причислен к литературе нивхской; Ю. Шесталов (повесть «Синий ветер каслания», лиро-эпос «Югорская колыбель») — к мансийской; С. Курилов (романы «Ханидо и Халерха», «Новые люди») — к юкагирской; Г. Ходжер и П. Киле — к нанайской; поэт П. Хузангай — к чувашской, Ч. Айтматов и М. Байджиев — к киргизской; О. Сулейменов, А. Алимжанов, С. Санбаев — к казахской; В. Быков и А. Адамович — к белорусской; русскоязычный Т. Пулатов — к узбекской; романист Г. Гулиа, прозаик и поэт Ф. Искандер⁷ — к абхазской; прозаик Аскер Евтых — к адыгейской, драматург

Азат Абдуллин, чьи пьесы широко ставились на русской сцене, и Рамиль Хакимов, чей «Кавказский триптих» приобрел популярность в 1970-е годы⁸, — к башкирской; Александр Эбаноидзе, чей роман «Брак по-имеретински» был восторженно принят критикой⁹, — к грузинской... Список имен может быть продолжен.

«Да, — согласился Петр Николаев, — но не нанесем ли тем обиду националам, что у них забирают писателей, продолжается как бы имперский грабеж?»¹⁰

Думаю, не без влияния нашей беседы П. А. Николаев заметил во вступлении к «Словарю русских писателей XX века»: «Читатели могут указать на отсутствие статей о таких замечательных писателях как Г. Айги, В. Быков, Ч. Айтматов и другие [во время беседы назывались и Ю. Рытхэу, и Т. Зульфикаров, и Афанасий Мамедов. — Ч.Г.]. Многие их тексты создавались на русском языке, их вклад в русскую литературу и вообще в русскую культуру весьма значителен. Но главный источник их творчества — в их национальной духовной стихии: чувашской, белорусской, киргизской и т.д.».

Но разве не создается большая русская литература и нерусскими русскими, воспитанными на ее традициях и вынесенными волнами эмиграций во все части света от США и Канады до Израиля и Германии (примеры — «старый» Набоков, «новый» Бродский)? В Австралии есть даже два союза русских писателей, один — имени Солоухина; а обилие русскоязычных в нынешних странах СНГ, что подвигло Сергея Чуприна к созданию энциклопедии «русских нерусских» писателей! Оттого, что литература эта по большей части создается этнически не русскими, она не перестает быть русской, но требует нового осмысления. Как не вспомнить слова Пушкина о том, что мы ленивы и нелюбопытны? Во-вторых, не забудем, что демонстрировавшийся в советские годы русскоязычными националами уровень критического отношения к тоталитаризму в ее национальных облициях был даже выше, чем это позволялось собственно русской литературе — речь, разумеется, о ее бытовании легальном, а не «тамиздатском», где она — достаточно вспомнить Шаламова и Солженицына (не говорю уже о «русском зарубежье») — была эстетически непревзойденна в отрицании, в частности, деспотии.

Парадоксально, но отношение к русскоязычным писателям было и остается до сей поры размытым, обретается вне художественной самооценности творчества, что с новой остротой дало о себе знать в этноконфликтные 1990-е годы, после утраты общего пространства некогда единой советской *многонациональной* литературы.

К этому следует добавить усиление миграционных процессов на территории бывшего СССР, эмиграции в США, Германию, Израиль зачастую именно русскоязычной художественной интеллигенции этнически не русского или смешанного происхождения¹¹. И возникает более чем странная ситуация, когда сугубо эстетическая проблема нередко переносится в область политико-идеологическую, художественный менталитет уступает место менталитету этническому¹². Дает о себе знать диктат политики. Диктат привычного.

Отступление: о собственном опыте нестыковок в процессе самоперевода с русского на азербайджанский. Суждения с опорой на практику, по большей части отрывочные, к тому же навеяны они недостижимыми для меня размышлениями Владимира Набокова о *взаимной переводимости двух изумительных языков*, его родных английского и русского (выписал когда-то для себя из постскрипума к русскому изданию «Лолиты»): «*Телодвижения, ужимки, ланд-*

шафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов, все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам, противоестественным страстям — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма...»

6

Я во Франции, год 1984-й, ведать не ведаем, что скоро грянет перестройка, а что случится потом — и во сне не приснится. И Леон вдруг спрашивает, знаю ли я чувашского поэта Айги? И, удивленный моим незнанием, говорит: «Это же один из больших поэтов нашего времени, издан на многих языках!»

Я смущен: имя мне, специалисту в области национальных литератур, незнакомо! Додумываю укор в глазах Леона, но у нас не вышло ни строки, все книги — за рубежом: в Мюнхене (1975), а в предисловии к его русской книге «Отмеченная зима», выпущенной во Франции (1982, знаменитое издательство «Синтаксис»), академик Пьер Эмманюэль называет Айги «крупнейшим поэтом XX века». Леон упреждает меня, уловив мои сомнения: «Нет в них ничего антисоветского, я не стал бы такое переводить, издан, к тому же и в странах соцлагеря, раньше, чем в капстранах: в 1967-м, например — в Чехословакии».

По возвращении в Москву звоню поэту, приглашаю в гости, передает толстенную папку со стихами. Читаю с удовольствием, восторгаясь новизной, записано у меня в тот же день: *«Магический смысл букв. Культ слова. Иррационализм. "Шаманство"»*. Не похоже ни на что, читанное ранее. Но, придирчивый, ищу подтексты, хочу понять, почему у нас не печатают? Да, строки сложны, нужны интеллектуальные усилия, чтобы добраться до сути. Но нельзя не отметить (обдумываю тезисы внутренней рецензии для начальства в издательстве «Советский писатель»), что никаких «анти» в стихах нет, автор не прячет, так сказать, кукиша в кармане. С рецензией на рукопись прихожу в издательство (моя инициатива, к счастью, с ходу не отвергается), чтобы убедить, что непонятность стихов обманчива, что никакой крамолы. Мой козырный тезис — о «влюбленности национального поэта в русское слово, точно впервые открыл чудо для себя, любит им, даже одна русская буква "а", помещенная в середине листа, обретает характер стихотворения». «Побойтесь бога, ну какие это стихи?» Привожу доводы: признан миром! «Вот именно!» Ну да, поощряемое там направлено против нас: издевка над русским словом, здравым смыслом. Одной моей рецензии, конечно, мало, говорю, предлагаю послать «авторитету» в поэзии Евтушенко, с кем Айги учился. К чести Евтушенко, он дал хороший отзыв (он станет вступительной статьей к сборнику Айги «Здесь», 1991 г.), написал, что был в студенческие годы потрясен его подстрочниками, в них была сила, близкая к раннему Маяковскому: *«Я как звонкая монета, затерявшаяся в кармане времени среди скомканных ассигнаций, и мне не с чем сталкиваться, чтобы звенеть»*.

Казалось, вопрос с изданием решен, но... В силе режим, не позволяющий туманности, и не один год пройдет, прежде чем восторжествуют «перестроечные» принципы и сборник «Теперь всегда снега» выйдет в «Совписе» (1992).

Суждения мои о «радостной игре русскими словами» не беспочвенны, отражают глубинные процессы, реализуются в творчестве «русских нерусских» писателей, здесь я мог бы назвать кроме чуваша Айги грузина (или армянина?) Дмитрия Авалиани, редкостного мастера палиндрома, анаграммы, тавтограммы. Приведу его панторифмы:

«Вот воск — решение Икара. Вот воскрешение и Кара. Избыт и я Из бытия. Не бомжи вы, Небом живы!» Автопалиндром: *«Авалиани — Вал, Лавина и Лава»*. Недаром находили близость его — не формальную, а по сути — Андрею Платонову, мастеру букво-слово-творчества. И меня хлебом не корми, дай буквенной игрой выразить экспрессию неприятия всего маразматического, фанатичного (что вызвало протест у редактора): *«Как тут не подивиться фортелям фортуны? Да, да, высочайшие вершины фарса! глубочайшие пропасти фарисейства, липкое месиво фразерства! эфемерные триумфы! фузейная пальба! как фатумных фанатиков оспорить? фимиамы, как облачко, фуффы!»* («Фатальный...»)

Есть графический палиндром у Вознесенского: *«а луна канула»*.

Поэзия Айги, русского нерусского поэта, тем временем шествовала по миру: в 1994-м, 1-го декабря (за 12 дней до моего следующего приезда в Париж) состоялся его «Международный вечер» в Бобуре, культурном центре Парижа, где располагается Музей современного искусства. О вечере прочел в «Русской мысли»: его стихи, помимо русского и чувашского, звучали на французском, английском, датском, португальском, польском и китайском, «декламация на китайском вызвала особенный восторг публики». Кроме названных языков его поэзия существовала на немецком, венгерском, чешском, словацком, румынском, армянском, сербском, литовском. Выступали англичанин Питер Франс, датчанин Трель Андерсен, француз Леон Робель (ведущий вечера), бразилец Борис Шнейдерман, поляк Виктор Ворошильский, китаец Сон Линь. Отмечались «роскошная бедность» его языка, «мистическая сила» и «трагический колорит» поэзии; говорилось, что ныне он становится «одним из признанных патриархов авангардной поэтической культуры» в России, освобождаясь от эпитетов «неофициальный», «нонконформистский». Горечь Айги — поэты российские его не любят, «разве что иностранцы», но важны для него «внутреннее состояние», русская боль и русские переживания.

Кстати, Борис Пастернак после знакомства (1960) с подстрочниками посоветовал Айги писать по-русски. Известно, что сначала (1949) он писал по-чувашски, выпустил сборник «Именем отцов» (1958), и с его подстрочников делались художественные переводы, в частности, Беллой Ахмадулиной («Поезда», «Отдых», «Художник», стихи традиционные: «О, деревня моя, на отлете земли! Я б вернулся под сень твоих добрых дворов, Не отвергнул бы я твоих скромных даров...»). Впервые вышли стихи в «ЛГ» 26.09.61 с напутствием Михаила Светлова — тогда практиковалось «В добрый путь!» известного поэта молодому (Айги к тому же переводил на чувашский русских поэтов — «Облако в штанах» Маяковского, «Василия Теркина» Твардовского). Его собственные «русские» стихи, предложенные как диплом в Литинституте, комиссия забраковала, усмотрев отступление от соцреализма, лишь через год получил он диплом, представив к защите переводы русской поэзии на чувашский.

К слову сказать, было два новаторских взрыва в чувашской поэзии: первый — *чувашский* (классик Сеспель), второй — *русский*, связанный с Айги, по поводу чего он поясняет: «Эксперименты по-чувашски — упрощенные ради доступности; предельные поиски были в сфере русского языка».

Созвучны моим думам образы Вячеслава Ар-Серги (он тоже из *русских нерусских*), в которых удмурт увидел такое незаурядное — и трагическое — явление, как Айги:

В поле чувашском заснеженный / Цвел апельсин золотой.

Пах апельсин тот рябинами / Скрытый от глаз в зверобой.

Бился от боли каликовой, / Плакал он книжной слезой.

В поле чувашском заснеженный / Сох апельсин золотой.

Если б Айги не был широко признан за пределами России, никто б не узнал, в каком необычном срезе открыл он для себя русское слово — на первых порах в виде подстрочника. От русскоязычного творчества родился новый, другой Айги, чьи стихи с «легкой руки» Иосифа Бродского получили потом несправедливое определение «гениального подстрочника, не имеющего оригинала». К Айги в этом смысле больше применимы (таковы, между прочим, автоопределения Пастернака) названия «художник» и «артист»: богатейшая пунктуация поэта сродни нотной записи. Надо различать поэтов языка и поэтов литературы, или иначе: есть масштаб влияния (Бродский), а есть масштаб единственности, непохожести (чуваш Айги, серб Вл. Бурич). Названные поэты-россияне покинули сей мир: общенье душ. Не о том ли стихи Айги?

«...А кончилось тем что оставшийся из них в одиночестве Сидел — посреди дороги (шарахались машины) в молитвенной позе — с воздетыми к небу руками А навстречу шло — стадо студентов (шарахались машины)».

В перестроечные 1990-е годы нас с женой Еленой захватил психоз (обесценился рубль, гонораров никаких, а на пенсию + профессорскую мою зарплату в двух вузах не прожить): загорелись мы идеей организовать, благо позволял дом в городке писателей Переделкино (на постройку перед развалом страны ушли все мои гонорары, иначе б сгорели в галопирующей инфляции), нечто вроде литературного семинара для зарубежных русистов — преподавателей, аспирантов, студентов. Сроком на неделю, два раза в год, осенне-зимний и весенне-летний. Рассчитан был семинар на пять-семь человек. Продумали также финансово-бытовую сторону затеи: проживание в Переделкино с питанием, «в случае необходимости берем на себя получение визы». Разработали программу — формы и виды занятий: курсы по русской литературе (теория, методика изучения, новые явления с акцентом на творчество «русских нерусских» писателей: Ф. Искандер, О. Сулейменов, Б. Окуджава, Т. Зульфикаров, М. и Р. Ибрагимбековы, Г. Айги, Т. Пулатов); практические занятия по русскому языку; проведение «круглых столов», дискуссий, встреч с писателями, литературоведами, критиками — их можно было особо не искать, еще не развалился Дом творчества, да и немало известных писателей арендуют дома Литфонда; литературные экскурсии — и не только по Переделкино.

Скажу, забегая вперед, что ничего из наших прожектов не получилось, виноваты мы, горе-бизнесмены, лишенные какой бы то ни было предпринимательской жилки, и судьба, зная про наш непрактицизм + впечатлительность + бестолковость и много еще чего, уберегла нас от неизбежных нервотрепок.

Да, время хаоса, эйфорический парад суверенитетов, цепная реакция краха всего и вся, кровопролития, этновойны. Нонсенс: независимость, или суверенитет России, но от чего-кого? «Малого» русского государства РФ от «большого» русского государства СССР — так, что ли?

Кавказ... Скопление наречий и вер: на пятачке площади мирно уживаются мечеть, церковь, в том числе протестантская, и синагога, сохранился и действует даже храм языческий — огнепоклонников. А в горах, за уступом скалы — аул с

единственно-неповторимым языком, ни на какой не похожим, а за хребтом, на той стороне холма — племя другое, с иной, тоже уникальной речью. О множественности на земле языков существует немало легенд. Наряду с библейской, что прежде был один язык, а разноязычие — наказание, ниспосланное людям за *вавилонскую* дерзость, дабы не могли договориться, возмнив, что способны возвыситься до Бога, на Кавказе есть и свое объяснение изобильной здесь скученности языков: раздарив, как Сеятель, языки расплотившимся после потопа народам, Он ощутил вдруг усталость (или куда спешил?) и, оказавшись над Кавказом, высыпал на него оставшиеся в путевой суме языки. Легенда в недавнем прошлом воспринималась как оригинальный образ, метафора, ныне она — *символом* реальности. Может, дело не в усталости, спешке (куда Богу спешить?), а хотел, пушусь в наивные рассуждения, испытать кавказцев: *А ну, как себя поведете, человеки, коим дарована Мною жизнь и предоставлено право выбора пути в ситуации* (Он выразился по-ученому) *смешанного многоязычия?*

Время разорвало привычные узы, раскололось единое над всеми небо, не суждено узнать, оборвется ли дорога пропастью, уготованной *стихией*, или упрется в *рукотворный* тупик, чтоб начать сначала. Некогда, в доисторическое прошлое, вспахана была на Кавказе земля, которая держится на *медноногих огнедышащих быках*, и засеяна зубами *дракона*, — может, буйно произросли посевы, дав всходы гнева и злобы? Провалы памяти: утрачено, что есть *истина* и *благо*, а что — *ложь* и *зло*. И не осталось никого, кто бы следовал завету: *не облакайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то время как вы ее знаете, но упрямитесь!* Ощущение такое, что глухой слышит, но с умыслом притворяется, немой таит речь, чтоб застать врасплох, а слепой зрит, симулируя незрячесть. Неотвязна мысль о Ноевом ковчеге — пристал к вершине горы, выступившей из пучины Всемирного потопа, и спасся, дав новую жизнь сгинувшему человечеству. Но если ковчег поднять кормой вверх и устремить к небу, не получится ли (это из стихов *Helen*) Вавилонская башня?

7

За последние годы в мире неимоверно возрос интерес к национальным проблемам в СССР-России, к двуязычию-русскоязычию в художественном творчестве, обращаются с вопросами и ко мне (порой в самих вопросах содержатся ответы), выделяю некоторые:

Почему нерусский писатель пишет по-русски сегодня:

- *чтобы расширить круг читателей?*
- *потому что русский язык — язык межнационального и международного общения?*
- *потому что русский более богатый с точки зрения лексики, стилистики или просто более престижный?*

Отвечаю. Первая причина: русский язык — более родной, нежели свой национальный. Вторая — сегодня, главным образом по инерции, продолжается естественный ассимиляционный процесс вытеснения национальных языков русским, общим для обширного пространства, процесс, начатый в имперские годы и интенсивно развивавшийся в советские десятилетия и только недавно прерванный в республиках, обретших независимость. Даже президенты некоторых нео-государств (Беларуси, Казахстана, Киргизии и других) свободнее изъясняются на русском, чем на языке, объявленном государственным, а, к

примеру, президент Азербайджана проходит ускоренный курс изучения, причем, успешного, азербайджанского языка.

Все другие факторы, перечисленные выше, тоже наличествуют, но они вторичны.

Почему нерусский писатель пишет на своем национальном языке сегодня:

- чтобы усилить развитие и престиж своего национального языка и литературы?

- чтобы оживить традиции и коренные национальные чувства своего народа?

- потому что не хочет ассимилироваться в русской культуре?

Отвечаю. На волне возрастающего чувства национального самосознания возникает приоритет родного языка, а также естественное стремление продолжить литературные национальные традиции общения со своим читателем. Очевидно, самовыражение легче и лучше реализуется на родном языке.

Сегодня азербайджанский язык действительно отвечает на все функциональные требования жизни в республике или все-таки больше распространен русский язык?

Да, азербайджанский язык отвечает содержательно и эстетически на все функциональные требования жизни. Но распространена по инерции и русскоязычная литература (тиражи мизерные в обоих случаях). Совсем недавно из десяти покупаемых книг семь были на русском, а ныне наблюдается стремительное завоевание азербайджанским языком культурного пространства (появились новые поэты и прозаики, великолепные публицисты), язык получил конституционно закрепленную возможность развития и саморазвития, в том числе во взаимодействии с богатым лексически и синтаксически турецким языком.

Как предпочитают сегодня писать авторы вашей страны: на русском, на титульном языке или, может быть, на английском, на иностранных языках? Замечаются ли изменения тенденций по сравнению с советским периодом?

Предпочтительность языка определена степенью его родственности пишущему, при этом тяготение к национальному, титульному, будет с годами возрастать (имею в виду не Россию, а отпочковавшиеся от СССР государства), но и к русскому тяга будет еще долго продолжаться, ибо русский — окно во всемирное пространство, а потому начавшее было угасать стремление быть переведенным на русский, чтобы дойти до многих других, возрождается с новой силой. В начале 1990-х в Азербайджане даже думали о закрытии Института русского языка, потому что не было желающих там учиться, а теперь в институт, названный Славянским университетом, — большой конкурс. Об иностранном, прежде всего английском, говорить пока рано.

Одно существенное отступление: проблема языка, на котором пишет писатель, сама по себе никогда не имела существенного значения, было бы стоящее художественное произведение. А если и имела, то только лишь в связи с принадлежностью к конкретной национальной литературе. Прежде идеология была заиклена на этно-национальной доминанте (которая легла, кстати, в основу и даже определила субъектную структуру государства, из-за чего СССР, убежден, распался: кстати, в России отражается и повторяется такая же этноструктура), и писатель непременно привязывался к определенной национальной литературе. Сегодня этнопривязка — редкость, но в регионах национальных — вопрос болезненно-актуальный (я выступал оппонентом на защите докторской диссертации: в ней наряду с башкироязычными авторами были и русскоязычные, но об этом стыдливо умалчивалось: все были отнесены к башкирской литературе).

Многие ли переводят сами свои произведения? Почему они предпочитают перевести сами, а не дают работы профессиональному переводчику? У вас переводческая школа была всегда очень развитой. Насколько еще популярен подстрочник?

Из писателей-автопереводчиков в советские годы были белорус Василь Быков (покойный), грузин Чабуа Амирэджиби (покойный), молдаванин Ион Друцэ (ныне здравствующий, слава богу, изредка видимся, чтобы обменяться парой-другой фраз; в очередной раз, если увижу, непременно спрошу). Переводческая школа переживает кризис, раньше это было, помимо всего прочего, и финансово-прибыльным занятием, и политически престижным делом. Подстрочник почти умер: прежде за него платили Союзы писателей республик, то есть расходы брало на себя государство, а теперь они, если и осуществляются, то за счет автора.

Что для вас автоперевод? Просто перевод, по возможности ближе к оригиналу, или пересоздание, т.е. автоперевод дает вам возможность второй раз написать текст, переделать его? В этом отношении А. Ким пишет, что автоперевод это своего рода импровизация над одной партитурой, а В. Козько утверждает, что это «продолжение работы с рукописью, продолжение писания, создания». Опыт самоперевода распространенный или исключительный? Переведенные работы — это другой оригинал, вариант первого текста?

В процессе автоперевода возникают такие понятия как диктат языка, его традиций, смыслового, эстетического, эмоционально-чувственного поля, и — диктат читателя, его этноопределенность, и потому как бы создается новое произведение. Тут прав и Ким (что это своего рода импровизация над одной партитурой, но сам он, по-моему, на корейский свои книги не переводил, рассуждает теоретически), но прав и Козько (что это продолжение работы с рукописью, иное ее качество).

Мой опыт: в результате автоперевода рождается новый оригинал, который существенно разнится с первым и сюжетно (новые линии, даже герои, диктуемые новым адресатом и культурно-этико-духовными традициями), и композиционно, и структурой фраз, и построением диалогов. Сочиняя на русском, невольно работаешь в русле художественных традиций именно русской литературы.

Сделаю небольшое отступление. Повесть русского-нерусского писателя Максуда Ибрагимбекова «И не было лучше брата», которая сделала автора в одночасье крупным современным явлением, впоследствии была переведена азербайджанским писателем на национальный язык, но вот что в итоге получилось: русскоязычный оригинал, воспринимавшийся как своеобразный перевод с национального, обретя национальную оболочку, стал сам восприниматься как *перевод*. Казалось бы, устранены противоречия между языковой фактурой и национальным содержанием (герои — азербайджанцы, жизненные коллизии — типично восточные), но *национальное*, ярко улавливаемое и ощущаемое на *инонациональном*, вдруг в оболочке собственного национального языка утратило национальную специфику.

То же имело место и в случае с повестью Чингиза Айтматова «Джамиля». Созданная на русском языке в русле развитых традиций русской и, в целом, общеевропейской литератур с их богатым опытом изображения процесса раскрытия личности, на которые главным образом изначально ориентировался писатель, повесть обозначила новаторское решение важнейшей для Востока *проблематики* женской судьбы. То есть произведение в русскоязычном одеянии

оказалось самодостаточным для отображения ломки патриархальных устоев киргизов, убедило в достоверности конфликта. Но адекватного воссоздания его на киргизском языке оказалось недостаточно: требовалось не скопировать русский оригинал, а перелопатить до основания психологические его глубины, взорвать изнутри многослойные пласты национальной действительности, провести с языком колоссальную работу под стать, к примеру, Достоевскому, что было бы возможно при условии, что национальный язык есть язык художественного творчества. Так что Чингиз Айтматов *русский* писатель мирового класса и крупнейший деятель киргизской культуры. Дабы, повторю, произведение с острой национальной проблематикой слома многовековых патриархальных устоев воспринялось органично национальным читателем на национальном языке, необходимо было создавать новый оригинал, то есть творить новую художественную реальность на языке этноса.

8

Мононациональная русская классическая литература XIX — начала XX веков (Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Салтыков-Щедрин...) стала мировым явлением. И это произошло, что важно подчеркнуть, не благодаря, а вопреки господствующей системе и обществу, к которым она была настроена критически, утверждая ценность человеческой личности и обличая деспотию и рабство.

Накануне русских революций в Российской империи доминирующее положение занимала литература государствообразующего, титульного этноса — русская. Многие другие народы были лишены возможности в условиях официальной политики ассимиляции развивать литературу на своих национальных языках (за исключением принявших господствующее в стране православие якутов, удмуртов, алтайцев, хакасов...), по традиционной терминологии тех лет они числились «иногородцами», точно пришлые, а зачастую не имели и самоназвания. Тюркоязычные народы в России (свыше 30-ти) назывались «татарами», различались лишь по месту обитания: «казанские», «астраханские», «крымские», «сибирские», «кавказские», «закавказские», «тобольские», «кайсацкие», «саянские», «кузнецкие» и т. д., хотя представляли разные этносы: собственно татары, башкиры, ногайцы, алтайцы, хакасы, балкарцы, кумыки, азербайджанцы, казахи, киргизы, тувинцы, шорцы и т. д.

Русские революции 1905 и 1917 годов разрушили имперскую государственность, при этом — вот парадокс социалистической революции — раскололи культуру русского народа, нанесли ей урон, но вместе с тем и раскрепостили нерусские народы России, создали условия для возрождения и ускоренного развития их культур. Нерусские народы получили возможность творить на национальных языках, многие, свыше сорока, обрели письменность. Началось интенсивное взаимодействие и взаимообогащение культур. В итоге создалась многонациональная литература на 90 языках. При идеологических издержках, диктате социалистических догм, засилье цензуры в литературах появились яркие творческие индивидуальности — В. Распутин, А. Вампилов, А. Вознесенский, Г. Матевосян, Ч. Амиреджигби, Р. Гамзатов, Ю. Марцинкявичюс, М. Карим и многие-многие другие.

Русская литература в последующем, XX, и начале XXI века, продолжала активно участвовать в мировом литературном процессе (Замятин, Булгаков, Мандельштам, Цветаева, Хлебников, Набоков, Ахматова, Платонов, Горький,

Маяковский, Солженицын, Бродский, Высоцкий), но уже функционировала как литература многонациональная.

На русском языке, всегда готовом к новаторству формы и содержания, творят на всех континентах земного шара (что пока не стало предметом научного анализа) не только *русские русские* (прилагательное + существительное), но и *русские нерусские*, которые вносят существенный эстетический вклад в русскую литературу, и это в который раз дает мне основание говорить о полиэтничном характере современной моноязычной русской литературы, ставшей поистине мировым явлением.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Могу отослать читателей к своим работам: «Проблема двуязычного художественного творчества в советской литературе». ИМЛИ АН СССР. В сб.: «Единство, рожденное в борьбе и труде». М., «Известия», 1972; «Формы общности советской многонациональной литературы». М., «Мысль», 1978; «Этот живой феномен. Многонациональная советская литература вчера и сегодня». Часть третья: «О двуязычном художественном творчестве в советской многонациональной литературе и кое-какие наблюдения из собственной практики». М., «СП», 1988; статья «Русскость нерусских». Журнал «Вопросы литературы», март-апрель, 2006.

² Леон Робель — автор множества публикаций по русской и советской литературе, французской поэзии, лингвистической поэтике, теории перевода: «Манифесты русских футуристов», «Советская литература: вопросы», «СССР и мы», «История снега» — об образе России во французской литературе, начиная от Анны Киевской и Рабле, до наших дней. Переводчик Горького, Солженицына, Тютчева, Маяковского, Твардовского, Крученых, Кирсанова, Вознесенского, Олжаса Сулейменова, Геннадия Айги, Владимира Бурича, трудов Ю. Лотмана. Замечу, что в годы, когда у нас «спасали» Маяковского от «еврейки» Лили Брик, сестры Эльзы Триоле, жены «французского коммуниста», именно Л.Р. задумал совместно с Институтом Мировой литературы АН СССР издать переписку сестер в оригинале и с параллельным переводом на французский. Реализовалось это через много лет и в другой форме: книги вышли врозь, причем французский перевод, осуществленный под руководством и с обширными комментариями Л.Р., был опубликован в Париже раньше, чем у нас оригинал, к тому же русское издание вышло с цензурными купюрами: убраны были бытовые якобы частности, а также высказывания, могущие обидеть тех или иных деятелей культуры, если живы они сами или их потомки.

³ В 1985 г. в Киргизии был издан сборник «Повести гор и степей», в который были включены, как заявлялось в предисловии, произведения писателей «двуязычной киргизской литературы».

⁴ Робель Леон. «Крыло и туча». Стихи / Перевод Геннадия Айги // Книга в газете «Молодой коммунист». Чебоксары, 1988. Вып. 6. С. 6-7; «Надо уточнить вопрос». Газета «Сегодня», 16 мая 1996.

⁵ Пятый съезд писателей СССР. Стенографический отчет. М.: 1972. С. 100. К этим мыслям С. Залыгин возвращался не раз.

«Когда писатель — киргиз, или грузин, или латыш — пишет на русском языке либо переводит на русский сам себя, он открывает в этом языке новые возможности, обогащает его своим тоже новым отношением к нему, своим взглядом на него, своим слухом к нему». Залыгин С. Литературные заботы. М., 1979, с. 363.

⁶ Кэтлин Парте. Что делает писателя «русским»? («Русификация» русской литературы после 1985 года) // Вопросы литературы. — 1996. — № 1. — С. 84. Случается, русскому поэту Иосифу Бродскому — «великому, чрезвычайному и полномочному послу Ее Величества Русской Словесности» (Ю. Алешковский) — отказывают в принадлежности к русской литературе, и при этом якобы имеется в виду не его национальное происхождение, а *дух творчества*, хотя в основе неприятия лежит все же новомодный нынче *этнический* принцип: «И. Бродский не только не русский, но и не еврейский поэт. Он русскоязычный (и англоязычный) поэт-космополит». И еще: «Поэт, который не служит

русскому народу, а только "самовыражается", не может быть воспринят русским, как поэт русский... Великим — пожалуйста, а русским — нет!» *Ковалев К.* Солнце русской поэзии. Made in USA // Литературная Россия. — № 16. — 1996. — С. 12.

⁷ Впоследствии о Фазиле Искандере говорилось исключительно как о русском писателе.

⁸ Знаменем советского периода истории литературы являлось официально поощряемое стремление писателей, свидетельствующее об интернационализации всего уклада жизни в многонациональной стране, создавать оптимистические произведения об инациональной действительности. Начало этому было положено русскими писателями (очерки М. Горького «По Союзу Советов», роман А. Фадеева «Последний из удэге», грузинские циклы Н. Тихонова, туркменские стихи Вл. Луговского и т.д.); впоследствии размах приобрели книги, написанные «национальными» писателями о жизни других народов, — латыш Имант Зиедонис и украинец В. Коротич — о Таджикистане («Перпендикулярная ложка»), башкир Р. Хакимов — об Азербайджане, Армении и Грузии и т.д.

⁹ А. Эбаноидзе «как грузин, пишущий по-русски», отмечает, что «писать на неродном языке — это всегда примета биографического излома», и называет в этом контексте Владимира Набокова, Джозефа Конрада, россиянина Льва Тарасова, ставшего французским писателем Анри Труайя, грузинского поэта Григола Робакидзе, писавшего на немецком, и что «если проследить биографии писателей у нас в стране, можно обнаружить, что за их русскоязычием обычно стоит какая-то драма, которая лишает естественной возможности самовыражения на родном языке: Айтматов был детдомовцем...» и т.д. Мои наблюдения, однако, позволяют оспорить мысль А. Эбаноидзе. Впрочем, ему, многие годы пристально следящему в качестве главного редактора журнала «Дружба народов» за процессами в т.н. национальных республиках-странах в начале XXI века, виднее, что «нынешний и без того тонкий слой русскоязычных писателей постепенно будет истончаться еще больше». (См. «Слово писателя сегодня звучит шепотом», «Ноев ковчег», февраль, 2006). Но по моим наблюдениям, в Азербайджане и Узбекистане среди азербайджанцев и узбеков наблюдается небывалый подъем добротного русскоязычного творчества.

¹⁰ Может, невпамят, но помню, что в тот момент я почему-то сказал ему о приключившейся в те же дни нелепости: гроб с телом Бродского долго не могли в Италии предать земле — некрещеного не пускало к себе католическое кладбище.

¹¹ За рубежом обрели постоянное местожительство причисляемые к русской литературе многие писатели, назову лишь трех: Анатолия Алексина, Григория Кановича, чья писательская судьба примечательна: первые сочинения — на русском и даже литовском, далее постижение через русское слово национальной темы — о судьбе евреев (известная трилогия «Свечи на ветру»), автора крупной прозы Фридриха Горенштейна. Это подлинная русская литература.

¹² Если исходить из ментальности этнической, что на современном этапе наблюдается в попытках искусственно сузить границы литературного пространства русского языка и *отлучить* от русской литературы этнически нерусских, то к еврейским русскоязычным писателям будут отнесены Василий Аксенов, Исаак Бабель, Григорий Бакланов, Лев Кассиль, братья Стругацкие, Юрий Тынянов, Евгений Шварц, Илья Эренбург, Иосиф Бродский... — списки значительные, и они время от времени появляются в российской прессе *как пособия*, по остроумному определению критика, *для начинающих антисемитов*.

Андрей Рудалёв

Современный разночинец: от падения в пустоту до обретения знания

Роман Сенчин. Чего вы хотите? — М.: «Эксмо», 2013

Пустота

Современный разночинец по-сенчински — житель приморского городка, оживающего только в курортный сезон. Герою повести «Зима» тридцать шесть лет, он нигде не работает, живет тем, что несколько месяцев в году сдает приезжающим квартиру да протирает шезлонги на пляже. Сезон отпусков заканчивается, и начинается время пустоты, безделья — зима. Всё и все в этом городке впадают в спячку.

Чтобы как-то восполнить жизненный вакуум, герой повести каждый день совершает «традиционно бесплодный обход города», уныло бредет по городскому кругу в поисках неизвестно чего. Собственно, поисков никаких и нет, движение абсолютно бесцельно, каждый шаг все больше погружает в топь пустоты. Все, что имеет признаки новизны, пугает: скажем, те же книги на полке давно перечитаны, а покупать новые «страшновато — неизвестно, что там найдешь, под обложкой». Нового, а значит — настоящего практически не существует, есть только дурная неизменяемая бесконечность этого зимнего жизненного круга.

«Зима» — типично сенчинское состояние, зарисовка, исполненная в его «фирменной» манере. В городе ничего не происходит, так же подморожена и человеческая жизнь в нем. В своих фантазиях герой представляет, «как провести этот день, чтобы не получился один в один как прошлый», но это лишь на минуту. Дни, месяцы сливаются и становятся похожими на предыдущие, выстраивая «вереницу бесцветных дней», складывающихся в «пустой год», который тут же отправляется в топку небытия. Даже летняя курортная суета — обман, когда она проходит, то моментально растворяются миражи девушек в купальниках, пляжные радости. Лето — иллюзорное время, особый стероид, который создает иллюзию жизни.

Вслед за минутными фантазиями душа персонажа Сенчина заполняется «кислотой тоски». От тоски, которая «ледяной судорогой сводит грудь», он таращится в экран телевизора, давит в пепельнице окурок, «тащится в туалет», позевывает — постоянно пребывает в инерционной полудреме. Это сомнамбулическое состояние как раз и чередуется с накатывающими «приступами тоски».

Сам город и его обитатели представляются командой затонувшей подлодки. Люди «знают, что не спастись и убивать друг друга бессмысленно. Так вот бродят по кварталам-отсекам. Чего-то ищут, на что-то надеются. Очередное лето дает очередную надежду, пусть слабую, иллюзорную, а очередная зима добывает...»

Пустой город представляется «застывшим, умершим миром», готовится к старению. В городской газете «пустая информация» передовицы, интервью с замом мэра «Работаем в штатном режиме» — как название песни Егора Летова «Все идет по плану»...

Если что-то происходило в этом «городе мертвых» достойное внимания и памяти, то только в прошлом. Это славное прошлое сохранилось в преданиях, в экспонатах краеведческого музея да рассказах экскурсовода. Самые ценные экспонаты давно уже осели в столичных музеях. Раньше здесь был богатый город, были сражения, битвы за него, эпидемии. Жизнь уходила отсюда, чтобы вскипеть вновь. Настоящее же задыхается пустотой, от себя оно оставит разве что «обломки, осколки, мелочи». В советские времена рядом с городом были ракетные шахты — элемент «щита Родины», потом их забросили, оружие ржавеет, люди «глотают радиацию». Хотя и это все, вполне возможно — обман, с которым люди попросту свыклись. Ни во что доподлинно верить нельзя: тотальная пустота стерла границы реального и мнимого.

В повести появляется одноклассница Ирина, работающая официанткой в местном заведении, где даже меню отражает своей типичностью скуку и пустоту: салат «Столичный», солянка, котлеты, пельмени, водка. Ирина тоже иногда впадает в мечты, хочет что-то изменить, хотя бы работу, но остаются лишь призраки этих изменений, которые дразнят, намекают на надежду. Но «лучше бы уж полная безнадега», которая подобна кипящему маслу, брызнувшему в лицо, — заключает автор. Этой Ассоли не дожидаться капитана Грея, вместо него в заведение нахлынет гопота, а Ирина и ей будет рада...

Или директор краеведческого музея Ольга Борисовна. В девяностые годы она была «известнейшим искусствоведом нашего города» и довольно деятельным, но сейчас, «судя по всему, получила она то, что хотела, и успокоилась. Или устала».

Или Наташа, которая также работает в этом музее. Она «хрупкая, возвышенная девушка», а через некоторое время станет той же Ольгой Борисовной, превратится в карикатуру на себя настоящую: «весны для Наташи не наступит».

Все идет по плану... Это и есть план жизни, из холодеющих объятий которого не вырваться.

Разговоры у людей здесь тоже не клеятся, говорить между собой не о чем. Любые изменения возможны только через ложь и в фантазиях: герой представил, что мог бы сказать Ире, что разбогател, мог признаться в любви, предложить увезти отсюда. Но вслух он не в силах все это произнести. Воля парализована.

Единственная мысль, которой герой заставляет себя радоваться, — то, что раньше было хуже: ГУЛАГ, война, тотальный дефицит... Это немного успокаивает, помогает хоть как-то свыкнуться с безнадегой.

После бесцельного пустого городского круга, после всех этих мыслей, с которыми в душу лезет тоска, герой забивается в свою нору-квартиру, запирается в ней, чтобы «влипнуть в кресло. И отлипнуть, когда все кончится».

Вопросы

Героиня второй повести сборника «Чего вы хотите?»¹ 14-летняя Даша, старшая дочь писателя, который пишет о «сегодняшней жизни в России». В этой жизни и пытается разобраться девочка — чтобы найти в ней свое место. У нее еще все впереди, а потому и повесть состоит в основном из вопросов, сомнений, попыток поиска ответов. Даша еще не вступила в дурную бесконечность бессмысленного жизненного круга, и у нее есть шанс его избежать.

Шесть глав повести рассказывают о шести днях ее жизни с декабря 2011 года по декабрь 2012-го, когда протестная активность в Москве достигла точки кипения. Тогда споры, разговоры, иногда переходящие в ссоры, о политике были перенесены ее родителями домой, на кухню, практически как в романе Сергея Шаргунова «1993», повествующем об обычной семье на фоне известных октябрьских событий.

Даша занимается в музыкальной школе, после занятий на пианино перешла в класс фагота, так как, по словам мамы, это перспективнее — фаготистки наперечет. Профессор как-то сказал, что в ее возрасте идет построение, моделирование будущей жизни, «потом будет поздно, все закладывается сейчас». Может так случиться, что придется всю оставшуюся жизнь заниматься нелюбимым делом, а «это — страшно». Но как начинать строить свою жизнь, когда все происходящее вокруг рождает массу вопросов, а то и просто пугает?

Даша переживает непреходящее состояние тревоги. Кругом разговоры, что все рухнет, что Россия погибнет. Смакуются трагедии, вырастает ощущение повседневной угрозы. «Россия гибнет, народ вымирает», русский народ «почти исчез как единое целое», у него нет никакой цели, ориентиров, происходит «покорение России». Ощущение, что герои «Зимы», обретшие голос, поют-завывают вьюгой в унисон. Но при этом — внешне все благополучно, да и их семья стала жить лучше.

В восприятии многих Россия перешла в разряд «ничто». На дне рождения Дашиной мамы дядя Коля сказал, что «нету России... Точнее, людей, народа. Жизни нет...» Девочка сама замечает, что о стране говорят так, «будто Россия ничто!» Это экзистенциальное переживание пустоты, личной потерянности все переносят на страну. Но та же Даша считает, что «География России», которую она сейчас проходит в школе — это скучно. Раньше, когда изучали неизвестные, далекие земли, было наоборот.

Папа утверждает, что в русских людях иссякла пассионарность, преобразующая деятельная энергия. Люди чувствуют бесконечную усталость. Место реальной, настоящей жизни заняла политика, которая неизбежно всех разъединяет: «Все поносят друг друга, все друг другу враги». Даша тоже наблюдала за протестными акциями, политическими сюжетами в интернете, но ее от этого клонило в сон. Вроде бы кипение жизни, ее апофеоз, но это такая же иллюзия, как летнее подобие жизни в курортном городке «Зимы».

Героиня повести периодически получает грустные письма от своей сверстницы Алины, с которой летом познакомилась на Кипре. Алина живет в «дыре»:

¹ См.: «Дружба народов», 2013, № 3.

в городе Сапожок, в двух часах езды от Рязани. На фото, которые она присылает, «облупленные дома, почти руины, парни с тупыми мордами, лужи во всю улицу...» Ей из ее города кажется, что в Москве бурлит жизнь, и она мечтает, что может так сложиться, что туда переедет, надеется на те самые алые паруса, которые изменят жизнь.

Все вокруг мыслят практически так же, как Алина: что они пребывают в дыре или на краю какой-то гигантской ямы, в которую вот-вот все скатится. Или это последствия «скрытой войны», новой революции, которая приключилась в начале девяностых? По словам папы Даши: «Ничего еще не закончено, и в любой момент может случиться новый смерч». Разлитый хаос лишь набирает силы.

Однажды Даша наткнулась на рассказы папы про «цепь одинаково мертвых дней» и «черные мысли героя». Там были «в каждом предложении тоска и безысходность. И обреченность». Отец попытался объяснить ей, что это для того, чтобы народ пришел в себя — разряд электричества для сердца, которое вот-вот должно остановиться. Или просто все люди уже привыкли так мыслить, все попали в цепь этих дней, вписаны в их унылый строй?..

Можно ли в этой ситуации следовать словам профессора, что все ее будущее закладывается в подростковом возрасте, возможно ли в состоянии хаоса что-то закладывать, что-то планировать? Как относиться к словам о нелюбимом деле, если даже мама говорит, что никогда бы не стала националисткой, но все вокруг подталкивает к этому? Да и что ей закладывать, если все вокруг только критикуют, но не говорят как надо, ни папа, ни дядя Сережа, который тоже считает, что главная беда в отсутствии «внятной программы будущего». Дядя Сережа выступал на митинге, но в то же время он не видит в этих акциях смысла. Собрался народ, поговорили, покричали, «но — как в пустоту». Свои действия он оправдывает тем, что «надо же что-то делать». Про необходимость цели Даша тоже уже много раз слышала, но и это слово уходило в пустоту, так как не наполнялось содержанием.

Вообще будет ли это самое будущее? Ведь это должно быть нечто иное, чем настоящее. Или будущее — это только инерция настоящего, длящееся неизменяемое настоящее, с вопросами, которые никогда не будут разрешены? Может быть, проблема просто в том, что люди пустили холод зимы себе в грудь и уже сами не верят в его — будущего — возможность? Даша ловит информацию о наркотике «крокодиле», от которого тело человека разлагается, в школе одноклассницы говорят об апокалипсисе, о планете Нибира, которая вот-вот готова столкнуться с Землей. Или беда в том, что все живут в выдуманном мире, прикрытом покрывалом внешнего благополучия, с одной стороны, а с другой, — погружают себя в поток негативистского восприятия, нигилизма? И тот и другой подход лишает человека чувства реальности, они свидетельствуют о его растерянности и потерянности, о том, что он попросту блуждает впотьмах.

«Чего вам всем надо? Чего вы хотите?» — завершает повесть крик Даши, рожденный от соприкосновения с пустотой. Она напросилась с родителями на протестную акцию, чтобы самой все увидеть и понять. Но и там все тот же шум, те же бесплодные и бесцельные эмоции, только умножающие ощущение пустоты, что и в интернете, в телевизоре, на кухне. Кругом — система подобий (и часто — мнимых), сплошные вопросы и ни одного ответа.

Знание

Вся надежда на чудо. Так всегда. Чуду, которое создается из обычных, но не вписанных в общую логику поступков, посвящена третья повесть сборника — «Полоса».

В основу повести положен случай из жизни, который чуть не обернулся катастрофой: 7 сентября 2010 года самолет ТУ-154 совершил аварийную посадку в бывшем аэропорту поселка Ижма Республики Коми, который за годы тотальной оптимизации свернулся до вертолетной площадки. Прототипом героя повести Сергея Шулина стал реальный человек — Сергей Сотников, он все эти годы следил за взлетно-посадочной полосой.

Шулин — последний начальник аэропорта. Приехал в поселок Временный по распределению в начале восьмидесятых, когда там все развивалось, «все было отлажено, отстроено, и казалось, что так и будет течь жизнь». Временный был основан в тридцатые годы, своим возникновением он обязан этапам заключенных. Постепенно поселок развивался, приобретал цивилизованный вид — и тут девяностые...

Кстати, вопрос о собственном будущем у Шулина не возникал еще в детстве: он «знал», что станет летчиком, однако медкомиссия перечеркнула его «небесную» карьеру, поэтому он выучился на техника. Но со временем Шулин превратился в своеобразного чудака с «пунктиком в голове». Он продолжал следить за своим хозяйством, даже тогда, когда оно, по сути, умерло.

Через год после приезда во Временный Шулину выделили квартиру. Женился, вскоре родилась дочь, а потом сын. Жил «обыкновенной жизнью обыкновенных, как тогда говорили, советских людей. Без роскоши, но и без ощущения припертости к стене». Было понятное и прогнозируемое будущее, четкие ориентиры. Он знал, что так будет и впредь. В его воспоминаниях это время так и осталось светлым и счастливым.

Потом отлаженная и отстроенная жизнь разлетелась, «бахнула», все стало проваливаться в «яму разрухи», хотя и было ощущение, что трудности временные, что все восстановится и катастрофа не произойдет.

Но временные трудности затягивались. Бросить все и уехать к детям не позволяло чувство стыда, поэтому и остался. Все годы разрухи Шулин защищал взлетную полосу, очищал ее от кустарника, даже когда аэропорт закрыли и оставили только вертолетную площадку, даже когда его самого перевели на договор в 2008 году. Пустое здание аэропорта наполнили призраки былых воспоминаний. Шулин считал, что «пусть уж могила, но не пустое место». За этой могилой он и ухаживал все годы. Пустота страшнее всего, она не дает шанса...

Позже, когда здесь приземлился пассажирский лайнер и была предотвращена большая трагедия, спасены десятки жизней, про Шулина стали говорить — «как знал». Через знание иррациональное, интуитивное, твердую уверенность в необходимости стать на пути распада, катастрофы — произошло настоящее чудо.

Разруха — морок, то, что кажется реальностью — на самом деле является иллюзией, которая обступает человека. Преодоление этого состояния — особое

испытание на крепость, задача которого — не изменить предназначению, не попасть в сети пустоты.

«Разные времена родина наша переживала, и оказывалось, что прав тот был, кто сберегал» — сказал начальник авиаотряда на своих проводах на пенсию собравшимся коллегам, которые в годы, когда шло развитие, осваивали пространство, делали его «не медвежьим». Вот и теперь остается только надежда на возрождение.

«Цели у людей никакой. Одна цель — охранять свою ограду, пополнять припасы в погребе и холодильнике, а что вокруг — никого не волнует», — рассуждал Шулин, отправляясь на встречу с премьер-министром. Он вышел за пределы своей личной ограды. Ему повезло.

«Что будет с территорией, на которой никто не останется?» — еще один вопрос, занимающий Шулина во время поездки в Москву. Он наблюдает исход людей. Пока еще они прибывают во Временный из северных поселений, но вскоре начнут уходить и отсюда, а место поселений займут вахтовые поселки. Этот процесс не остановить действиями одного человека. Нужна воля общества, которое должно преодолеть пустоту, обрести цель, выйти, как Шулин, за пределы своей ограды, иначе в пределах ограды и останется, пока не ляжет в ней под землю насовсем. Но и этого мало: необходимо переформатировать саму систему, ведь в логике той, которая была навязана государству в девяностые, такая страна как Россия попросту невыгодна, нерентабельна, является неконкурентоспособной. В этой логике ее необходимо оптимизировать: аэропорт свести к вертолетной площадке, которая тоже вскоре будет не нужна, ведь рано или поздно иссякнет жизнь в поселке Временный, сам он уйдет под землю... Это осознание — его крест, без которого жить намного легче и проще. Теперь остается ждать изменений, а они будут «в одну из двух сторон»...

Что бы ни говорили о мрачной прозе Сенчина, наполненной безнадеей, но в ней всегда есть свет. Как в пасмурную погоду с беспросветно темным небом — когда надо сохранять знание о том, что над этими тучами — солнце. Погружаясь в глубины безнадее и увлекая за собой читателя, Сенчин, так или иначе, намечает выход: преодолевать пустоту, карабкаться из ее ямы. Сталкивая героев и читателей с ситуацией обреченности, он пытается спровоцировать крик протеста, ведь здесь все просто: либо ты борешься, либо свыкаешься с обстоятельствами и начинаешь влачить существование тени. Показывая обволакивающую современного человека пустоту, писатель надеется мобилизовать его на борьбу с ней, встряхнуть.

Отец-писатель, пытаясь реабилитироваться перед Дашей, которая раскрыла его книгу и наткнулась на рассказы, полные тоски и безысходности, сказал, что это для того, чтобы народ пришел в себя — совершенно по-гоголевски. Сенчин зреет для большого художественного полотна о современной России. Новый сборник его прозы «Чего вы хотите?» — предчувствие эпоса.

Николай Багратович Никогосян

Если вы, идя мимо высотного здания на площади Восстания (Кудринская площадь ныне), построенного в 50-х годах прошлого века, посмотрите вверх, то увидите скульптуры, сделанные еще молодым скульптором Николаем Никогосяном.

Необычайно яркий, сильный, обаятельный человек, блистательный Мастер, отличающийся от многих своих современников многогранностью таланта, независимостью суждений и поведения, который в образных, страстных выступлениях на обсуждении выставок и собраниях Союза художников говорил то, что думает, а это было редкостью и смелостью не только в те времена.

Мне хочется, чтобы вы слышали его слова, поэтому я частично привожу его рассказ о себе.

«Моя стихия — скульптура из камня. Я родился в Армении, каменной стране, которую часто называют страной потухших вулканов. Мои предки воздвигали из камня прекрасные храмы и даже ухитрились высечь церковь из скального монолита (знаменитые храмы Гегарда). Может быть поэтому меня тянет творить в камне, тут я чувствую себя, как рыба в воде. Когда я получил заказ на скульптурное оформление высотного здания на площади Восстания, скульптуры на нем предполагалось выполнить из цемента. Я настоял на том, чтобы фигуры были из более дорогого материала — из камня, добившись сокращения сметы путем уменьшения их числа (12 вместо 16, из которых 6 повторялись дважды). В этих фигурах я несколько утрировал формы, учитывая особенности их восприятия снизу и на фоне неба. Я также потребовал от каменотесов грубой обработки камня троянкой, чтобы издали поверхность скульптур казалась более живой, не "зализанной"».

У Николая Багратовича удивительная, как мне кажется, судьба. Он был знаком с замечательными людьми нашей страны. Делал портреты М. Плисецкой, Т. Макаровой, А. Хачатуряна, М. Налбандяна, Е. Симонова, Н. Аринбасаровой и многих, многих других. Это и бронза, и дерево, и большие фигуры и медали, и прекрасные монументы, такие, как комплекс «Памяти погибшим» в родном селе скульптора в Армении или «Армянская земля» — выразительная фигура из гранита. Каждый портрет — это попытка проникнуть в мир своей модели, и поэтому каждая работа уникальна по своей трактовке и выразительности, и рассматривая их как бы читаешь биографию человека. Товарищи по цеху редко высоко оценивают произведения своих коллег, но когда я читала книгу отзывов с последней выставки Никогосяна, не могла не отметить

прекрасные слова о его творчестве. Приведу запись из этой книги известного скульптора более молодого поколения — Георгия Франгуляна.

«...Выставка замечательна тем, что представляет творчество гениального художника. Потрясающая мощь, сила духа, изумительное мастерство, верность своим убеждениям, собственное лицо.

Всегда считал Никогосяна лучшим портретистом. Нестареющий талант! Автопортреты высочайшего уровня!!! "Опусы" современных скульпторов смешны рядом с высокой скульптурой понимания формы Николая Баградовича. Долгих Вам лет, Николай Баградович!!! Искренне восхищающийся Вами. Всегда Ваш, Георгий Франгулян».

В последние годы Николай Баградович создал много живописных работ. Собственно живописью он занимается давно, еще с 1960-х годов, но последнее время это стало его страстью. Я приезжаю каждое лето на традиционную выставку художников в Тарусу и вижу всегда новые, свежие, яркие работы нестареющего Никогосяна.

В центре Москвы находится Дом-музей персональных работ Н.Б. Никогосяна, созданный по проекту Эразма Пепоняна, который в 2008 году за эту работу получил премию — за «качественную архитектуру».

Удивительный четырехэтажный дом с выставочным залом, парящим над землей, пронизанный светом и теплом. И там висит замечательная живопись, а некоторые холсты стоят, дожидаясь, своей очереди располагаться на стене. А также расставлены скульптуры, удивляя своей разнообразной пластикой. А самым главным, что я увидела, осматривая все эти сокровища, была завернутая в тряпку скульптурная голова для памятника С. Капицы, над которой работает в последнее время мастер.

Жизнь продолжается. Он полон сил, желания работать, и это самое потрясающее впечатление от наших встреч. Вот что пишет сам Николай Баградович: «Я чувствую, что мне дана от Бога сильная творческая энергия, свойственная моей натуре. Способность к постоянному обновлению творчества и умение хранить верность идеалам, большая физическая сила и моральное мужество».

Татьяна НАЗАРЕНКО



Николай Никогосян

В ЗАЛЕ ДОМА-МУЗЕЯ Н.Б. НИКОГОСЯНА



Николай Никогосян

АВТОПОРТРЕТ



Николай Никогосян

ОТЕЦ. 1961



Николай Никогосян

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. 1973

Полутени полураспада

Рубрику ведет Лев Аннинский

— Никто не знает, как избавиться и возможно ли спастись от этой чумы.

Владимир Бутромеев. Земля и люди

Если вы помните, как лет пятнадцать назад Владимир Бутромеев прошумел бурлескной повестью «Корона Великого Княжества» (журнал «Дружба народов», премируя белорусского автора, назвал его труд романом-мистификацией), так вам и новое огромное полотно Бутромеева «Земля и люди» поначалу покажется (уж точно в основной его части) чем-то в том же духе и жанре: умопостигаемые рассуждения о смысле существования прихотливо чередуются с умопомрачительными эпизодами из жизни мужиков и баб Погромного Двадцатого века, Достоевский дрожащим пером пытается вживить в эту жуть свои мистические предчувствия, Толстой тщетно силится охватить и осмыслить судьбы народов, эти усилия вновь композиционно обрушиваются — в древнюю мудрость, в Рим или Персию, к Одиссею и Навсикае, откуда автор возвращает вас в причудливую вязь, перевитую лесными тропами, ползающими по ним змеями и упоительным народным враньем про то, чего никогда не было и не будет.

Хотя и было, и будет.

Вы что, думаете, будто Сталин умер своей смертью у себя на даче в марте 1953 года (ровно за две недели до того, как Бутромеев появился на свет, — чем, может быть, и объясняется его интерес к этому персонажу, как если бы дух одного переселился в повествователя)?

Нет, Сталин не умер своей смертью. Его убили.

Кто убил?

Например, Хрушев. Чтобы опередить Берию, который хотел сделать то же самое. Или Жуков — за то, что Сталин «приказал отобрать у него два отреза хорошего шерстяного сукна». Или Рокоссовский — за свои маршальские обиды. Или Твардовский — от обиды за своего сосланного отца. А Стефка...

Стефка тут реальнее всех, но она с другого конца повествования. А насчет этих, перечисленных, они действуют смутно, как какие-то полутени; Бутромеев делает примечание, что это персонажи полностью им выдуманные, совпадения их фамилий с фамилиями исторических лиц случайны. Стефка же персонаж неслучайный. Как она проникла к вождю народов с целью его убить? А дала понюхать часовым колдовские цветочки из тайного венка — одуревшие часовые ее и пропустили. А научила Стефку колдовству ведунья Параскеевна из Рясны.

Рясна — вот настоящая, невыдуманная реальность: родная деревня Бутромеева. Вроде бы на карте место незаметное. Но важное: точка, в которой Белоруссия переглядывается с Польшей и Россией, место, где во времена оны Петр Великий бил шведов, где Раевский на несколько дней остановил Наполеона, где спокон веку

селились «порубежники»: русские ополченцы, охранявшие границу, и раскольники, через эту границу бежавшие, а еще и евреи, которым границей назначили черту оседлости. Все тут! И всегда так!

Стиль, в котором Бутромеев описывает Рясну, пахнет стариной и землей, на столе хлеб: не буханка, а бохан, молоко — не в кувшине, а в горлаче. Фольклористы и этнографы оценят! И словарь, ритм, явно подслушанный в перебрехе односельчан: «Жена, девка, все знали, что выходила замуж девкой, никто не успел "спортить", хотя и говорили все с четырнадцати лет "во ета будить аторва, будить дык будить"».

Но не в том только важность рясненской жизни, что старина дышит в речи и молоко сберегается в горлаче, — а в том важность, что из этой точки пространства открывается для Бутромеева вся Вселенная. Рясна — точка, из которой видны не просто ближние соседи, но края мироздания. И края обозримой истории.

Ручей, журчащий у стен замка, в котором живет старушка-травница, это в своем верховье — Сож. «Тот самый Сож, на берегу которого некогда приостановились два брата Родим и Вятко со своими родами после долгого пути с берегов Дуная. Вятко повел своих дальше, а Родим остался. Сож впадает в Днепр то ли за Гомелем, то ли не доходя до него, а по Днепру недалеко и до Киева, а уж дальше — Черное море...»

Страны света перекликаются в Рясне не просто в топографическом смысле, а в мистической значимости. Запад и Восток.

На Западе — «трудопослушная Европа, с ее черепичными крышами и лязганьем станков на фабриках и заводах». На Востоке — «дикая Азия, с ее неизведанными глубинами, таинственно влекущими к себе, но порой просто унылыми и однообразными, как всякая голая и плоская степь».

На Западе — «немец с его железом, добротным инструментом, порядком, аккуратностью и чистотой, ратушами на торговых площадях, Магдебургским правом, грабежами и пожарами войны и убийством всех, кто сопротивляется». У немцев задумано: «часть людей убить, чтобы самим жить на той земле, которую занимали эти люди, а часть заставить работать, чтобы не работать самим, а только присматривать с оружием в руках за теми, кто работает (оружие — винтовки, автоматы, пистолеты — нужно для того, чтобы убить тех, кто откажется работать)». Все понятно.

На Востоке — не сразу поймешь что. То братство всемирное, то погром всемирный. Там — русские. Их не обойдешь и не победишь. «Народ русский победить можно, только ежели он сам друг на дружку пойдет». Непонятно, чем влекомый, он расселился аж до Тихого, или Великого океана и даже одно время добрался до Америки, «до самой промерзшей ее части — Аляски». Живет этот народ на своей земле, но своим считает весь мир и не согласен рабски работать «за штаны и миску супа». До океана дойдет, но не примирится.

И вот идут огромные массы людей на огромные расстояния с запада на восток, а потом с востока на запад. Идут, «по дороге грабя и убивая, вместо того, чтобы научиться лучше пахать и сеять». Идут — «готовые вцепиться друг другу в глотку руками и зубами на краю пропасти, отверзшейся под ногами».

Картина приобретает апокалиптический размах. Тот самый, который читателям Бутромеева может показаться мистификацией. На рясненском перекрестке скопления людей, не знающих друг друга, сменяются в ритме дурной бесконечности, Бутромеев упирается в вопрос, завещанный нам философами тысячелетий, а в России окрещенный проклятым: какой во всем этом смысл?

И поскольку вопрос этот высвечен у Бутромеева в специальных рассуждениях и его ответ на него недвусмыслен, — надо отдать должное эпическому романисту, замахнувшемуся на глобальный портрет мироздания.

«Никакого смысла!

То есть как это никакого? Как же так может быть? Почему, за что людям суждено погибнуть, умереть?

— Это неизвестно. Возможно, виноват тот старик в белых одеждах, измазанных глиной...

— Боже мой! Боже мой! Ведь это ужасно!

— Да, ужасно. Хотя ужасным все это кажется, только если думать об этом. А если не думать, то это не так и ужасно.

— Так и плыть дальше неведомо куда и неведомо зачем? А красота? Разве она не спасет мир?

— Не красота спасет мир, а ублюдки погубят его.

— Но откуда ублюдки? До них что-то было в этом мироздании?

— Было. Первородное время.

— Что такое время, они знают?

— Этого не знает никто. Время — старуха с выколотыми глазами — сидит в заброшенном сарае на окраине Рясны в затынутом паутиной углу. Время похоже на необъятный, косматый океан, на темную пучину, межзвездную звенящую пустоту, излучающую заволаживающее, серебристое мерцание, никем и ничем не измеримое, — оно, вольно или нет, выпускает из своих глубин человека, и то, что происходит потом, и называется жизнь.

— Но если жизнь — только полутень небытия, то что такое смерть? Возвращение к небытию?

— Что такое смерть, не знает никто. Кто прав: те, которые убивают, или те, которых сейчас убьют, для чего и почему они все это делают, люди не знают.

— А душа? Что такое душа?

— Никто не определит, где находится душа, она владеет телом и влечет тело, источая то зависть, то злобу...

— А тело?

— Тело — высшее творение то ли Бога, то ли непознаваемого и непонятного ни для кого времени, то ли Вселенной, то ли чего-то или кого-то такого, о чем или о ком никто даже и «не догадывается догадаться»... Неизвестно имя его создателя, Бог ли это, Время или Вселенная, которую еще называют природой, но неизвестно имя, без которого, кстати, легко обойтись, а то, что создатель есть, понятно всякому, кто когда-либо задавался этим вопросом.

— Так это тот старик, что измазал в глине свои белые одежды, создавая нас? Этот негодяй слепил нас неказистыми, кривобокими, косноязычными, картавыми, злобными и завистливыми, а потом еще и поставил нас в последние ряды, чтобы не была видна его оплошная неудача. Мы оказались в последних рядах, но хотим-то в первые!

— Первые здесь станут последними там...

— И все это правильно?

— Никто не знает, что правильно, а что неправильно.

— Но как объяснить муравьинолавиное, нескончаемое движение рода человеческого неизвестно откуда и неизвестно куда?»

И еще вопрос, на грани самоуничтожения. Если смысл непостижим, то зачем писать сочинение, которое останется непонятно зачем и непонятно для чего после ухода автора неизвестно когда и непонятно куда?

Станным образом эта самоубийственная характеристика только повышает (в моих читательских глазах) доверие к автору.

Оставив неразрешимые вопросы бытия в «бурлескном» кругу основного текста, автор выныривает из этой неразрешимости и, дав волю своему таланту, описывает жизнь героев реалистично, досконально и беспощадно.

Жизнь — это когда смерть нависает. «Как убили Петра Строева» и «Как убили Авдея Стрельцова» — главы печатаются как Приложение к основному тексту, меньшим шрифтом. Но действует сильнее — непосредственной энергией сцен, написанных со скрытой яростью. В полумраке дерутся насмерть мужики (безымян-

ные красноармейцы, приехавшие убивать жителей по списку, и жители, попавшие в список — имена знает вся округа), — а на крыльце с зажженной лампой сгрудилась семья обреченного: жена, дети мал мала меньше и старики седые — слушают доносящиеся из полумрака звуки убийства, выстрелы и удары — калеченная полужизнь возвращается в изначальное небытие.

И автор возвращается в «топографию» — туда, где вопрос о смысле бытия лучше не задавать, ибо на все вопросы ответ один — Погром.

В 1918 году он возникает прямо из революционного остервенения. Учреждается «ревсельсовет». Составляется список на экспроприацию. Попасть можно и в этот список, и в состав экзекуторов, это уж как судьба ляжет. Мелом метятся дома приговоренных, пометить могут не того, а если того, то белый крест могут не заметить на белой стене мазанки, не различить в полутьме экзекуции. Палачи мешаются с жертвами, можно по ошибке попасть в мясорубку, а можно по ошибке не попасть: оказаться за краем расстрельного шабаша.

Проходит десятилетие, и в 1928 году шабаш возобновляется. Или он и не прерывался? И еще десятилетие спустя, в 1938 году — тот же страх висит над деревней и над хуторами. Погромный год перерастает в Погромный век, проваливаясь в Великую Отечественную войну (которую Бутромеев нигде так не называет, чтобы не вспыхивал Смысл, а называет: «вторая война с немцами», не перепутать бы с «первой», которая официально числится «Империалистической», а на самом деле это все тот же Погром).

Есть ли выход из этой костоломки?

«Никто не знает».

Но у отдельного человека, в костоломку попавшего и пока еще уцелевшего, — есть ли выход?

Это — интереснейший аспект бутромеевского человековедения.

Итак, масса «муравьинолавино» движется по непонятной дороге, плывет неведомо куда, дерется насмерть то ли с врагами народа, то ли со своими, в том же народе живущими.

И вот ответ природы (или Старика в измазанной белой одежде) на этот фатальный «ход вещей» (любимое выражение старухи Параскеевны):

«Каждое поколение зубовцев имеет своего обязательного чудака. Мужика необычайной силы, или редкого умельца, или сочинителя скабрёзных частушек, или пьянчужку, который, перехватив у кабака дармовые сто граммов, начинает искать правду, касающуюся не какого-то случая, а правду вообще как принцип возможной жизни, и уже ничем другим, кроме этих поисков, больше не занимается, не считая необходимым ни пахать, ни сеять, ни косить в сенокосную пору, ни даже ездить в лес за дровами».

Ни пахать, ни сеять? Искать правду? Выпадая в разряд тех бездельников, «ублюдков», которые мира не спасут, а глядишь, и угробят?

И это так не у одних зубовцев или рясовцев в нашем лесном краю, но и в «трудопослушной» Европе! Итальянцы и австрийцы не только трудятся и музицируют, но иногда и дерутся. «Маленький худосочный подросток», попавший в свалку, барахтается в болотной жиже под мостом, его вытаскивают, он становится во главе войска и выигрывает кампанию.

Он «по-прежнему маленького росточка, худой, как подросток. Жена изменяет ему направо и налево, предпочитая мужчин покрупнее». А он?

«Он не замечает этого или догадывается, но делает вид, что не знает, потому что один из любовников жены выхлопотал ему повышение в чине».

И вот эта полутень оживает: человек маленького росточка становится командующим армии, хочет прославиться на весь мир, лезет под пули у всех на глазах и тащит за собой солдат.

Куда тащит? Да по всей Европе, а потом и к нам в Россию. Зачем? Чтобы оправдать те убийства, насилия и грабежи, которые люди и сами готовы совершить, вместо того, чтобы «жать рожь и рожать со своими женщинами детей».

Угадали, кто это?

Бонапарт, пропущенный Бутромеевым через умопомрачение века. Не Погромного еще, но не менее абсурдного.

Так, может, дело не в нем, который тащит других, а дело в людях, которых он «тащит»?

Вот еще тройка портретов таких вождей, которые вместо того, чтобы «жать и рожать», бредят поисками «правды» и идут сквозь человечество — кто с пушкой и «Гражданским кодексом», а кто и с «Капиталом».

«Маркс родился в семье раввина, изгнанного из общины за перепродажу краденого, подделку векселей и за связи с разными темными людьми, по большей части бандитами. Кто его мать — неизвестно...

И вот этот Маркс, несмотря на свой рост, повадился лазить через стену в парк и вести разные сомнительные беседы с красавицей баронессой... Совсем повредился рассудком и начал излагать свои бредовые видения в письменной форме...

Понимал, что, оказавшись он среди приличных людей, его тут же выставят за дверь, да еще для острастки надают по шее. Такое с ним несколько раз случалось. А вот пролетарии могли бы принять за своего...

Пролетарии и приняли:

— Так вот где собака зарыта! Так вот в чем истина! Нас учат, что, мол, необходимо работать, тогда как в Европе уже научно доказано, что нужно не работать, а грабить!

«Поползли слухи, что Маркс — гений».

А может, он был вурдалак? И у него росли копыта?

Тут самое время напомнить, что вымышленные персонажи у Бутромеева случайно совпадают фамилиями с известными историческими деятелями.

Вот еще один такой вымышленный персонаж: по скверности своего характера он доказывает, что «может убить столько людей, сколько не приснится во сне не только Ленину и Сталину, но и всем их подельникам-сотоварищам, вместе взятым».

Оказывается, это Троцкий.

«Сталин не верит Троцкому, называет пустым хвастливым болтуном и в глубине души презирает его. А Ленин верит».

Ленин — персонаж, над вымыслом которого читателям Бутромеева впору и впрямь облиться слезами.

«Он с детских лет ненавидел и Россию, и русских...»

За что?

«Маленький, кривоногий, с уродливой головой карлика, гневно жестикулируя, нервно, словно в легком припадке, дергая левой ногой (это с ним всегда случалось, когда что-нибудь выводило его из себя), с пеной у рта, начал доказывать, что Россия — колосс на глиняных ногах, что она давно уже гнилая.

— Пальцем ткни — и развалится...»

У Бутромеева это сказано Акиму из Зубовки, а не тому полицейскому, который предупреждал Ульянова не лезть на стену. И колосс на глиняных ногах снился скорее Гитлеру, чем Ленину (снился он на самом деле Навуходоносору). Но не буду придираюсь, ибо суть в том, что миллионы людей, бросившие пахать и сеять, слушают, разинув рты.

«Рано или поздно находится кто-то обязательно кривоногий, обязательно с неправильным лицом, со скрюченным, как будто перебитым носом, обязательно с поджатым подбородком, редкой бородашкой, всегда неопрятный, как будто кривобокий, с затравленным, но упорным взглядом — он-то и начинает говорить, что стоящие в последних рядах ничуть не хуже оказавшихся в первых рядах и что все равны и

одинаковы, по крайней мере, так должно быть, и даже если не равны, то должно быть, чтобы были равны — и заканчивается все рано или поздно Погромной ночью».

Неизбежен именно Погром. Главное — построиться в ряды. Желающих хватает.

Так в чем причина умопомрачения? В том, что могутный пахарь, устав пахать, бросил плуг, начал задумываться о правде, стал плюгавым крикуном и ведет простодушную толпу к гибели? Или причина в самой этой толпе? И люди ищут таких проповедников-коноводов, потому что не хотят пахать? И становясь разинувшей рта толпой, перестают быть народом, перестают быть нацией?

Судьбы наций — вопрос, к которому прикован Бутромеев; мысли его на этот счет — самое горькое, что я вижу в «топографическом» романе.

Цыгане и евреи. Два народа, приговоренные Гитлером к первоочередному уничтожению. Пока в России правил царь, ходили к нему проситься на жительство, а вели себя по-разному. Цыгане не расписывали выгод от торговли, а сразу начинали петь, танцевать и играть на скрипках, цыганки сверкали шелком платьев и гремели золотыми кольцами и браслетами. Евреи тоже любили и скрипочки, и золотишко, но старались спрятать, не показывать, что оно у них есть. И мелодии получались другие.

Отчего это? Отчего столь разнo складываются судьбы народов? Оттого, что прокричит им очередной коновод? Или от характера самого народа, складывающегося веками?

Не буду трогать поляков, которым Бутромеев со знанием дела дает характеристики, иногда скептические, иногда влюбленные.

Самая важная (для меня уж точно) тема его национальной «топографии» — русские. Их характер. Их судьба.

Характер как следствие судьбы? Судьба как следствие характера?

«Характерные черты русских следующие. Они ленивы, до многого доходят только задним умом, хотя иногда проявляют необычайную сообразительность и смекалку. По большей части любят выпить, болтливы, хвастливы, в деревнях обычно сидят на завалинках, в городах любят собираться за самоваром и рассуждать о чем-нибудь необыкновенном и очень важном, часто говорят про матушку-Русь, Россию, называя ее Расеей, очень терпеливы, могут снести-вынести все на свете, по праздникам разгульны до безобразия, в работе часто бестолковы, нерасчетливы, суеверны, косны; людей умных и заслуженных не уважают — уважают только странников, пустынников, любят юродивых, власть обходят стороной, стараясь закрыться от нее плечом, не соблюдают законов, вечно попадают в дурацкое положение и растерянно чешут в затылке или, в лучшем случае, смущенно теребят бороденку или скребут подбородок».

И еще важнейшее наблюдение:

«Особенность положения русских между другими народами заключается в том, что все те, кто по разным причинам родились нерусскими, хотят ими, то есть русскими, во что бы то ни стало сделаться и готовы ради этого на всякие ухищрения».

Что это? Портрет, собранный из вековых красок и легенд? Или памфлет, вызывающий к издевке?

Если итоговый портрет, то надо поблагодарить Бутромеева за удачное исполнение. Если же это список черт, чреватых бедой, не менее интересно об этом задуматься.

Так почему нерусские хотят стать русскими? Что им тут светит? А может, русские оттого и сложились как единый народ, что им тут что-то светило? И не потому ли светило, что это был путь сбережения племен, здесь оказавшихся? И если бы другие племена сошлись на этом чистом поле, где нет естественных «топографических» границ, — пусть язык оказался бы другим, и имя (хотя язык и имя — фатально несменяемы в судьбе любого народа), — но характер людей, выживших в таких обстоятельствах, был бы, я думаю, похож на русский.

Так что портрет, исполненный Бутромеевым, может быть сохранен как памятник.

Почему памятник?

Потому что Бутромеев предсказывает русским — исчезновение.

«Россию ожидает гибель».

Для меня этот прогноз настолько запределен, что я не желаю с ним спорить.

Россия не исчезнет. Для меня Россия останется ценностью несомненной, даже если еще раз сменят герб, гимн, официальное название. Если она исчезнет, то я исчезну вместе с нею. Я буду сопротивляться ее исчезновению. И если останется во мне память о жизни, то — русская память.

Никакой распад или «полураспад», пережитый страной при окончании Погромного века, никакие «полутени» переходного времени, пляшущие сейчас в абсурдистских пространствах массовой культуры, не изменят моего душевного состояния и духовного сознания. Даже если все фатально.

— Все фатально, — убеждает меня Бутромеев, — потому что в безумеющем мире никто не сможет сохранить своего места. Своего пространства. Своего клочка земли. Вот и отчаиваются люди, надеявшиеся оградиться от общей непредсказуемой чрепослосицы. И не потому решаются они бросить землю, что какой-то умник, вылезший из постели своей законной баронессы, пускает по Европе призрак, и призрак этот бродит, сметая ограды, межи и заставы, — а потому что сама земля, как вдруг чувствует пахарь, не может вынести такое количество пахарей.

Это смутно чувствуется в «топографическом» романе: мужик, не ведая почему, вдруг прерывает это тянувшееся от отцов-дедов-прадедов однообразие и уходит прочь, или, как по-рясенски формулирует Бутромеев, в «прочки». Туда, где его ждут Ленин, Троцкий, Сталин, а также Маркс и Наполеон.

А если это и впрямь фатально — оскудение пахотного клина в масштабах Рязни, России, Европы и всего мира? И если голод подстерегает всех?

Ученые, правда, полагают, что все-таки продержимся. Правнук Столыпина, Николай Случевский подсчитал, что Россия сможет прокормить не только себя, но еще полтора миллиарда едоков.

А если нет? Если пахать будет нечего?

Троцкий в романе Бутромеева «рыбалку любит еще больше, чем убивать людей».

Спасение — рыбалка?

Апостолы, которых окликал Христос, тоже любили рыбалку...

Summary

The Golden Pages

In this issue there are presented the brilliant poems by Evgenij Evtushenko about Georgia and his masterly translations of the poems by Shota Nishnianidze about Ukraine. The wonderful Georgian writer Nodar Dumbadze's prose is reread from today's point of view by Danila Davidov.

Tamta Melashvili. Children's Rhyme. Translated from Georgian.

This is a piercing long short story. Very honest. Very anti-war. Though there is no war in it — no victories, no defeats, even not a single short. Nevertheless the modern war which probably may be called an "interethnic conflict" turns out to be nearly its main character. The town is not bombed, the battles are going somewhere not far away but the war has already saturated the everyday life of all its inhabitants. And maybe the story is particularly shilling because the author is a very young woman and her characters — teenagers, two girls who never knew any peaceful existence.

Poetry

The very well-known poets of different human experiences and different poetical inspirations, the old friends and authors of our magazine — Gennadij Rusakov, Olga Postnikova, Oleg Khlebnikov and Vyacheslav Shapovalov — are presented in this issue by their new poems.

Alexander Djumaev. About the Cultural and Scientific Life in Today's Central Asia

A particular process is gathering force in the societies and cultures of Central Asia today — attempts to handle the culture (phenomenon that has nothing to do with the marketing by default) with the utmost hardness, taking into consideration only commercial interests. But culture is not politics where PR and publicity are the main pledge of success. Will the culture of Central Asia be able to protect and preserve its traditional values or will it be absorbed by the general whirlpool of globalization — this is the question the author is searching the answer for.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На журнал «Дружба народов»
можно подписаться с любого месяца во всех отделениях
Почты России

подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» —
70250

подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» —
91826

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала
druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале
<http://drujba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале
<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой